



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
МОСКОВСКИЙ ЧУДАК.
МОСКВА ПОД УДАРОМ

Андрей Белый
Московский чудаки.
Москва под ударом
Серия «Москва»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68318828

Московский чудаки. Москва под ударом:

ISBN 978-5-17-151470-9

Аннотация

От «Петербурга» к «Москве», от Аполлона Аблеухова к Ивану Коробкину, от зелено-болотного, «идеального по замыслу» имперского города, обреченного погибнуть в водной бездне, к живописно-пестрому миру, отягощенному «бременем времени», гибнущему и готовящемуся к возрождению.

Роман Андрея Белого «Москва», который создавался после Первой мировой войны и Февральской и Октябрьской революций 1917 года, был задуман как своеобразное полотно, повествующее о судьбах России.

Талантливый ученый профессор-математик Иван Иванович Коробкин изобрел оружие невиданной мощи, способное разрушить весь мир.

Естественно, шпионы немедленно учиняют настоящую охоту за его изобретением, плетут интриги, действуют то хитростью, то силой, добиваются своего – и человечество оказывается на грани

катастрофы, шаг за шагом продвигаясь к гибели, которая кажется неотвратимой...

В настоящее издание вошли первые два романа эпопеи «Москва»: «Московский чудак» и «Москва под ударом».

Содержание

Московский чудак	11
Часть I	11
Вместо предисловия	11
Глава первая	12
1	12
2	20
3	23
4	27
5	33
6	37
7	40
8	43
9	49
10	56
11	59
12	63
13	68
14	73
15	78
Глава вторая	84
1	84
2	92
3	95

4	101
5	105
6	108
7	111
8	115
9	120
10	126
11	130
12	134
13	137
14	141
15	144
16	148
17	152
18	155
19	159
20	165
21	169
22	173
23	177
Глава третья	181
1	181
2	191
3	197
4	201
5	207

6	213
7	217
8	223
9	227
10	234
11	240
12	243
13	250
14	253
15	256
16	260
17	266
18	270
19	278
20	282
21	286
22	290
23	299
Москва под ударом	304
Часть II	304
Вместо предисловия	304
Глава первая	305
1	305
2	307
3	313
4	320

5	326
6	329
7	333
8	336
9	341
10	346
11	352
12	358
13	361
14	364
15	369
16	375
17	382
Глава вторая	386
1	386
2	391
3	395
4	398
5	401
6	404
7	409
8	412
9	416
10	422
11	429
12	437

13	443
14	446
15	451
16	456
17	460
18	465
19	472
20	478
21	482
22	485
23	490
Глава третья	495
1	495
2	498
3	501
4	504
5	510
6	512
7	516
8	520
9	523
10	527
11	529
12	534
13	539
14	542

15	549
16	551
17	555
18	558
19	561
20	568
21	572
22	575
23	578
24	581
25	584
26	586
27	589

Андрей Белый
Московский чудак
Москва под ударом

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Московский чудақ

*ПОСВЯЩАЮ
АРХАНГЕЛЬСКОГО
МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА*

*ПАМЯТИ
КРЕСТЬЯНИНА*

Часть I Московский чудақ

*Открылась бездна – звезд полна.
М. Ломоносов*

Вместо предисловия

Подготавливая первую часть первого тома моего романа «Москва», я должен сказать несколько пояснительных слов. Лишь во втором томе вступает тема современности. «Москва» – наполовину роман исторический. Он живописует нравы прошлой Москвы; в лице профессора Коробкина, ученого мировой значимости, я рисую беспомощность науки в буржуазном строе. В лице Мандро изживает себя тема «Железной пяты» (поработителей человечества); первый том моего романа рисует схватку свободной по существу на-

уки с капиталистическим строем; вместе с тем рисуется разложение дореволюционного быта. В этом смысле первая и вторая часть романа («Московский чудак» и «Москва под ударом») суть сатиры-шаржи; и этим объясняется многое в структуре и стиле их.

Автор

Москва, 1925 год.

Глава первая

День профессора

1

Да-с, да-с, да-с!

Заводились в августе мухи-кусаки; брюшко их – короче; разъехались крылышки: перелетают беззвучно; и – хитрые: нет, не садятся на кожу, а... сядет, бывало, кусака такая на платье, переползая с него очень медленно: ай!

Да, Иван Иванович Коробкин вел войны с подобными мухами; все воевали они с его носом: как ляжет в постель, с головой закрываясь от мух одеялом (по черному полю кирпичные яблоки), выставив кончик тупляпого носа да клочок бороды, а уж муха такая сидит перед носом на белой подушке; и на Ивана Ивановича смотрит; Иван же Иванович – на муху: перехитрит – кто кого?

В это утро, прошедшее в окна желтейшими пылями, Иван Иваныч, открывший глаза на диване (он спал на диване), заметил кусаку; нарочно подвыставил нос из простынь: на кусаку; кусака смотрела на нос; порх – уселась; ладонью подцапал ее, да и выскочил он из постели, склоняя к зажатой руке быстро дышащий нос; защебив муху пальцами левой ладони, дрожащими пальцами правой стал рвать мухе жало; и оторвал даже голову; ползала безголовая муха; Иван же Иваныч стоял желтоногим козлом в одной нижней сорочке, согнувшись над нею.

Облекшись в серый халат с желтостертыми, выцветшими отворотами, перевязавши кистями брюшко, он зашлепал к окну в своих шарканцах, настезь его распахнул и отдался спокойнейшему созерцанию Табачихинского переулка, в котором он жил уже двадцать пять лет.

Зазаборный домик, старикашка, желтел на припеке в сплошных мухачах, испражняясь дымком из трубы под пылицы, спеваясь своим петухом с призаборной гармошкой (был с поскрипом он); проживатель его означал своей карточкою на двери, что он – Грибиков; здесь, со стеною скрипел лет уж тридцать, расплющиваясь на ней, точно липовый листик меж папкой гербариев; стал он растительным, вялым склеротиком: желтая кожа, да кости, да около века подпек бородавки изюменной, – все, что осталось от проживателя в воспоминаньи Иван Иваныча; да – вот еще: проживатель играл с бородавкою скрюченным пальцем; и в этом одном вы-

ражался особенно он; каждым утром тащился с ведром испромозглости к яме, в подтяжках, в кофейного цвета испланных старых штанах и в расшлепанных туфлях; подсчитывал он и подштопывал днями под чижилом – в малом окошечке; под вечер сиживал на призаборной скамеечке; там подтабанивал прописи общеизвестных известий; и – фукал на руки, скоряченные ревматизмом; в окне утихал вместе с ламповым он колпаком – к десяти, чтоб опять проветриться с ведром испромозглости, – у выгребной сорной ямы.

Так мыслью о Грибикове знаменитый профессор всегда начинал свой трудами наполненный день, чтобы больше не вспомнить до следующего подоконного созерцания.

Вспомнилось!

Сон, – весьма странный, сегодняшней: выставил он из окна свою голову, – в точно таком же халате, играя набрюшного кистью, оглядывая Табачихинский свой переулок; все – так: только комната не относилась к пункту, определенному пересечением параллели с меридианом; она составляла лишь яблоко глаза, в котором профессор Коробкин, выглядывающий через форточку, определялся зрачком Табачихинского переулочка, мощенного, нет, не булыжником, – данными математических вычислений – за вычетом желтого домика, черт дери, с этим самым окном, что напротив: окно – отворилось; и Грибиков, точно стенная кукушка, просунулся, фукая на переулок; от «фука» – булыжники, домики и тротуары как пырнут, распавшись на атомы пыли, секущие эти простран-

ства; Иван же Иваныч, сам пыль, привскочил, оказавшись опять у себя на диване пред мухою – в пункте, откуда он был громко свергнут.

Припомнивши сон, он прислушался к очень зловещему зуду (мухач тут стоял) и принялся вымухивать комнату, вспомнил еще, как среди ночи его разбудили, подав телеграмму, в которой его поздравляли с избранием в члены – ведь вот-с – Академии – корреспондентом; профессор Коробкин причавкал губами, хватаясь за желтые кисти халата: ему, члену Лондонской Академии, члену «пшеспольному» Чешской (что значит «пшеспольный», он ясно не знал; ну, почетный там, – словом: действительный), вовсе не следовало бы принимать то избрание; выбрали ж просто действительным членом Никиту Васильевича Задопятова; у Задопятова же сочинения, – черт дэри, – лишь курцгалопы словесные; доктор Оксфордского Университета «пшеспольный» там член, мавзолей своей собственной жизни, – нет, нет: он ответит отказом.

Науку свою он рассматривал, как майорат; и ему не перечили: и про него говорили, что он – максимальный термометр науки.

В своем темно-сером халате зашлепал к настенному зеркалу: в зеркале ж встретил табачного цвета раскосые глазки; скулело оттуда лицо; распепёшились щеки; тяпляпился нос; а макушечный клоч ахинеи волос стоял дыбом; и был он – коричневый очень; подставил свой профиль, огладивши бо-

роду; да, загрустил бы уже сединой его профиль, и – нет; он разгуливал очень коричневый. Здесь между нами заметим: он – красился.

Быстрым рассказом прошелся он и вымолачивал пальцами походя дробь.

Кабинетик был маленький и двухоконный: на темно-зеленых обоях себя повторяла все та же фигурочка желтого, с черным подкрасом, себя догоняющего человечка; два шкапа коричневых, туго набитые желтыми и чернокоженькими переплетами толстых томов, и дубовые, желтые полки – пылели; а желто-коричневый, крытый клеенкою черною стол, позаваленный кипами книг и бумаг, перечерченных все интегралами, был для удобства поставлен к окну; чернолапое кресло – топырилось; точно такие ж два кресла: одно – у окна, над которым, пыля, трепыхалась старая каряя штора; другое стояло под столбиком, где бюстик Лейбница явно доказывал: мир – наилучший; на спинках рукой столяра были вырезаны головки ослабленных фавнов, держащих зубами аканфы; на столике же тяжелели: серебряное пресс-папье да витой зеленевший подсвечник из бронзы; пол, крытый мастикою, прятался черным ковром, над которым все ерзали моли.

Вниманье Ивана Иваныча тут обратили какие-то смутные смехи за дверью, ведущей в оклеенный рябеньким крапом кривой коридорчик; он, шлепая туфлями, крался прислушаться: фыки и брыки: и – да-с: голос горничной:

– Ну вас...

– Какая вы, право же!

Дарьюшка вырвалась.

– Тоже мозгляк, а – за пазуху: барыне я вот пожалуюсь.

– Мед!..

– Ну же вы!

Этот голос – скажите, пожалуйста, – Митенькин! Быстро профессор в сердцах распахнул кабинетную дверь, чтобы вмешаться в постыдное дело; но не было фыков и брыков; профессор моргался:

– Ах, черт дери: да-с... Взрослый мальчик уже... Ай-ай-ай, надо будет сказать, надо меры принять, чтобы... так сказать... Надо бы...

Тут он задумался, вспомнив, как кровь в нем кипела, когда он был юным, когда напряженье рассудочной жизни его подвергалось атакам бессмысленной и глупотелой истомы; тогда со стыдом убеждался и он, что с большим интересом выглядывает из-за функций Лагранжа на голую ногу; упрямывал глазки за функции он со стыдом; голоногая Фекла, прислуга, жила с богатырского вида мужчиной, устраивавшим кулачовки; Иван же Иваныч отстаивал женский вопрос; ни о чем таком думать не смел; и страдал глупотелием в годы магистерской жизни своей – до явления Василисы Сергевны, поборницы всяких прогрессов; тогда был назначен на кафедру он математики.

Дверь – отворилася: в комнату, цапая по полу лапами,

громко влетел мокроносый ушан, – Томка-понтер, коричне-
вый, с желтой грудью и с шишкой на твердом затылке:

– Скажите, пожалуйста!..

Том опустил мокрый нос и, из черной губы протянув на ковер свои слюни, ушами покрыл этот нос, заморщил шерстистую кожу щеки, показал белый клык, трехволо-
сою дернулся бровью; престрашная морда! Пес силился яв-
но смеяться.

– Пошел, Том!.. Где хлыст?

И при слове «где хлыст» Том вскочил: очень горько ско-
сив окровавленный взгляд, поджав хвост, пробирался вдоль
желто-зеленой стены; за ним шествовал по коридорчику
очень раскосый, расплёкий профессор, цитируя собственно-
го изобретенья стишок:

Грезит грызней и погоней
Том, – благороден и прост,
В воздухе, желтом от вони,
Нос подоткнувши под хвост.

.....

Здесь, в начале трагедии, должен дать ряд сообщений об
очень известном профессоре.

Как говорится «аб ово»¹.

Иван Никанорыч Коробкин, вполне добросовестный док-

¹ С самого начала (*лат.*).

тор военный, при императоре Николае за что-то был сослан на дикий Кавказ; там родил себе сына – в фортеции, где защищали страну от чеченцев; младенческое впечатление Ивана – рев пушки, визг женщин: лезгины напали; невнятица перепугала; испуг воплотился: всей жизнью.

Семейство врача состояло из чад: Никанора, Пафнутия, Льва, Александра, Ивана, Силантия, Ады, Варвары, Натальи и Марьи. Когда мальчугану, Ивану, исполнился первый десяток, родители, его привязавши к седлу, отослал обучаться; Иван переехал Кавказский хребет; на почтовых катился в Москву к надзирателю первой московской гимназии; в первом же классе стал первым; и этим гордился; его аттестаты успехов являли собой удручающий ряд превосходных отметок; за это смотритель, которого дети стяжали лишь двойки, безжалостно дирывал мальчика; эта невнятица длилась до пятого класса, когда получил он с Кавказа письмо, извещающее, что Иван Никанорович помер; теперь предлагали ему самому зарабатывать средства на жизнь; с того времени Ваня Коробкин отправился к повару, сдавшему угол ему в своей кухне (за драной, сквозной занавесочкой); бегая по урокам, готовил к экзаменам он одноклассников, сверстников; эти последние – били его; словом, длилась невнятица.

Складывалась беспросветная жизнь; и понятно, что Ваня пришел к убеждению – невнятица жизни его побеждаема ясностью лишь доказуемых тезисов. Так вот наука российская обогатилась ученым.

Дома, домы, домики, просто домчонки и даже домчоночки: пятиэтажный, отстроенный только что, кремовый, весь в разгирляндах лепных; деревянненький, синенький; далее: каменный, серо-зеленый, который статуился аляповато фронтоном; карниз – приколонился, а полинялая крыша грозила провалом; все окна ослепли от ставней; дом прятался в кленах, его обступивших и шамкавших; свесилось там краснолапое дерево над чугуном загородки.

Тянулся шершавый забор, полусломанный; в слом же глядели трухлявые и излыселее земли; зудел свои песни зловещий мухач; и рос дудочник; пусто плешивилась пустошь; туда привозили кирпич (видно, стройку затеяли); снова щепастый заборик, с домишкой; хозяин заохрил его: желтышел на пропеке; в воротах – пространство воняющего двора с желклой травкой; дом белый, с замаранным входом, с подушками в окнах.

Там около свалки двушерстая психа, подфиливши хвост, улезала в репье – с желтой костью; и пес позавидовал издали ей – мухин сын; с того лысого места, откуда алмазился битыш бутылок, подвязанной пяткой хромала тяжелая бабища потроховину закидывать; бочка-дегтярка, подмокнувши, темный подсмолок, воняющий дегтем, пустила; несло; сухим сеном, навозом и терпкостью.

Брошенный в лоб Табачихинский переулочек таков, гражданин! Таким был и остался; нет, желтый дом – разобрали на топку.

Напротив – кирпично-коричневый каменный дом, номер шесть, с трехконной надстройкой, с протертыми окнами, фриз изукрашен лепкой из гирлянд четырех модильонов; а фриз поднимался пятью капителями гермошек, между которыми окна завесочками из канаса синего скрыли стыдливо какую-то жизнь; переблѣклые зелени сада – за домом, подъездная дверь (на дощечке: профессор Коробкин).

Она – отворилась: и переулочком зашаркал согнувшийся юноша, в куртке чернявой, в таких же штанах; неприятно растительность щеки шершавила; и лоб, зараставший, придал выраженью лица что-то глупое; чуть выглядывали под безбровым надлобьем глаза; все лицо – нездоровое, серое, с прожелтью, в красных прыщах; он под мышкою правой руки нес какие-то томики; в левой держал парусинный картузик.

Какая-то дамочка, юбку подняв и показывая чулочки, в разглазенькой кофточке, с зонтиком, застрекозила своей красноперою шляпой с вуалькою.

Забеленьбенькала там колокольня: стоял катафалк; хоронили кого-то.

Москва!

Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоголовыми иль бесколонными витоголовыми церковками очень разных эпох; под пылицы небесные встали – зеленые, крас-

ные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или глазурью одетых, иль просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, домиков, севших в деревья, иль слитых, – колончатых, иль бесколонных, балконных, с аканфами, с кариатидами, грузно поддерживающими карнизы, балконы, – фронтонные треугольники домов, домин, домиков, складывающих – Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и седьмым Гнилозубовыми переулками.

Улица складывалась столкновеньем домов, флигелей, мезонинов, заборов – кирпичных, коричневых, темно-песочных, зеленых, кисельных, оливковых, белых, фисташковых, кремовых; вывесок пестроперая лента сверкала там – кренделем; там – золотым сапогом; раскатайною растараторой пролеток, телег, фур, бамбанищих бочек, скрежещущих ящеров – номер четвертый и номер семнадцатый наполнилась улица.

Здесь, человечник мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал, слагаясь из робких фигурок, выпоркивающих из ворот, из подъездов пропсяченной, непроветренной жизни: ботинками, туфлями, серо-зелеными пятками иль каблучками; покрытые трепаными картузами, платками, фуражками, шляпами – с рынка, на рынок трусили; тяжелым износом несли свою жизнь; кто – мешком на плече, кто – кулечком рогожевым, кто – ридикюльчиком, кто – просто фунтиком; пыль зафетюнила в сизые, в красные, в очень боль-

шие носищи и в рты всякой формы, иванящие отсебятину и пускающие пустобаи в небесную всячину; в псине и в перхоти, в злом раскуряе гнилых Табаков, в оплеваньи, в мозгляйстве словесном – пошли в одиночку; шли – по двое, по трое; слева направо и справа налево – вразброску, в откидку, враскачку, вподкачку.

Да, тысячи тут волосатых, клокастых, очкастых, мордастых, брюхастых, кудрявых, корявых пространство осиливали ногами; иль – ехали.

3

Среди прочих тащился на ваньке брUNET, поражающий баками, сочным дородством и круглостью позы; английская серая шляпа с заломленными полями весьма оттеняла с иголочки сшитый костюм, темно-синий, пикейный жилет и цепочку: казалось, что выскочил он из экспресса, примчавшего прямо из Ниццы, на ваньку; он ехал со злобой в прищуренном взоре, сморщив лоб и сжимая тяжелую трость; а другая рука, без перчатки, лежала на черном портфелике, отягощавшем колено; увидевши юношу, вскинул он брови, показывая оскалы зубов; набалдашником трости ударил в извозчика:

– Стой.

И, как тигр, неожиданно легким прыжком соскочил, бросив юноше руки, портфелик и палку:

– А, Митенька!

– Здравствуйте!

– Что там за здравствуйте, – вас-то и надо.

Сняв шляпу, он стал отирать свой пылающий лоб, поражая двумя серебристыми прядями, резавшими его черные волосы.

– Вас-то и надо мне, сударь мой Митенька, – выставил свой подбородок.

– Лизаша-то празднует день свой рождения завтра; вас вспомнила: «Митя б Коробкин... пришел»... Ну, так – милости просим.

Но Митя Коробкин, Иван Иваныча сын, густо вспыхнул; стоял мокролобый; лицо же напомнило сжатый кулак с носом, кукишем, высунутым между пальцами.

– Я, Эдуард Эдуардович, я... – и замялся.

– В чем дело?

– Да мама...

– Что мама?

– Истории... не выпускают из дому...

– Помилуйте, – брови подбросил и позою, несколько деланной, выразил: – Ну, и там далее...

– Сиднем сидеть? Э, да что вы! Да как вас!..

А Митя краснел.

– Впрочем, – тут Эдуард Эдуардович заерзал плечом, и лицо его стало кислятиной, – пользуясь случаем, я передал: вот и все...

Неприятнейше свистнул, садясь в пролетку; и крикнул:
– Пошел!

И смешочек извозчичьей подколесины бросился в грохоты злой мостовой.

Эдуард Эдуардович Мандро, очень крупный делец, проживал на Петровке в высоком, новейше отстроенном кремевом доме с зеркальным подъездом, лицованным плиточками лазурной глазури; сплетались овальные линии линий под мощным фронтоном вокруг головы андрогина; дом метился мягкостью теплого коврика, лестницею, перепаренною отопленьем, бесшумно летающим лифтом, швейцаром и медными досками желто-дубовых дверей, из которых разворачивались перспективы зеркал и паркетов; новей и огромное прочих сияла доска с «фон Мандро»; дочь Мандро, Лизавета, Лизаша, с утонченным юмором, с вольностью, все щебетала среди пуфов, зеркал и паркетов в коричневом платье (форма арсеньевских гимназисток), кокетничая с воспитанниками гимназии Веденяпина, где познакомился Митя с Лизашею на вечеринке; товарищи Мити влюбились в Лизашу всем классом.

Митюша был глуп, некрасив; он ходил замазулею; чем мог он нравиться? А – угодил, был отмечен: его приглашали к Мандро; Эдуард Эдуардович его – обласкал; гимназист стал торчать среди сверстниц Лизаши, посиживать молча с Лизашей в лазоревом сумраке, а Эдуард Эдуардович им покровительствовал; что ж такого? Ведь в доме Мандро все

бывали, как дома; не с улицы же – из почтенных семейств появлялись, и – да; Эдуард Эдуардович очень любил, чтобы в доме его было тонно и чинно; лакей, принимавший гостей, носил галстух, был в белых перчатках, а руководящая чаем почтенная дама была фешенебельна; вин не давали: так что ж? И притом – в наше время; Лизаша бывала: в театрах, в концертах, в «Кружке» и в «Свободной эстетике»; сам Эдуард Эдуардович случайно являлся на этих журфиксах (он вечно куда-то спешил), застревал на полчаса, великолепно осклабливаясь, беря под руку ту или другого, показывая, что он им равный: «Мои молодые друзья!» И потом исчезал, не желая стеснять.

Удивляло Митюшу одно: Эдуард Эдуардович все принимался расспрашивать о предстоящих работах Ивана Ивановича, сильно внушавших ему интерес; но с отцом – не знакомился; вежливость что ли ему диктовала расспросы? Порою Митюше казалось: вниманье к нему в фонмандровской квартире питается лишь информацией об Иване Ивановиче.

– Вы передайте мое уважение батюшке вашему: чту его имя и труд.

Митя раз убедился: заслуги отца даже просто Мандро волновали; недавно с Лизашей сидели они тет-а-тет – в уголочке, в лазоревом сумраке, чем-то своим занимались; а в кабинете Мандро поднялись голоса; там сидел, видно, немец, наверно – агент очень крупного треста; куски разговора меж ним и Мандро долетели до Мити:

– Вас заген зи... я... Колоссаль, гениаль... Херр профессор Коробкин... мит зайнер энтдекунг... Вир верден... Дас ист, я, айн тат... Им цукунфтиген криг, внесен зи...²

Митя был удивлен, что Мандро говорит об Иване Ивановиче так с незнакомым, заезжим в Москву, иностранцем; запомним: когда Эдуард Эдуардович вышел в гостиную с рижим, потеющим немцем, имеющим бородавку у носа, – то распространился удушливый запах сигары; Мандро, наклонился к немцу, шепнул, – толкнув локтем, – на Митю:

– Дас ист, я, – зайн зон...³

Очевидно: приежмему был он показан как сын знаменитости; сам Эдуард Эдуардович был вдалеке от науки; он плавал в своих спекуляциях, часто рискованных. То пронеслося в сознании Мити – теперь; захотелось к Мандро; для Лизаши душился с недавнего времени одеколоном цветочным он; одеколон этот вышел; и, стало быть, – думал он, – если бы книжки спустить, рупь с полтиной – составитя.

4

Мимо же шли: мальчуган проюркнул из кривой подворотни; попер черномордик; проерзала кофточка; пер желторожий детина, показывая шелудивый желвак; проскромнели

² Что вы говорите, да... Колоссально, гениально. Господин профессор Коробкин... С его открытием... Мы будем... Это дело... В будущей войне, знаете... (нем.)

³ Да, его сын... (нем.)

две женщины; скрылись в подъезде; и желтая там борода повалила; отмахивали – одиночки; шли – по двое, по трое; кучей, вразноску, вразмашку, враскачку – с подскоком, семейственно; шли там караковые, иль – подвласые, сивые, пегие, бурочалые люди.

От улицы криво сигал Припепёшин кривуль, разбросавши домочки, – с горба упасть к площади: в дёры базара; туда и сигал человечник от улицы, – чтобы с горба покатиться к базару: на угол; с порога клопеющей брильни там волосочес напомаженный грязной гребенкой работал над дамским ши-ньоном; и там заведенились полотеры; оттуда – орали:

Канашке Лизе

От Мюр-Мерилиза

Из ленточного отделения —

Мое распочтение!

Вместе с сигающим человеком сигал в переулок и Митя Коробкин; свой лоб отирал под горбом; покатился на угол пыляющей площади, где протянулся пропахший бульварец, где слева встречало роенье людское.

На площади рты драло скопище басок, кафтанов, рубах, пиджаков и опорок у пахнувших дегтем телег, у палаток, палаточек с красным, лимонным, оранжево-синим и черным суконным, батистовым, ситцевым, полосатым плетеным товаром всех форм, манер, способов, воображений, наваленным то на прилавки, то просто на доски, лотки, вблизи гли-

няных, зелено-серых горшков, деловито расставленных, – в пыли; Коробкин протискивался через толоко тел; принесли боровятину; и предлагалось:

– Я русачиной торгую...

Горланило:

– Стой-ка ты...

– Руки разгребисты...

– Не темесись...

– А не хочешь ли, барышня, тельного мыльца?..

– Нет...

– Дай-ка додаток сперва...

– Так и дам...

– Потова копейка моя...

Букинист, расставляющий ряд пыльных книжек, учебников, географических атласов, русских историй Сергея Михайловича Соловьева, протрепанных и перевязанных стопок бумажного месива; Митя с оглядкой ему протянул оба томика: желтый с коричневым.

– Что-с?.. Сочинение Герберта Спенсера? Основание биологии? Том второй, – почесался за ухом тяжелый старик-букинист, бросив взгляд на заглавие, точно в нем видя врага; и – закекал:

– Пустяк-с...

– Совсем новая книжка...

– Разрознена...

– Вы посмотрите, – какой переплет!

– Да что толку...

Старик, отшвырнув желтый том, нацепивши очки и морщуху какую-то сделав себе из лица, стал разглядывать томик коричневый:

– Гм... Розенберг... Гм... История физики... Старо издание... Что же вы просите?

– Сколько дадите вы?

– Неподходящая, – «Спенсер» откинулся, – а за историю физики... гм-гм... полтинник.

Ломились локтями, кулачили и отпускали мужлачества: баба слюну распустила под красным товаром; а там колыхался картузик степенный – походка с притопочкой: видно, отлично мещанствовал он:

– Вот сукно драдедамовое.

Остановился, в бумажку тютюн закатал, да слизнул:

– А почему?

– Продаю без запроса.

– Оставь, кавалер, тарары.

И – пошел.

.....

Проходил обыватель в табачно-кофейного цвета штанах, в пиджачишке, с засохлым лицом, на котором прошла желтода какая-то, без бороды и усов, – совершенный скопец, в картузишке и с фунтиком клюквы; шел с выдергом ног; и подпек бородавки изюмился под носом; Митеньку он за-приметил; пришлось на лице выраженье, – какое-то, так се-

бе, тихо прислушивался он к расторгую, толкаемый в спину, скрутил папироску. Лицо раскрысятилось подсмехом:

– Митрию, прости Господи, Ваннычу, – наше вам-с!

Митенька – перепугался: он стал краснорожим, как пойманый ворик; потом побледнел, выдавайся прыщиком:

– Грибиков!

Грибиков же, выпуская дымочек, ему это с прѳхиком:

– Все насчет книжечек – что?

И сказал это «что», будто знал он: «откуда», «зачем»?

– Да... Я – вот... – И тут Митины пальцы пошли дергунцами: куснул заусенец: – Пришел я сюда... продавать...

– Не для выпивки-с?

Думалось:

– Все-то допытывается!

И отрезал:

– Да нет!

И спустил за шесть гривен два томика; Грибиков же приставал:

– Переплетики-то вот такие – у батюшки вашего.

Видя, что Митя багрел, пальцем пробовал он бородавку, потом посмотрел на свой палец, как будто бы что-то увидел на пальце:

– Хорошие книжечки-с...

Палец обнюхал он.

– У одного переплетчика переплетаем мы: я и отец.

– Он надысь привозил вот такие же-с, я разумею не книж-

ки, а – да-с – переплеты; сидел под окошечком и – заприметил... Как адрес-то – а – переплетчика адрес?

– На Малой Лубянке.

– В Леонтьевском – лучше заметить...

Вот черт!

– Да, погода хорошая, – Грибиков в руку подфукнул...

Но Митя сопел и молчал.

– День Семенов прошел и день Луков прошел, а погода хорошая: вам – в Табачихинский?

– Пойдем вместе.

Прошла пухоперая барыня:

– Что за материя?

И из-за лент подвысовывалась голова продавца:

– Будет тваст.

– Не слыхала такой.

– Очень модный товар.

– Сколько просишь?

– Друганцать.

– Да што ты!

Пошла и – ей вслед:

– Дармогляды!

Текли и текли: и разглазый мужик, мохноногий, с подсученною штаниной и с ящиком; и размаслюня в рубахе, и поп, и проседый мужчина.

– А вот – Мячик Яковлевич: продаю. Мячик Яковлевич!

И безбрадый толстяк в сюртучишке, с сигарой во рту и

с арбузом под мышкою остановился:

– Почему?

Через спины их всех пропирали веселые молодайки в ковровых платках и в рубашках трехцветных: по синему – желтое с алым; толкались здесь маклаки с магазинными крысами: «Магарычишко-то дай», и мартышничали лихо ерзающие сквозь толпу голодранцы; песочные кучи вразброску пошли под топочущим месивом ног; вертоветр поднимал вертопрахи.

Над этой местностью, коли смотреть издалека, – не воздухи, а желтычищи.

5

По коридору бежала грудастая Дарья в переднике (бористые рукава) с самоваром, задев своей юбкой (по желтому цвету – лиловый подцвет) пестроперые, рябенские обои; ногой распахнула столовую дверь и услышала:

– Вот, а пропó⁴ – скажу я: он позирует – да – апофегмами... А Задопятов...

– Опять Задопятов, – ответил ей голос.

– Да, да, – Задопятов; опять, повторяю – «Задопятов»; хотя бы в десятый раз, – он же...

Дарья поставила самовар на ореховый стол.

На узорочной скатерти были расставлены и подносы, и ча-

⁴ Между прочим (*фр.*).

щечки с росписью глазок.

Пар гарный смешился с лавандовым запахом (попросту – с уксусным), распространяемым Василисой Сергевной; вполне выяснялась она на серебряно-серых обойных лилѐях своим пеньюаром, под горло заколотым ясной оранжевой брошкой; били часы под сквозным полушарием на алебастровом столбике; а канарейка, метался в клеточке, над листолапою пальмою трелила.

Ясно блестела печная глазурь.

Василиса Сергевна сказала с сухой мелодрамой в глазах:

– Задопятов ответил ко дню юбилея.

И стала читать, повернувшись к балконной двери, где квадратец заросшего садика веял деревьями:

‘Читатель, ты мне говоришь,

‘Что честные чувства лелея,

‘С заздравною чашей стоишь

‘Ты в день моего юбилея.

‘Испей же, читатель, испей

‘Из этой страдальческой чаши:

‘Свидетельствуй, шествуй и сей

‘На ниве словесности нашей.

Читала она с придыханием и с мелодрамой, – сухая, изблеклая, точно питалась акридами; нервно дрожала губа (губы были брусничного цвета); и родинка волосом темным вилась над губой; при словах «шествуй, сей» она даже лорне-

том взмахнула в пространство деревьев.

И веяли бледно гардины от бледных багетов; в окне закачалась ветвь с трепыхавшимся, черно-лиловым листом.

– Да какие же это стихи: рифмы – бедные; у Добролюбова списано.

Голос приблизился.

– Что? А – идея? Гражданская, да, не... какая-нибудь там... с расхлябанным метром... как давеча...

– Это был стих адонический: чередование хореев и дактилей...

Вместо хореев и дактилей – ветер влетел вместе с Томочкой, песиком; и уж за ним ветерочком влетела Надюша в своей полосатенькой кофточке, в серо-кисельной юбчонке, расплесканной в ветре, в ажурных чулочках.

– Да ты не влетай, прости Господи, лессе-алейным алюром... Притом, скажу я, – не кричи так: мои акустические способности не...

Василиса Сергевна сердито взялася рукою за чайник, поблескивая браслеткою из блэ-д’эмайль и потряхивая высокой прическою с получерепаховым гребнем.

– Маман, говорите по-русски; а то простыни превращаются в анвелопы у вас.

Надя села, мотнув кудерьками, подвесками; и заскучнела глазами в картину; картина открыла – картину природы: поток, лес, какие-то краснозубые горы.

От стен, точно негры, блестящие лаком, несли караул чер-

ноногие стулья; массивный буфет рассмеялся ореховой резаной рожей.

Казалось, что мелодрама в глазах Василисы Сергевны не кончится; годы пройдут, а в словах и в глазах Василисы Сергевны останется то же: в глазах – мелодрама; в словах власть идей.

– Да, амортификацию переживает природа, – и тотчас же оборвала себя вскриком: – Пошел! Ты пришел наблощить мне под юбками, Том.

И профессорша нервно оправила кружево серо-сиреневой юбки своей.

Василиса Сергевна перечисляла события жизни (к последним словам – нотабена: «профессорский» быт Василисой Сергевною ставился в центре бытов и вкусов Москвы): Доротея Ермиловна мужа, геолога, нудит на место директора; все – из-за лишней тыщонки; а у самих – два имения; Вера же Львовна исследует свойства фибром с ординатором гинекологической клиники. Двуетюк с селезенкой гнилою, с одной оторвавшейся почкой, в которого клизмою влили четыре ведра (а то – не было действия), все собирается выкрасть у археолога Пустопопова Степаниду Матвевну, которая – нет, вы представьте – на это идет. Двуетюк так богат, с библиотекой, стоящей тысячи; если пискляк этот выкрадет, то, ведь, – умрет: Степанида Матвевна – старуха не дура: вернется она к своему археологу; что ни скажите, – а носит Радынский бандаж; словом – рой бесконечный: гир-

лянда смелькавшихся образов в лик убеждения, на котором женится пойманный убеждением магистрант, чтобы, ставши профессором, изо дня в день волочить эфемерности, ставшие тяжкомясою дамою:

– Да, – а пропó: ужас что! Ты ведь знаешь, Надин, что Елена Петровна сбежала к Лидонову, аденологу.

6

– Мы, – загремело из двери, – прямые углы: пара смежных равна двум прямым.

И профессор Коробкин, свисая макушечной прядью волос, уже топал по желтым паркетам в своей разлетайке; пустился доказывать:

– Да-с – угловатости в браке от неумения, черт подери, обрести дополненье свое до прямого угла! – И с ушедшею в ворот большой головой (наезжал этот ворот на голову: шеи же не было) быстро дотачивал мнение:

– Вы мне найдите лишь косинус; вам – станет ясно; отсутствует – да-с – рациональная ясность во взгляде на брак, – подбоченился словом и в слово устался.

– Да, да: рациональная ясность, дружочек, – усилие тысячелетий, предполагающее в человеческом мозге особое развитие клеточек.

Вспомнилось: лет тридцать пять был еще без усов, бороды, но – в очках, в сюртуке и в жилете, застегнутом туго,

под тощей микиткою; жил словотрясом котангенсов; празднично боролся с клопами и спорить ходил с гнилозубым доцентом – в квартиру доцента; в окошко несло из помойки; они, протухая, себя проветрили основами геометрии; образовались воззрения: иррациональная мутность помойки и запахи тухлых яиц от противного ясно доказывали рациональность абстрактного космоса, с высшим усилием выволакиваемого из отхожего места к критериям жизни Лагранжа и Лейбница.

И меж помойкой и ними выковывалось мирозренье профессора.

Думал об этом, подмышкой щемя спинку стула; рукой перочинный свой ножик ловил; трах: тот ножик упал; затрещало сиденье, и дернулась скатерть; профессор своей головой провалился под стол и тянулся с кряхтеньем за ножиком: поднял, подбросил, вздохнул:

– Нелегко же далась рациональная ясность мне.

Снял он очки, подышал на очковые стекла, зевнул безочковым, усталым лицом:

– Да-с, да-с, да-с!

– Вы в абстрактах всегда, – равнодушно сказала ему Василиса Сергевна, перевлекаясь вниманием к Томочке, песику, и затыкая свой носик платочком:

– Пошел, гадкий пес: фу-фу-фу, какой запах!

И песик вскочил из-под Надиных юбок; испуганно бросивши взгляд на профессоршу, стал пробираться вдоль стен; и профессор пытался утешить печального песика:

– Томочка, это – не ты, брат, а – Наденька.

Тут позвонили. И Петр Леонидович Кувердяев с неммым мадригалом предстал пред семейством, во всем темно-синем: рукой маргаритовый галстух поправил; в глазах веселили его афоризмы, когда бросил взгляд он на Надю, косившуюся на клохтавшего и желтолапного петуха, появившегося из сада – за хлебными крошками; тут Василиса Сергевна сказала, рукой указавши на Наденьку:

– Вы поглядите, пожалуйста, – мэ кэль блафард!⁵ Отчего? От поэзии... Я прихожу этой ночью к ней: и – застаю за отрывком: читает; взяла – посмотрела: отрывок, построенный на апострофах.

И Петр Леонидович стал говорить с придыханием: будто арпеджио брал:

– Вы, Надежда Ивановна, может быть, занимаетесь авторством?

Надя была настоящий кукленок: казалась она акварельною:

– Нет.

– Отчего?

Но молчала, бросая под туфельки крошки клевавшему их петуху, и колечко играло сквозь зелень лиловою искрою с пальца.

За ней Кувердяев – ухаживал: ей он недавно поднес акростих, выражающий аллитерацию мысли; отсюда вставляли по-

⁵ Так бледна! (*фр.*)

следствия: аллитерация, право, могла углубиться, иль проще сказать: Кувердяев мог стать женихом.

Кувердяев забросил свою диссертацию о гипогеновых ископаемых; и вытанцовывал должность инспектора; у попечителя округа был он своим; попечитель устроил в лицее, давал он уроки словесности и в частной гимназии Фишер; воспитанницы влюблялись в него, когда он фантазировал им за диктантами, все выговаривая дифирамбы природе вздыхающим голосом, бросив в пространство невидящий, меломанический взор; но попробуй кто сделать ошибку, – пищал, ставил двойку, грозился оставить на час.

Это Наденька знала; когда обдавал ее грацией, точно стараясь, обнявши за стан, повертеться пристойною полькою с нею, она вспоминала, как зло он пищал на воспитанниц; с неудовольствием, даже со страхом она отмечала его появления – по воскресеньям, к обеду; входил он франченным кокетом, обдавши духами изнеженно; и предавался словесности с ней, иль рассказывал ей: Бенвенуто Челлини, мозаичисты и медальеры – да, да! Василиса Сергевна – пленялась: – Каков привередник: совсем – капризуля.

И веяло – атмосферою барышень.

7

– Что же, пойдемте в гостиную мы...

И прошли.

Бронзировка, хрусталики люстры; лиловоатласные кресла с зеленой надбивкой, диван, – чуть поблескивали флещеванным гляncем; трюмо надзеркальной резьбой, виноградинами, выдавалось из сумрака; а от обоев, прихотливых, лиловолистных, подкрашенных прѳкриком темно-малиновых ягод, смеющихся в листья, рассказывали акватинтовые гравюры про бурное заседание Конвента, паденье Бастилии и про Сен-Жюста, глядящего сентиментально на голубя; сели за столик; и – перелистывали альбомы.

Перелетая с предмета к предмету, отщелкивал Кувердяев словечками, как кастаньетами; Надя казалась лилиевидной; профессор – раскис, выставляя коричневый клочок бороды; он посапывал носом.

– Да, кстати, Василий Гаврилыч назначен на...

– ?..

– ...пост министерский – да, да!

Благолепов, Василий Гаврилыч, недавно еще только ректор, теперь – попечитель, был вытасчен в люди Иваном Ивановичем: да, вот, – чахоточный юноша, лет восемнадцать назад опекался – вот здесь, в этом кресле; ведь вот – куролеса! Он, старый учитель, сидит в этом кресле, забытый чинушами; а ученик его...

На Кувердяева полз раскоряченный нос; и – очки на носу; потащили все это два пальца, подпертые к стеклам:

– Вы, батюшка, знаете ли, развиваете, – ну там, – лакейщину: что Благолепов? Он есть – дело ясное – тютька-с!

Ладонью в колено зашлепал, кидаясь словами:

– Так может и всякий; вы тоже, скажу, – лет через десять сумеете – да-с – попечителем сделаться.

Кресло скрипело, поехала мягкая скатерть со столика:

– Вы распеваете вот кантилены – я вам говорю; предо мною-то, батюшка, шла вереница таких заправил-с: Благолеповы – все-с, – прокричал не лицом, а багровою пучностью он, – я протаскивал их – дело ясное: скольких подсаживал, батюшка, – не говорите – усваивали со мною они покровительственную, какую-то, черт подери... – не нашел слова он, передергивая пятью пальцами, сжатыми в крепкий кулак вместе с ехавшей скатертью.

– Выйдет такая скотина в... в... – слов искал он, – в фигуру, казалось бы: тут водворить в министерстве порядок и... и... дело ясное! Нет, – говорю: продолжают невнятицу. А результаты? Гиль, бестолочь и авантюра, – я вам говорю, – обливался он потом, мотаяся трепаной прядью.

– Писал в свое время я им докладные записки: Делянову, Лянову, Анову, – черт подери – и другим распарш... членам Ученого Комитета; писал и Георгиевскому: обещал; ну, – и что же? Записки пылятся под сукнами: да-с!

Он вскочил, собираясь пустить толстый нос в Кувердяева, бросил очковые стекла на лоб; краснолобый ходил:

– Был момент – говорю: наша жизнь оформулировалась; и с утопиями – мы покончили там – с революцией и с катастрофами... Крепла Россия... И можно бы было, я вам го-

ворю, – помаленьку, – разбросить сеть школ и добиться всеобщего – да-с – обучения. Приняли же во вниманье мою докладную записку об учреждении университета в Саратове, – он поглядел, но ему не внимали: – сидели чинуши и немцы-с. И этот великий князишка, – был с немцами-с; я говорю – незадача!.. Царя миротворца-то – нет, говоря рационально; на троне сидит – просто тютюка-с – я вам говорю... Посадили они генерал-губернатором – черт подери – педераста (еще хорошо, что взорвали). Что делали все Благолеповы? Да перетаскивали педерастов; ведь вот: Лангового-то – помните?.. Тоже вертелся!

И сел, задыхаясь, в разлапое кресло; и темные тени составили круг, опустились, развертывая свиток прошлого.

8

С детства мещанилась жизнь; ухватила за ухо рукой надзирателя; бросила к повару, за занавеску и выступила клопными пятнами, фукая луковым паром с плиты.

Без родных, без друзей!

Задопятов, сокласник, захаживал; после раздулся уже в седовласую личность, строчащую все предисловия к Ибсену (Ибсен – норвежский рыкающий лев, окруженный прекрасною гривой седин), – Задопятов, теперь превратившийся в светоча русской общественной мысли и справивший два юбилея, известный брошюрой «Апостол любви и гуманно-

сти», читанной им в Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Самаре, в Саратове, в Екатеринодаре, печатающий – правда редко – стихи:

‘Я, мучимый скорбью, встаю
‘Из пены заздравных бокалов
‘И в сердце твое отдаю
‘Скрижали моих идеалов.
‘Пред пошлым гражданским врагом
‘Пусть тверже природного кварца
‘Пребудут в сознании твоём
‘Заветы прискорбного старца.

Он – знамя теперь и глава «задопятовской» школы: и критик, укрывшийся под псевдонимами «Сеятель», «Буревестник», писал, что: «Никита Васильевич – лев, окруженный прекрасною гривой седин», перефразируя стиль и язык «задопятовской» мысли; и – кстати заметить: о сотоварище, друге всей жизни, профессор Коробкин однажды совсем неуместно сказал, что он – «старый индюк и болтун».

С Задопятовым он под линючею занавеской боролся с невнятицею; Задопятов заметил: «История просвещения распалась на эры: от Гераклита невнятного до Аристотеля ясного – первый этап; с Аристотеля – к Конту и Смайльсу – второй; Смайльс – преддверие третьего».

И с «Бережливостью» Смайльса уселся Коробкин; и – ясность сияла ему; он устраивал мыльни клопам, прусакам, фу-

кам луковым, повару, переграняя все – в правила, в принципы, в формулы; так он и выскочил в более сносную жизнь: кандидатской работою «О моногенности интегралов», экзаменом магистерским, осмысленной заграничною жизнью (в Оксфорде, в Сорбонне), беседами с молодым математиком Пуанкаре, показавшим впервые ночные бульвары Парижа («Аллон, Коропкин, лэ булевар сон си гэ»⁶, диссертацией «Об инварьянтах» и докторской диссертацией: «Разложение рядов по их общему виду»; гремевшей в Париже и Лондоне книгою «О независимых переменных» пришел к профессуре; тогда лишь позволил себе взять билет на «Конька-Горбунка»; очень скудные средства не позволяли развлечься; и все уходило на томики или на выписку математических «цейтшрифтов» и «контрандю»...

Таковы достижения многих усилий, теперь попиравших невнятицу: повара, комнатку на Малой Бронной (с пейзажем помойки), и вот – занавесочка лопнула; томики книг разбежались по табачихинскому флигелечку, где двадцать пять лет он воссел, вылобанивая сочиненье – себя обессмертить: да, – так «рациональная ясность» держала победу; невнятица – выглядывала из окошечка желтого дома напротив.

Боялся невнятиц: едва заподозрив в невнятице что бы то ни было, быстро бросался – рвать жало: декапитировать, мять, зарывать и вымащивать крепким булыжником; под полом, пленная, все же сидела она, – черт дери: перекатыва-

⁶ Идемте, Коробкин, на бульвар. Там так весело (*фр.*).

ла какие-то шарики: он все боялся, что – вот: приоткроются двери, и фукнет кухарка отчетливым луковым паром; по рябеньким серым обоям прусак поползет.

Насекомых боялся.

Скрижаль мирозренья его разрешалась в двух пунктах, пункт первый: вселенная катится к ясности, к мере, к числу; пункт второй: математики (Пуанкаре, Исси-Нисси, Пшоррдоннер, Швеш, Клейн, Миттаг-Леффлер и Карл Вейерштрассе) – уже докатились; таким же путем вслед за ними докатится масса вселенной; вопросам всеобщего обучения он отдавался и верил: вопрос социальный – лишь в этих вопросах.

Он членам Ученого Комитета об этом писал.

Но проекты пылели в архивах, а он углублялся в свои перспективы, к которым карабкался с помощью лесенки Иакова, – до треугольника с вписанным оком, где он интегрировал мир, соглашаяся с Лейбницем: мир – наилучший.

Поэтому он ненавидел и привкусы слова: революция; он полагал, что толчок есть невнятица.

В мыслях он занял незанятый трон Саваофа – как раз в центре «Ока»: зрачком!

При царе-миротворце он правил вселенною; при Николае – толчки сотрясали уже плиты паркетиков этого вот флигелька; и профессор взывал к рациональным критериям; он потрясал карандашиком: «Ясности, ясности!». Требовал все пересмотра учебного плана Толстого.

Но члены Ученого Комитета – молчали.

Сперва был готов уничтожить «япошек» и он; за Цусимую – понял: народ, где идеи прогресса ввелись рационально, имел, черт дери, свое право нас бить; революция 1905 года – расшибла: он с этой поры все молчал; и когда раздавалось ретроградное слово «кадеты», – в моргающих глазках под стеклами виделось бегство зрачков, перепуганно вдруг закатавшихся в замкнутом круге.

Так он отступил в интегралы – не видеть невнятицы, уж угощавшей толчками под локоть; в... – да, да: Василиса Сергевна вдруг объявила себя пессимисткою, следуя там Задопятову; Митенька – черт подери – лапил Дарьюшку; действия и распоряженья правительства, – ужас его охватил при попытке осмыслить все это.

Решил не спускаться по лесенке Иакова вниз, а пробить в центре ока, воссев в свое кресло, ограниченное двумя катетами (эволюционизм, оптимизм), соединенными гипотенузой (ясность) – в прямоугольник, подобно ковчегу, несущемуся над потопом; единственно, что осталось ему – это изредка в фортку пускать голубей, уносящих масличные веточки в виде брошюрок; последняя называлась: «Об общем делителе».

Вот он – очнулся.

Но где Кувердяев? Разгуливал с Наденькой в садике, видно; профессор остался один: и тяжелым износом стояла пред ним жизнь людская: невнятица!

Запах тяжелый распространился в квартирочке; слыша-

лись крики: «фу-фу». И разгневанно там Василиса Сергевна в платье мышевьем (переделась к обеду) отыскивала источник заразы; ругались над Томкой; профессор вскочил и стремительным мячиком выкатился, услышав, что источник заразы – отыскан, что Томочка, песик, принес со двора провонявшую тряпку, и ел в уголочке ее; отнимали вонючую тряпку; а пес накрывал своей лапой ее, поворачиваясь, привздергивая слюнявую щеку:

– Рр-гам-гам!

Их оглядывал всех окровавленным глазом; довольный профессор поставил два пальца свои под очки и мешал отнимать эту гадкую тряпочку.

– Вот ведь, – невкусная тряпка; и как это Томочка может отвеживать гадости?

А Василиса Сергевна, брезгливо поднявши край платья мышевьего, требовала:

– Отдай, гадкий пес!

Пес – отдал; и улегся, свернувшись калачиком, нос свой под хвостик запрятал и горько скулил.

Но тогда перед ним появился профессор Коробкин с огромною костью в руке (вероятно, он бегал за ней). Дирижируя костью над гамкнувшим Томкой, прочел свой экспромт (отличался экспромтами):

Истины двойкой —

Корень есть во всем:

Этот – стал собакой.
Тот – живет котом.
Всякая собака —
Лаает на луну;
Знаки Зодиака
Строят нам судьбу.
Верная собака,
В зубы на-ка, Том,
Эту кость... Однако, —
Не дерись с котом!

.....

Так он начал воскресный денек; так и мы познакомились этим деньком с заслуженным профессором, доктором Оксфордского Университета.

9

Звонили.

Собаку убрал и: мог быть попечитель, Василий Гаврилович; Дарьюшка дверь отворила; и – Киерко.

– Здравствуйте, Киерко.

– Рад-с – очень, очень-с, – потер руки профессор; и подлинно: видно, что – рад; посетитель, щема левый глаз, моргал правым, как будто плескал не ресницами, а очень быстрыми крыльями рябеньких бабочек; все же сквозь них поколол, как иголочкой, серым зрачком, и им перекинулся от

Василисы Сергевны к профессору; и от профессора – вновь к Василисе Сергевне.

То был человек коренастый и лысенький, среднего роста и с русой бородочкой: правильный нос, рот – кривил; был он в рябенькой паре; он в руку профессора шлепнул рукой с таким видом, как будто бывал ежедневно; как будто он свой человек; и как будто – ровнялся.

– Где вы пропадали?

Провел в кабинетик.

А Киерко руки свои заложил за жилет – у подмышек; и, поколотив указательным пальцем и средним по пестрым подтяжкам, видневшимся в прорезь:

– Ну-с – нуте: как вы?

Дернул лысиной вкривь; и, вперяясь зрачком в край стола, поймал шум голосов:

– Это – кто ж?

– Кувердяев.

– Бобер, – не простой, а серебряный, – локти расставил, побив ими в воздухе, – как же здоровьице – нуте – Надежды Ивановны? – быстрый зрачок перекинулся с края стола на профессора; и от профессора – к краю стола: пируэтиком эдаким ловко подстреливал Киерко то, что желали бы скрыть от него.

Подцепил он профессора: тот – как забегает; Киерко же:

– Ну я ж бобруянин, провинциал, стало быть; вот и бряцаю – нуте: бездомок!

Прошелся вкривую; стоял, заложив свои пальцы за вырез жилета, привздернув плечо, оттопырив края пиджака, и разглядывая прусачишку.

– Скажу я, что все поколение – да бобылье же!

Профессор смотрел на него, подперевши очки, – с удовольствием, даже со смаком, как будто превкусное блюдо ему предстояло отведать.

– Да, да, – бобылье, – плеснул веком; зрачком же провел треугольник: прусак – глаз профессора – желтый паркетик – прусак.

Подбоченился правой рукой; указательным пальцем левой он сделал стремительный выпад в профессора, точно исполнил рапирный прием, именуемый «прима», и будто воскликнул весьма укоризненно, бесповоротно: «J'accuse!»⁷

– Вы – бобыль, как и я; богатецкий обед и там всякое – нуте: да это же – видимость: мы земляки, по беде.

И – прусак – глаз профессора – желтый паркетик – прусак: – Как хомут, повисаем без дела... А впрочем, – укрепил он, – хомут довисит: до запряжки.

И сделалось: тихо, уютно, смешливо; но – жутко чуть-чуть: занимательно очень. Увидевши Томочку, носом открявшего дверь, поприсел: шелкнул пальцами:

– А, собачевина, «*Canis domesticus*»⁸, – здравствуй: пословица есть, – обернулся он с корточек, – любишь меня, полю-

⁷ Я обвиняю! (*фр.*)

⁸ Домашний пес (*лат.*).

би и собаку мою: собачевина, лапу!

Схватив Томку за ухо, ухо на нос натянул – на соленый, на мокрый, на песий:

– Породистый понтер; а шишка-то, шишка-то: мой собратан, – улыбнулся он вкривь на профессора, очень довольного ярким вниманием к псу, – я – животное тоже, но я – совершенствуюсь; ты пока – нет.

И «поймал»: выражение сходства профессора с псом – в очертании носа и челюсти.

Киерко хвастал вниманьем к безделицам: мелочи он наблюдал; и потом соблюдал воедино; и так соблюденное людям бросал прямо в лоб: выходило же и интересно, и ярко; а память его походила на куль скопидома: оттуда все сыпались разные черточки, полуштришки, мелочишки: сказали б, что – отбросы; но, – из них Киерко строил свои непреложные выводы: даже казался порой воплощенным прогнозом, железной уликой; до срока – он медлил: натягивал завесь ленцы, с прибауточками, да с покряхтываньем; и ходил – с перевальцем.

Он делал, казалось, десятую долю возможного: вяло пописывал в «Шахматном Обозреньи» под разными подписями: «Цер», «Пук» и «Киерко»; звали же все его: Киерко, так он просил:

– Называйте же – нуте – меня просто «Киерко»: по-настоящему длинно; и черт его знает: «Цецерко-Пукиерко».

Делал десятую долю, а все прочие девять десятых проле-

живал, как говорил, на диванчике – в доме напротив, стоящем среди пустоши очень большого двора: в трехэтажном, известкою белою крытом; там первый этаж занимали одни бедняки, а второй был почище. Здесь Киерко жил; и отсюда заживал в шахматы биться он двадцать пять лет (холостым еще помнил профессора).

– Умная шельма Цецерко-Пукиерко: жалко – лентяй.

Иногда начинало казаться: за эту десятую часть ему жизнью отмеренных данных хватался люди, – считая присутствие Киерко просто опорой, себе, когда – все исчезало другое. Профессор заметил: когда он испытывал прихоть себя окружить атмосферою Киерко, – Киерко тут и звонился, являясь с лукавым уютом, как будто с минуты последнего их разговора лишь минуло двадцать минут.

Никому не мешал; он казался простым наблюдателем всяких традиций квартиры: с профессором игрывал в шахматы; с Надей разыгрывались дуэты (тащил он с собой тогда виолончель); с Василисой Сергевною спорил, доказывая, что и «Русская Мысль» никуда не годится, и «Вестник Европы»; с кухаркою даже солил огурцы; пыхал трубочкой, дергался правым плечом и носком, заложив за жилетиком палец – у самой подмышки: и здесь выколачивал пальцами дробь: смешливо и «к и е р к о».

Вдруг – исчезал; не показывал носу; то снова частил; и профессорше даже казался проведчиком:

– Этот Цецерко, – скажу «а пропб» – он не пишет ли в «Ис-

кре»?

– Ах, Вассочка, что ты, – хихикал профессор.

Однажды спросил:

– Расскажите мне, Киерко, что вы там собственно...

Киерко, в губы втянувши отверстие трубочки – («пох» – вылетали клубочки), ответил ведь, – черт его драл – на вопрос затаенный:

– Собrania, совокупленья людские – пох-пох – запрещаются нашим законом...

Щемил левый глаз; и уткнулся бородкой и трубочкой под потолок:

– У вас паутиночки: вам бы почистить тут надо.

И свел всю беседу – к чему? К паутинке!

Сегодня профессор был Киерке рад; еще утром подумалось:

– Вот бы пришел к нам Пукиерко: мы поиграли бы в шахматы.

Он и пришел.

Сели: доску поставили, – передвигали фигурами:

– Нуте-ка... Ферзь-то... А нового что?.. Благосветлова – а!

– Бери пешку.

– Движения ждете воды? – И зрачок, как сверчок, заскакал по предметикам; Киерко им овладел:

– А что, если, – профессор продвинул фигуру, – да нет: будет все, как и было.

– Он – нуте – им нужен, – скривил ход коня, – сволокли рухлядь в кучу; и «сволочь» такую хранят: дескать – быт и традиция... Это ж попахивает миазмами: нет, я, вы знаете, я санитар, я... – «вы – ферзью»?..

– Вы, Киерко, есть социалист.

– Как хотите; а вы «консерватор»? Нет, знаете – кто? – повертел он носком, вынул трубочку, ею стучал, чиркнул, фыркнул, вкурился: – «пох-пох» и – клубочки выстреливали.

– Дело ясное: – ферзью.

– Вы есть анархист: разрушитель: перекувыркиваете математикой головы... Нуте: да вас бы они уничтожили; вы и прикинулись, будто как все; совершенно естественно: там патриотика, всякое прочее; были ж «япошки»? Да что, – консерватором сделались: это, позвольте заметить, – как кукиш показанный: надо же жить математику – нуте... – вкурился и лихо откинулся, вздернувшись трубочкой, пальцы свои заложил за подтяжки, носок пустил «вертом»:

– Съем – ферзь.

– Черт дери.

– Либералы – матерые – ну-с – консерваторы; знаете ли, что на свете навыворот – все: волки выглядят овцами, овцы – волками, – «пох-пох» – вылетали клубочки.

Привздернул плечо, и – вкривую прошелся, щемя левый глаз:

– Нуте – мне содробите две дробы, которых числители,

скажем, – «два», «три».

– Я найду наименьшее кратное! – вскрикнул профессор.

– А далее?

– Далее, я числителя каждой умножу на кратное.

– Нуте: и мы так, – согнувшись дугой, стрельнул пальцем в профессора.

– Да, – наименьшее кратное – есть уравнение экономического отношения; а умножение – росты богатств: нуте – прежде чем множить богатства – равнение по наименьшему кратному: наш фронт единый.

Профессор, не слушая, над опустевшей доскою шатался ладонью.

– А, черт подери – попал в «пат»: и не шах, и не мат.

Атмосфера уюта – висела: и стало – немного смешно, чуть-чуть жутко.

И Киерко.

10

Митя и Грибиков выбрались из горлодеров базара – к Арбату, проталкиваясь в человечнике; перессорились пространства, просвеченные немигающим очерком медного диска.

И вот – неизбежный Арбат.

Еле Грибиков справился с чохом, уставился в Митю:

– А много ли книжиц у вас?

Не лицо, а кулак (походило лицо на кулак – с носом, с кукишем) выставил Митя:

– А вам что?

Казался надутым.

– Я думаю, коли вы так раздаете издания наук, с позволения вашего, даром...

– Продашь.

– Стало, батюшка – вас не снабжает деньжатами? – злобно мешанствовал Грибиков: – Денежки нынче и крысе нужны, – он прибавил.

– Не очень, – как видите...

– Что?..

– Не снабжает...

«Какой приставала, – подумалось Мите, – отделаться бы...»

– Был бы, я полагаю, оравистый, многосемейный ваш дом: а то сам, да мамаша, да вы, да Надежда Ивановна; стало быть, он проживает сам-четверт, а деньги жалеет.

И Грибиков едко мотал головой.

– Ну, прощайте, – отвязывался Митюша.

Едва отвязался.

А Грибиков тут же обратно свернул; и потек горлодерами, соображая его занимающее обстоятельство (брал не умом, а усидкою он, подмечая и зная про всех), правил шаг в распылищи, к тому букинисту;

– Вы мне покажите, отец, сочинителя Спенсера том – этот

самый, который барчонок оставил: – даю две полтины.

– Рупь с четвертью.

Поговорили они, сторговались, почесывались:

– Стало носит?

– Таскается: сорок уж книжек спустил, я так думаю, что – уворовывает.

– Родителивы! Он, родитель, богато живет, – енарал; я давно подмечаю, – со связками малый из дому шатается по воскресеньям; смотреть даже стыдно.

– А все они так: грамотеют, а после – грабошат; отец, ведь, грабошит: я знаю их.

Грибиков с томиком Спенсера свертывал с улицы; бесчеловечные переулки открылись; они человекили к вечеру; днем – пустовали.

Вот дом угловой; дом большой; торопился чернявенький, маленький здесь в распенсне; глаза – острые, шляпа – с полями; и Грибиков знал его: барин, с Никольского; ходят «они» к господину Иванову; барин Рачинский взовет с папирской: «Исайя ликуй»; и пойдут они – взапуски; и господин сочинитель Иванов туманов подпустит: дымат до зари; ничего – безобидные люди. Все Грибиков знает: дома и квартиры – по Табачихинскому и по семи Гнилозубовым; этот вот дом: почему он пустует? Китайский князь, двадцать пять лет подавившийся костью, является здесь по ночам: подавиться; он давится каждою ночью; нет мочи от этих давлений. Княгиня живет за границей, с княжною, которая выйти все замуж не

может: она поступила давно на военную службу; такая есть армия; и называется – армией спасения жуликов.

11

Грибиков по двору шел мимо лысин с бутылочным битышем, к белому дому; и стал, разговаривая со старушкой в кретонах; старушка показывала на бледнявую барыню:

– То «дядя Коля», и се – «дядя Коля»; все «дядя» да «дядя». Коль дядя, так «дядей» и будь, а то «Колей» его называет она: сама слышала.

– Да, Николай он Ильич, из Калошина...

– С нею мемекает песенки.

Барыня – та, о которой шла речь, вся закуталася тарлатановою кисеєю; летами страдала сенной лихорадкой, а осенями простудою; против – над домиком, – вздулся белеющий облачный клок; и замраморел пятнами тени; и пели:

Прости, небесное создание,
Что я нарушил твой покой.

На приступках мужчина сидел – пустобай, заворотничек, красновеснушчатый и красноглазый; зевай-раззевайский пускал он на драный сапог; ему Грибиков дельно заметил:

– Сапог-то пошел в разызноску!

Попробовал пальцем подпек и на палец уставился, точно

увидел он что-то.

– Опять синяки расставляешь себе на лицо?

И понюхал свой палец.

Мужчина чесался: открыл кривой рот и обдал перегаром и паром:

– Бутылочку мы раскутырили. Жизнь – размозгляило что-то.

Подрыльником ткнулась в колено свинья.

– Эх, Романыч, возгривел, – крысятился прохиком Грибиков, – ты на лицо посмотри: баклажан.

– Ничего, это «пиво»!

Они отворили раздранную дверь, из которой полезло молчаливо; попали на кухню, где баба лицом источала своим параванское масло из пара; и где таракашки быстрешили, усатясь над краном; тут салился противень. Дом людовал, тараканил, дымил и скрипел; стекла мыли; и пол был заволглый, прикрытый дорожкой коврика с пятнами всяких присох.

Уже скрипнул визжавый замок; охватило придухою: комната – с паревом, с заварызганною постелью, накрытою одеялом лоскутным, с протертым комодиком, с дагерротипами, с молью; мужчина уселся на свой жестяной сундучок и ударился в горе; а Грибиков, палец понюхав, вошел в разговор, вероятно, когда-то начавшийся и неоконченный:

– Думай, Романыч, чего тебе так-то.

Романыч сучил желтомохую руку:

– Я здесь и помру: собираться мне некуда.

– Давеча ты согласился же: александрейку-то взял!

– Взял и пропил: и нет тебе – «фук»; и – возьму, и опять же – пропью.

– Так ты думаешь – барин Мандро тебе...

– Что ж? и подарит, коль есть у него эта треба в клоповнике, в этом.

– Тебе-то клоповник – зачем он? Тебе вот клоповник, другому кому – Палестины, – и Грибиков не посмотрел, а глазами огадил, – зачем тебе комната: ты проживешь годов пять да помрешь: на полатах.

– А может еще и женюсь...

– Тебе сотенку барин Мандро предложил за вменение этого самого своего человека; то дело тяпляпое: а воспротивишься ты фон Мандро? Да ведь он, фон Мандро, – и скоряченный Грибиков шипнул под ухо: – подумай, – чем пахнет, уж он-то сумеет сгноить: по участкам протащит, отправит тебя с волчьим пачпортом.

Дикий Романыч тут – в рявк:

– Кулаком я сумею расщепить его: знаем мы – фон Мандро, фон Мандро. Я и сам фон Мандро; ну, чего в самом деле пристали: я давеча этого самого – видел; тащился сюда он; весь пакостный, карла, с протухшею мордой, без носа... Чего меня гоните, – тут он упал головою на стол и, закрывши лицо кулаками, стал всхлипывать.

– Александрейки-то брал, – трясся в бешенстве Грибиков, так зашипев, как кусочек коровьего масла, который уронят

на сковороду; чад желтый над словом пошел: – Он тебя, брат, заставит лизать сковородки, барахтаться в масле кипучем; он, брат, не как прочие: он...

Спохватившись, прибавил претоненьким, даже пресладеньким голосом, чтобы слышали стены:

– Ну, что же, что носа нет, он человек, брат, больной – что ж такого! Что барин Мандро его ищет призреть, так за это пошли ему Бог.

Вдруг стена, очевидно, имевшая ухо, взревела по-бабьи:

– Романыч, уж ты закрепись: он сгноит тебя вовсе; за комнату – плóчено; кто же погонит? Скажу я вам, Сила Мосеич, и очинно даже нейдет в ваши годы таким страхованьем себя унижать: захмелевшего человека гноить.

Так сказавши, стена замолчала: верней, – за стеной замолчали, и Грибиков фукнул:

– А чтоб тебе, стерва!

И вышел, – сидеть на скамье, подтабачивать воздуха, все ожидая, что воздух вот просветится и мутное небо под небом рассеется, чтобы стать ясным, что лопнувший диск в колпаке небосвода, кричащий жарой, станет дутым, хладнеющим, розовым солнцем, неукоснительно улетающим в пошелестение кленов напротив.

Подхватят тогда краснокудрый дымок из трубы раздувай ветров и воззрится из вечера стеклами тот красноокий домишечка, чтобы потом под измятой периною тьмы почивали все пестрости, днем бросающие красноречие пятен, а но-

чью притихшие; ноченька там за окошками повеселится, как лютиками, – желтоглазыми огонечками: ситцевой и черно-желтою кофтой старухи, томительно вяжущей спицами серый чулок из судеб человеческих; в эти часы за воротами свяжется смехотворня скрипитчатая, сиволапые краснобаи, и кончится все – размордаями и подвываньями бабьими; и у кого-то из носу пойдет краснокап; и на крик поглядит из-за форточки там перепуганный кто-нибудь.

Грибиков будет беззвучно из ночи смотреть, ожидая каких-то негласных свиданий, быть может – старуху, которая кувердилась чепцом из линялых кретончиков в черненькой кофте своей желтоглазой, которая к вечеру, подраспухая, становится очень огромной старухой, вяжущей тысячени-тийный и роковой свой чулок.

Та старуха – Москва.

12

– А пропб, – скажу я: Лиховещанские, Кулаковы при их состоянии – ставят на стол всего вазочку с яблоками, да подсохшие бутербродики с сыром, а, как его, Тюк...

– Двуетюк, а не тюк.

– Двуетюк...

– И не стыдно тебе, – повернулся профессор, – дружок, заниматься такими, – ну, право же, – там пустяковинами.

Василиса Сергевна перетянулася злобами:

– Жизнь такова: это вы улетаете все в эмпирии свои, не принявши в расчет – скажу я, – что у Наденьки нет выездного парадного платья.

– Мой друг, – и профессор подкинул свой ножик, – то – мелочи; ты посмотри-ка: – вот алгебра, приподымается буквой над цифрой, – наставился носом на муху; тогда Василиса Сергевна заметила:

– Мы-то – не цифры: у Задопятова сказано...

И зачитала она:

Тебе внятно поведуют взоры.

Ты его не исчислишь числом, —

Тот порыв благородный, который

Разгорается в сердце моем...

– Задопятову я вышиваю накнижник.

Опять Задопятов!

– Ну, что ж, – вышивай: хоть... набрюшник!

Стоногие топы пошли коридором, наткнулись на Митю.

– Ну, кто – дело ясное – спрашивал?

– Спрашивали... по русскому языку...

– Ну и, собственно говоря, что же ты?

Митя знал, что с «четверками» сына не мог бы никак помириться отец, что на «тройки» кричал бы, от «двойки» бы слег; Митя – вспыхивал, супился, грыз заусенцы.

– Я... пять... получил...

– Ясное дело: что ж ты одежду разьерзал! Мазуля!

И в серые сумерки, где выступали коричнево-желтые переплеты коричнево-серого шкапа, профессор прошел по-вой мордюю; там со стола пепелилось растлением множество всяких бумаг, бумажонок, бумажек, бумажечек – черченых и перечерченных; щупал мозольный желвак (средний палец на правой руке) и бумажки надсверливал глазками (перечеркнуть перечерки последнего вычисления в перепере... и так далее); суетуном потопатывал он.

И копался, трясясь жиловатой рукою над полкой, отыскивая ему нужное изыскание Бэна, стоял – второй том; первый том – черт дери – провалился сквозь – черт дери – землю. С недавнего времени взял на учет один факт: исчезала за книгою книга; математические сочинения оставались нетронутыми; все же прочие трогала чья-то рука.

Тут, надтуживая себе жилами лоб и испариной орошая надлобные космы, затрескал он дверцами книжного шкапа, бросался на книги, расшлепывая их все кое-как друг на друге и кое-как вновь их бросая на полки: да, да – Бэн пропал; и – некстати весьма; меж страницами он хоронил вычисленья, весьма-весьма нужные (письменный стол был набит):

– В корне взять, – черт!

И гиппопотамом потыкался, охая, – от полки к полке; от кресельных ручек – к столу; там очки закопал в вычислениях; и, слава богу вздохнул, отыскавши очки... – у себя на носу.

А, в окошке, стояла брусничного цвета заря: но бруснич-

ного цвета заря – предвещала дожди.

Он устраивал смотр интегралам.

В их ворохе вызрело математическое открытие, допускающее применение к сфере механики; даже – как знать: применение это когда-нибудь перевернет всю науку, меняя предел скоростей – до... до... скорости – черт подери – светового луча.

Уж рука в фиолетовых жилках тряслась карандашиком: он забодался над столиком – в желтом упорстве; локтями бросался на стол, подкарабкиваясь ногами на кресло, вараксая быстреньким почерком скобочки, модули, прочие знаки, сопровождаемые «пси», «кси» и «фи».

Автор толстеньких книг и брошюр, которые были доступны десятку ученых, разложенных между Берлином, Парижем, Нью-Йорком, Стокгольмом, Буайнос-Айресом и Лондоном, соединенному помощью математических «контрандю», разделенному же – океанами, вкусами, битами, языками и верами; каждая начиналась словами «Положим, что»; далее – следовала трехстраничная формула, – до членораздельного «и положим, что»; формула (три страницы) – до слов «при условии, что»; – и формула (три страницы), оборванная лапидарнейшим «и тогда», вызывающим ряды новых модулей, дифференциалов и интегралов, увенчанных никому не понятным и красноречивым: «Получим»; и – все заключалось подписью: И. И. Коробкин; коли ту брошюру словами прочесть, выключая словесно невыразимые форму-

лы, то остались слова бы: «Положим... Положим... Положим... Тогда... Мы получим» и – вешее молчание формул, готовое бацнуть осколками паровых котлов, опустить в океаны эскадры и взвить в воздух двигатели, от вида которых, конечно же, падут замертво начальники генеральных штабов всех стран.

Все четыре последних брошюры имели такое значение; их поприпрятал профессор; последняя, вышедшая в печати, едва намекала на будущее, понятное только десятку ученых; брошюры Ивана Ивановича переводились на Западе; даже на Дальнем Востоке; сложилась школа его; Исси-Нисси, профессор из Нагасаки, уже собирался в Москву, для того, чтобы в личной беседе с Иваном Ивановичем от человечества выразить, там – и так далее, далее...

Он разогнулся, надчесывал поясницу («скажите, пожалуйста, – Том-блеховод тут на кресле сидел»); и обдумывал формулы: закопошился в навале томов и в набросе бумаг, и разбрызгивал ализариновые чернильные кляксы: набатили формулы: «Эн минус единица, деленное на два... Скобки... В квадрате... Плюс... Эн минус два, деленное на два, – в квадрате... Плюс... И так далее... Плюс, минус... Корень квадратный...» макал он перо.

Стал морщаном от хохота, схватываясь руками за толстую ногу, положенную на колено с таким торжествующим видом, как будто осилил он двести препятствий; горбом вылезали сорочки; и шелкал крахмалами, вдавливая подбородок

в крахмалы; щипнув двумя пальцами клочок бороды; его сунул он в нос.

Из угла опускалася ежевечерняя тень; уж за окнами месяца вставал, и лилоты разреживались изъяснениями зелено-бу- тыльного сумрака; ставились тенями грани; меж домиками обозначился – пафос дистанции.

Медленно он разогнулся; и у себя за спиною схватился рукою за руку: от этого действия выдавился живот; голова ушла в шею: казалась вшлепнутой в спину.

– Пришел бы Цецерко-Пукиерко; вот поиграли бы в шах-маты.

.....

Вечером, – шариком в клеточке хохлится канареечка; пол- нятся густо безлюдием комнаты; а из угла поднимаются ли- ловокрылые тени; темнотный угодник в углу, из-за жести, вещает провалом грозящего пальца.

И липнет к окошку: Москва.

13

Со свечкою сб-черна шел он.

И желклые светочи свечки вошли косяками, и, круг от- кружив, разлеглись перерезанно; там, из-под пальмы видне- яся, Наденька ясно разрезалась лунною лентой:

– Дружок, к тебе можно?

И малые, карие глазки потыкались: в Наденьку, в набронзировку, в салфеточку кресельную, – антимакассар.

– Что вы, папочка, – личиком глянула Наденька, точно серебряной песенкой.

– Так, на минуточку... – он вопрошал приподнятием стекол очковых.

Явление это всегда начиналось с «не помешаю», «минуточку», «так себе»; знала – не «так себе», а – нутряная потребность: зашел посидеть и бессвязною фразою кинуть.

Умеркло откряхтывал в кресле, разглядывая деревянную виноградину, – вырезьбу, крытую лаком; катал карандашик: и им почесался за ухом; когда сквозь леса интегралов вставал табачихинский дом, номер шесть, то он – шел себе: к Наденьке.

– Папочка, знаете сами же вы: никогда не мешаете...

Он шлепал ладонью в колено: и, как карандашик, очинивал мысль.

– Ну? Что скажете?

– Да ничего-с.

Она знала, что очень «чего-с»: и – ждала.

Оконкретилось в нем, наконец:

– Кувердяев...

– Ну, так я и знала!

Она улыбнулась.

– Что скажешь, дочурка, о нем?

Заходил дубостопом (ведь вот грубоногий): он был для

нее, главным образом, – «папочкой».

– Ну, я скажу: Кувердяев – фальшивый и злой.

Он прошел, не сгибая колена, к стене, где обои лилово-волистые, с прѳкриком темно-малиновых ягод над ним рассмеялся: прѳкриком темно-малиновых ягод; рассеянно ягоду он обводил карандашиком.

– Разве не видите сами?

Дубасил словами по ягоде.

– Да, как же можно... Ведь – деятель он, так сказать...

Все же, чем-то довольный, – ладони потер:

– В корне взять...

По-простецки пошел, повисая плечом, – сложить плечи в диван и оттуда нехитро поглядывать: широконосым очканчиком.

– Э, да вы, папочка, – вот какой: хитренький, – заворкотала, как горлинка, Надя.

– Ах, что ты!

– Вы сами же рады тому, что я так отзываюсь о нем.

И она распустила пред зеркалом густоросль мягких, каштановых прядей.

– Зачем представляетесь!

Ясно прошлась в его душу глазами:

– Довольны?

Улыбкой, выдавшей хитрость, расплылся и он.

– В корне взять...

И молчал, и таскал из коробочки спички: слагать – в па-

раллели, в углы и в квадраты; подыскивал слов: не сыскались; безграницлась мысль – потекла в подсознание.

Прыснуло дождичком; дождичек быстро откапелькал.

Встал и побацал шагами:

– Да, да, знаешь ли...

И удивлялся – в окошко: блуждание с лампой из окон соседнего домика взвеивало чертогоны теней на заборике.

– Знаешь ли ты, – непонятно... Куда все идет?

Там лиловая липла – в окошке.

– Утрачена ясность.

Побацал: сел снова.

Представился Митя, двоящий глазами, такой замазуля, в разъерзанной курточке, руки – висляи, весь в перьях: там он улыбался мазлявым лицом, когда Дарьюшка мыла полы, высоко засучив свою юбку: стоял и пыхтел, краснорожий такой; тоже – утренний шепот: «Пожалуюсь барыне».

– Дарьюшка, знаешь ли, – как-то... Пятки́ получает...

– Какие пятки́?

– Я о Митеньке.

Пальцами забарабанил он: тра́-тата, тра́-тата, тарара́-тата.

– Да-с – тарара-тата.

Слышались в садике жуликоватые шепоточки осин.

– Молодой человек, – в корне взять, – и понятно... А все-таки, все-таки...

Но про свое наблюдение с Дарьюшкой – нет: он – ни слова; ведь Наденька – да-с, чего доброго, – барышня... Так, пови-

давшись бессвязными фразами с ней (Кувердяев, невнятица, Митенька), взял со стола он нагарную свечку:

– Ну, спи, спи, дочурочка.

Чмокнулся.

Сб-света снова в глазастые черни ушел он: в тяжелые гущи вопросов, им поднятых.

Надя сидела под пальмами; тихо глядела на бисерный вечер, где месяц, сквозной халцедон, вспрыснув первую четверть, твердился прозрачно из мутно-сиреневой тверди.

А время, испуганный заяц, – бежало в передней.

.....

Стремительно холодом все облизнулось под утро: град – щелкнул, ушелкнул; дожди заводнили, валили листовячину; шла облачина по небу; наплакались лужи; земля-перепоица чмокала прелыми гнилями.

Скупое мизикало утро.

Иван же Иваныч, облекшись в серый халат с желтоватыми и перетертыми отворотами, перевязавши кистями брюшко, отправлялся к окошку: дивиться наплеванным лужам.

Вся даль изошла синеедами; красные трубы уже карандашили дымом; и... и...

– Что такое?

Домок, желтышевший на той стороне, распахнулся окошком, в которое обыкновенно выглядывал Грибиков; там, приседая под чижиком, высунул голову черноголовый муж-

чина, руками расправивший две бакенбарды: въедался глазами в коробкинский дом; и потом всунул голову, стукнувшись ею о клетку; окно запахло: как есть – ничего.

Тут пошел – листочес, сукодрал, древолонные скрипы. Уже начинался холодный обвой городов.

14

Распахнулась подъездная дверь: из нее плевком выкинулось – плечекосенький и черношляпый профессор, рукой чернолапой сжимая распущенный зонтик, другою – сжимая коричневокожий портфель; и коричневой бородою пустился вприпрыжечку:

– Экий паршивый ветришко!

Спина пролопятилась; рубленый нос меж очками тяп-ляпом сидел, мостовая круглячилась крепким булыжником; и разгрохатывался смешок подколесины: то сизоносый извозчик заважживал лошадь; его понукала какая-то там сине-перая дама в лиловом мантии с ридикюльчиком, с малым пакетиком, связанным лентою; в даме узнал Василису Сергевну:

– Она Задопятову, верно, отвозит накнижник.

Уже копошился сплошной человечник; то был угол улицы; тут поднялась таратора пролеток; лихач пролетел; провезли генерала; в окне выставлялись вазы, хрусталь.

Он пустился бежать – за трамваем; он втиснулся в толо-

ко тел, относясь к Моховой, где он выскочил; перебежавши пролетку, – на двор – вперегонку с веселою кучей студентов:

– Профессор Коробкин!

– Где?

– Вот!

Запыхавшись, вбежал в просерелый подъезд, провожаемый к вешалке старым швейцаром.

– У вас, как всегда-с: переполнено!..

Тут же увидел: течет Задопьятов, стесняемый кучей студентиков, по коридору.

– А пусть хоть набрюшник, – припомнилось где-то.

Белеющая кудрѣя волос задопьятовских, выпреним веером пав на сутулые плечи, на ворот, мягчайшей волною омыла завялую щеку, исчерченную морщиной, мясную навислину, нос, протекая в расчесанное серебро бороды, над которой топорщился ус грязноватой прожёлчиной; веялся локон, скрывая морщавенький лобик.

И око – какое – выкатывалось водянисто и выпукло из-за опухшей глазницы, влажняся слезою, а длинный сюртук, едва стянутый в месте, где прядает мягкий живот, где вытягивается монументальное нечто, на что, сказать в корне, садятся (оттуда платок вывисал), – надувался сюртук.

Задопьятов усядется – выше он всех: великан; встанет – средний росточек: коротконожка какая-то...

Старец торжественно тек, переступая шажочками и охоложивая студента, прилипшего к боку, прищуренным оком,

будящим напомиание:

– У нас нет конституции.

Сухо протягивал пухлые пальцы кому-то, поджавши губу – с таким видом, как будто высказывал:

– Право, не знаю: сумею ли я, не запятнанный подлостью, вам подать руку.

Стоящим левее кадетов растягивал губы с неискреннею, кисло-сладкой приязнью; увидев кадета же, делался вдруг милованом почтенным, – очаровательным кудреянном, путанном, выкатывая огромное око и помавая опухшими пальцами:

– Знаю вас, батюшка...

– У Долгорукова – с Милюковым – при Петрункевичах...

Там он стоял, сжатый тесным кольцом; ему подали том «Задопятова», чтоб надписал; отстегнувши пенсне, насадил его боком на нос и – чертил изречение (о сеянии, о всем честном), собравши свой лобик вершковый в мясистые складочки.

Был генерал-фельдцейхмейстер критической артиллерии и гелиометр «погод», постоянно испорченный; он арестовывал мнения в толстых журналах; сажал молодые карьеры в кутузки; теперь – они вырвались, чтоб выкорчевывать этот трухлявый и что-то лепечущий дуб; он еще коренился, но очень зловеще поскрипывал в натиске целой критической линии, смеющей думать, что он есть простая гармоника; гармонизировал мнения, устанавливая социальные такты, гар-

цую парадом словес.

Тут Ивану Иванычу вспомнился злостный стишок:

Дамы, свет, аплодисменты,
Кафедра, стакан с водой:
Всюду давятся студенты...
Кто-то стал под бородой.

И уж лоб вершковый спрятав,
Справив пятый юбилей, —
Выступает Задопятов,
Знаменитый водолей.

Четверть века, щуря веко
В лес седин, напялив фрак, —
Унижает человека
Фраком стянутый дурак.

И надуто, и беспроко,
Точно мыльный пузырек, —
Глупо выпуклое око
Покатилось в потолок.

Кончил, – обмороки, крики:
«В наш продажный, подлый век, —
Задопятов, – вы великий
Духом крепкий человек».

Кто-то выговорил рядом:

«Это – правда, тут есть толк:
Дело в том, что крепок задом
Задопятов», – и умолк.

С Задопятовым Иван Иванович столкнулся у самой профессорской.

– Здравствуйте, – и Задопятов, придав гармонический вид себе, отбородатил приветственно:

– Геморроиды замучили.

В подпотолочные выси поднятое око Ивану Ивановичу просто казалось свернутой килькой, положенною на яичный белок.

– А вы слышали?

– Что-с?

– Благолепова-то – назначают.

– И что же-с?..

– Посмотрим, что выйдет из этого, – око, являющее украшение Москвы (как царь-пушка, царь-колокол), село в прищуренные ресницы; он стоял – вислотелый, с невкусной щекою; геморроиды замучили!

Иван Иванович подумал:

– Дурак.

И, сконфузившись мысли такой, он подшаркнул:

– А вы бы, Никита Васильевич, как-нибудь: к нам бы...

Никите Васильевичу, в свою очередь, думалось:

– Да у него – э-э-э – размягчение мозга.

И мысль эта смягчила:

– Может быть, я – как-нибудь...

И – разошлись.

Задопятава перехватили студенты; и он гарцевал головой, на которой опухшие пальцы, зажавши пенсне, рисовали весьма увлекательную параболу в воздухе: и на параболе этой пытался он взвить Ганимеда-студента, как вещей Зевесов орел.

А профессорская дымилась: зеленолобый ученый пытался Ивана Иваныча все защемить в уголочке; кончался уже перерыв: слононогие и змеевласые старцы поплыли в аудитории. Спрятав тетрадку с конспектом, профессор Коробкин влетел из профессорской в серые коридоры; какой-то студентик, почтитель, присигивал перебивную походочкой сбоку, толкаемый лохмачами, в расстегнутых, серых тужурках; совсем пахорукий нечеса прихрамывал сзади.

Большая математическая аудитория ожидала его.

15

Вот она!

Стулья, крытые кучами тел, серо-белых тужурок, рубах; тут обсиживали подоконники, кафедру; густо стояли у стен и в проходе; вот маленький стол на качающемся деревянном помосте, усиженном кучами; вот и доска; вот и мела кусочек; и – мокрая тряпка.

Профессор совсем косолапо затискался через тела; сотни глаз его ели; под взглядами он приосанился, помолодел, зарумянился; нос поднялся и привздернулись плечи, когда, подпирая рукою очки, поворачивал голову, приготавливаясь к словам.

Переплеск побежал.

Опершись руками на столик, спиною лопатясь на доску, свисая мохрами, с улыбкой побегал, блеснув плутоватыми глазками; и – пред собою их ткнул.

– Господа, – начал он, припадая к столу, – я покорнейше должен просить не высказывать мне одобрения, или, – повел удивленно глазами он, – неодобрения... Я перед вами профессор, а не... не... взять в корне... артист; здесь – не сцена, а, так сказать, – кафедра; здесь не театр – храм науки, где я, в корне взять, перед вами являюсь естественным – да-с – конденсатором математической мысли.

И ждал, осыпаемый новыми плесками; но перестал реагировать; ждал.

– Гм... Научно-математический метод объемлет, – развел свои руки, – объемлет все области жизни: и даже, – тут он подсигнул, – этот метод, взять в корне, является мерою наших обычных воззрений, – он молнил очковым стеклом.

– Господа, ведь научное мировоззрение, – бросил очки на лоб, – опирается, да-с, говоря рационально, на данные, – сделал он паузу...

– Биологических, психофизических знаний, которые на-

шим анализом сводятся к биохимическим, к физико-химическим принципам.

– Факт восприятия, – пальцы зажал он в кулак, – разложим, – растопырил он пальцы, – на физико-химические комплексы, которые все разложимы на чисто физические отношения.

– К физике, – бросил направо он, – к химии, – бросил налево он, – сводятся в общем процессы.

– Гм, – в химии всякий процесс, – он приподнял надбровные дуги, – воспринятый в качественном отношении, есть материальный процесс; – рывкнул, – химия; – рывкнул, еще убедительнее, – была; – сделал видом открытие, – до сих пор, в корне взять... гм... гм... наукой о качествах.

С важным открытием, ясно поставленным правой рукой на ладонь, он пошел на студентов.

– А физика, – он угрожал, – есть наука, в которой количества.

И убеждал их летающим пальцем.

– Поэтому вот, господа, – призывал он глазами к вниманию, – имеем в физической химии мы отношения, да-с, весовые, – и тоненьким голосом бисерил: – то есть такие, которые, – кха: – он закашлялся, – и, тем не менее, и однако ж... – он сбился.

Немного попутавшись, вышел: прямою дорогой пошел в математику.

И победителем бацал по доскам помоста, пропятив жи-

ВОТ.

Помахал с полчасик введением к курсу; потом, схватив мел, перешел прямо к делу: к доске; голова тут расшлепнулась в спину, а ворот вскочил над затылком; поэтому, ставши спиною к студентам, показывал ворот, – не голову, – с очень короткой рукою, закинутой за спину и косолапо качаемой вправо и влево (помощь себе), очень быстро вычерчивал формулы.

– Модуль, взять в корне, – число: то, которое, – он повернул свою голову, – множится логарифмами одного, gm , начала для получения логарифмов другого начала.

Забегал мелком по доске.

Заслуженный профессор на лекциях становился, ну право, какой-то зернильнею; стаи студентиков, точно воробушки, с перечириком веселым клевали: за формулкой формулку, за интегральчиком интегральчик.

Обсыпанный мелом, сходил уже с кафедры в стае студентов, в которую тыкался он полнощеким лицом; и бежал с этой стаей к профессорской:

– Вы, – дело ясное: вы прочитайте-ка, знаете ли, у Коши.

– Да на это указано Софусом Ли, математиком шведским.

– Стипендиат?..

– Что же тут я могу: обратитесь к секретарю факультета.

У самой профессорской остановили его: представитель какой-то коммерческой фирмы, весьма образованный немец, явился с труднейшим вопросом механики.

– Ну, как фи думайт, профессор?

– Да вы-с – не ко мне: вы подите-ка, да-с, к Николаю Егоровичу, говоря рационально, – к Жуковскому... Он ведь – механик, не я – в корне взять.

Но одно поразило: открытие в области приложения математики к данным механики, сделанное Иваном Ивановичем, прямо имело касанье к предложенному иностранцем вопросу: профессор уткнулся в бобок бородавки весьма интересного немца и обонял запах крепкой сигары; профессор заметил, что он, вероятно, к вопросу вернется и выскажется подробнее по этому поводу в «Математическом Вестнике» – в мартовской книжке (не ранее); немец почтительно в книжечку это записывал.

– Знаете, книжечки желтые – «Математический Вестник»... Да, да: редактирую – я...

И рассеянно тыкал в него карандашиком, зарисовавшим какие-то формулки на темно-рыжем пальто иностранца.

.....

И вот, – Моховая: извозчики, спины, трамвай за трамваем. Профессор остановился: из черных полей своей шляпы уставился он подозрительно, недружелюбно и тупо в какую-то новую мысль; но в сознании взвивался вихрь формул: набатили формулы и открывали возможности их записать; вот и черный квадрат обозначился, загораживая перед носом тянувшийся, многоколонный Манеж.

Обозначился около тротуара, себя предлагая весьма соблазнительно:

– Вот бы подвычислить!

И соблазненный профессор, ощутив в кармане мелок, чуть не сбивши прохожего, чуть не наткнувшись на тумбу, – стремительно соскочил с тротуара: стоял под квадратом; рукою с мелком он выписывал ленточку формулой: преинтересная штука!

Она – разрешилася.

Поинтереснее знаменитой «ферматы» (такая есть формула: он еще как-то о ней написал).

– Так-с, так-с, так-с; тут подставить; тут – вынести.

И получился, – да, в корне взять, – перекувырк, изумительный просто: открытие просто. Еще бы тут скобочку: только одну.

Но квадрат с недописанной скобочкой, – черт дери – тронулся: лихо профессор Коробкин за ним подсигнул, попадая калошею в лужу, чтоб выкруглить скобочку: черный квадрат – ай, ай, ай – побежал; начертания формул с открытием – улепетывали в невнятицу: вся рациональная ясность очерченной плоскости вырвалась так-таки из-под носа, подставивши новое измеренье, пространство, роившееся очертаниями, не имеющими отношения к «фермате» и к перекувырку; перекувырк был другой: состоянья сознания, начинающего догадываться, что квадрат был квадратом кареты.

Карета поехала.

Это открытие поразило не менее только что бывшего и улетевшего вместе со стенкой кареты: не свинство ли? Думаешь, – ты на незыблемом острове среди неизвестных тебе океанов: кувырк! Кит под воду уходит, а ты забарахтался – черт подери – в океане индейском (твой остров был рыбой), так статика всякая – черт подери – переходит в динамику, иль в развиваемое ускорение тел: ускоряйся, падает тело.

Профессор с рукой, зажимающей мел, поднимая тот мел, развивал ускорение вдоль Моховой, потеряв свою шляпу, развеявши черные крылья пальто; по квадрат, став квадратиком, силился там развивать ускорение; и улепетывали в невнятицу – оба: квадрат и профессор внутри полой сферы вселенной – быстрее, быстрее, быстрее! Но вдвинулась вдруг лошадиная морда громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула!

Тело, опоры лишенное, – падает: пал и профессор – на камни со струечкой крови, залившей лицо.

А вокруг уж сгурьбились: тащили куда-то.

Глава вторая

«Дом Мандро»

1

И вот заводнили дожди.

И спесивистый высвист деревьев не слышался: лист пообвевая; черные россыпи тлелости – тлели мокреями; и коротели деньки, протлевая в сплошную чернь теменей; ветер стал ледничать; засеверил подморозками; мокрые дни закрепились уже в холодель; дождичек обернулся в снежиночки.

И говорили друг другу:

– Смотрите-ка!

– Снег.

– И ведь – нет: дождичек!

Так октябрь пробежал в ноябри, чтобы туман – ледяной, морковатый, ноябрьский – стоял по утрам; и простуда повесилась: мор горловой.

.....

Эдуард Эдуардович стал замечать: между всеми предметами в комнатах происходили какие-то – да-с – охладнения; натянутости отношений сказались во всем; воду пробуешь, – нет: холожавая; ручку от двери, и та: вызывает озноб.

Он заканчивал свой туалет – перед зеркалом в ясной, блистающей спальне.

Представьте же: он, фон Мандро, Эдуард Эдуардович, главный директор компании «Дома Мандро», светский лев, принимал в своей спальне – кого же?

Да карлика!

Просто совсем отвратительный карлик: по росту – ребенок двенадцати лет; а по виду – протухший старик (хотя было ему, вероятней всего, лет за тридцать); но видно, что –

пакостник; эдакой гнуси не сыщешь; пожалуй – в фантазии. Но она видится лишь на полотнах угрюмого Брегеля.

Карлик был с вялым морщавым лицом, точно жеваный, желтый лимон, – без усов, с грязноватым, слабеньким пухом, со съеденной верхней губою, без носа, с заклеечкой коленкоровой, черной, на месте дыры носовой; острием треугольничка резала четко межглазье она; вовсе не было глаз: вместо них – желто-алое, гнойное, вовсе безвекое глазье, которым с циничной улыбкою карлик подмигивал.

Он вызывающе локти поставил на ручках разлапного кресла, в которое еле вскарабкался; и развалился, закинувши ногу на ногу; а пальцами маленьких ручек – пощелкивал; уши, большие, росли – как-то врозь; был острижен он бобриком; галстух, истертый и рваный, кроваво кричал; и кровавой казалась на кубовом фоне широкого кресла домашняя куртка, кирпичного цвета, вся в пятнах; нет – тьфу: точно там раздавили клопа.

Он вонял своим видом.

Мандро поднял бровь, уронивши на карлика взгляд, преисполненный явной гадливости; чистил свои розоватые ногти; и – бросил:

– Я вам говорю же...

Но карлик твердил, показавши на место, где не было носа.

– Нос.

– Что?

– А за нос?

Перекладывал ноги: и пальцем отщелкивал.

– Я повторяю: заплочено будет.

– Ну да – за услугу: а – нос?

И прибавил он жалобно:

– Носа-то – нет: не вернешь.

Фон Мандро даже весь передернулся.

– Вздор!

И отбросивши щеточку кости слоновой – взглянул гробовыми глазами в упор:

– Пятьдесят тысяч рубликов: сто тысяч марок!

– Немного.

– По чеку – в Берлине получите: нуте – идет?

Увидавши, что карлик намерен упорствовать, – бросил с искусственным смехом:

– Ведь дело не трудное... Только до лета. А там – за границу.

– Другому-то – больше заплатите...

– Десять же лет обеспеченной жизни; лечение, стол – на мой счет; и...

Но карлик показывал зубы: показывал зубы – всегда (ведь губы-то и не было):

– Вы не забудьте, что если поднимется шум...

Всем зажимом бровей показавши, что это – последнее слово, Мандро оборвал его.

– Ну, я согласен.

С кряхтеньем стащился на пол; подошел, переваливаясь

на кривых своих ножках, вплотную к Мандро: головой под микитки; поднял желто-алое глазье в густняк бакенбарды.

– По-прежнему: мальчики?

Но фон Мандро не ответил ему.

Потянулся рукой за граненым флаконом, в котором плескались жидкости для умащения бак.

Умастив, он в гостиную с карликом вышел, – в тужурке из мягкого плюша бобрового цвета и в плюшевых туфлях бобрового цвета, прислушиваясь к звукам гамм, долетавшим из зала, Лизаша играла.

С угрюмою скукой бросил он взгляд на предметы гостиной: они расставлялись так, что округлые линии их отстояли весьма друг от друга, показывая расстояние и умаляя фигуры – в фигурочки: вот, пересекши гостиную, стал у окна он; при помощи малого зеркальца трудолюбиво выщипывал выющуюся сединочку.

Кресла, кругля золоченые, львиные лапочки, так грациозно внимали кокетливым полуоборотом – друг другу, передавая друг другу фисташковым и мелкокрапчатым (крап – серо-розовый), гладким атласом сидений тоску, что на них не сидят; фон Мандро опустился на кресло, склонялся к спинке, узорившейся позолотою скрещенных крылышек, от которых гирляндочка золотая стекала на ручки.

Меж этим дуэтиком кресел золотенький столик фестонами ставил расписанный, плоский, щербленый овал – для альбомов, подносика, пепельницы халцедонной с прожилками,

малой фарфорки: на фоне экрана зеленого – с золотокрылою, золотоклювою птицею.

Сверху из лепленной, потолочной гирлянды, сбжавшейся кругом, спускался зеленый китайский фонарь.

– Уходите-ка...

– Да, – я иду, я иду.

– И прошу: не являйтесь; все то, что вам может понадобиться, мне будет вполне своевременно передано.

Очень странно: Мандро проводил неприличного гостя не залом, – столового и боковым коридором в переднюю, – как-то смущенно, едва ли не крадучись; он – озирался: и сам запер дверь; он стыдился прислуги; что скажут? Мандро, фон Мандро, глава «Дома Мандро», и – такой посетитель.

Вернулся в гостиную он.

Равнодушно прислушиваясь к перебегам Лизашиных гамм, Эдуард Эдуардович им подпевал бархатеющим баритоном: как будто запел фисгармониум; но из-за звука глядел гробовыми глазами бобрового цвета; и взгляд этот деланным был; он измерял глубины зеркал, пропадая туда и рассудком своим высекая из памяти: мраморы статуй.

Мандро был артист спекуляции.

Казалось порою, что он, как орел, на кругах, мог включить в свою сферу большой горизонт предприятий, обнявший Европу и даже Америку; мог бы сравняться с Рокфеллером; и среди русских дельцов заслужил бы почетное место; какая-то дума, отвлекши, его низводила к простым афери-

стам: вращался в темнейших кружках заграничных агентов.

В обстании быта ходил, как в халате: с ленивым зевком. Вот фасонная выкройка баки, где каждый волосик гофрирован был, поднялась над креслами и отразилась в зеркале; в зеркало не посмотрел и защурил курсивом ресницы, оправив заколотый галстучек; он создавал мебелировку для всех своих жестов: откинется – фоны зеленых обоев его вырежут четко; поднимется – и тонконосый, изысканный профиль его отразится в трюмо; подопрет свою голову кистью – под локоть подставятся плоскости малого шкафика, только и ждущие этого.

Меблировал свои жесты.

Включал свое имя в компании он, о которых ходила молва, что компании эти лишь вывески. Нет, – для чего были нужны такие дела фон Мандро, когда силою воли, культурою мог бы добиться успехов, не портя своей репутации?

Он ее портил.

При мысли такой грива иссиня-черных волос с двумя вычерченными серебристыми прядями, точно с рогами, лежащими справа и слева искусным прочесом над лбом, соболиные бакенбарды с атласно-вбеленным пятном подбородка (приятною ямочкой), – дрогнули; съехались брови – углами не вниз, а вверх, сдвигаясь над носом в мимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх; между ними слились три морщины, трезубцем, подъятым и режущим лоб; здесь немое страдание выступило.

Точно пением «Miserere»⁹ звучал этот лоб.

Говорили: его спекуляции, странная очень на бирже игра, за которую он получал от кого-то проценты, – вели к понижению русских бумаг на венской, на лондонской биржах; был случай, когда, как нарочно, едва не привел он к полнейшему краху одну из тех фирм, где он сам был директором.

Слухи!

В других же делах вызывал восхищение смелостью методов, странными рисками:

– Жаль!

Эдуард Эдуардович мог бы стать гордостью: мог бы стать русской промышленной силою...

– Но он – не наш, – говорили о нем, отходя от него.

Он не гнался.

Он был тот же сдержанный, ласковый, мило рассеянный, всем улыбавшийся блеснями белых зубов; но и всем угрожавший ожогом зеркального взгляда: манеры Мандро обличали приемы искусства, которым, казалось, владел в совершенстве; взглянув на него, все хотелось сказать:

– Станиславщина.

Происхождение рода Мандро было темно; одни говорили, что он – датчанин, кто-то долго доказывал – вздор: Эдуард Эдуардович – приемыш усыновленный; отец же его был типичнейший грек, одессит, – Малакаки; а сам фон Мандро утверждал, что он – русский, что прадед его проживал

⁹ Вокальное произведение на текст 50-го псалма в католическом богослужении.

в Единбурге, был связан с шотландским масонством, достиг высшей степени, умер – в почете; при этом показывал старый финифтевый перстень; божился, что перстень – масонский.

Фестонный камин в завитках рококо открывал свою черную пасть, заслоненную, точно намордником, тонкой ажурной решеткой; на нем же часы из фарфора не тикали; около них был положен рукою Мандро небольшой флажолет.

2

Звуки гамм прервались: раздались шаги проходивших по залу, томительно сопровождаясь пришлепкою, точно пощечиной, – звонкого эхо; и дверь отворилась; степенный лакей, став на пороге дверей, огласил:

– Соломон Самуилович...

И Эдуард Эдуардович бросил:

– Просите.

Он владил массивную запонку в белый манжет.

Из открывшейся двери он видел: с угла, где стоял перламутром белевший рояль, поднялась с табуретика небольшого росточку Лизаша, в коричневом платье, перевязанном фартучком; очень влажными глазами, стрелявшими сверком, вонзилась в отца; и старалась его улепять глазами; бежал быстрый шаг, утомительно сопровождаясь пришлепкою, точно пощечиной, звонкого эхо.

Лизаша Мандро, сделав книксен, стояла растерянно: ро-

тик открылся. И мимо нее Соломон Самуилович шел по холодному залу. Здесь, вместо обоев – облицовка стены бледно-палевым камнем, разблещенным в отблески; и между камнем жерельчатый и завитой барельеф из стены выступавших колонных надставок; – гирлянда увенчанных старцев, они опускали себе на затылки подъятыми дланями дуги витые витых архитравов.

Согнулись старцы, разлив рококо завитков; те двенадцать изогнутых, вlepленных станов, шесть – справа, шесть – влево подняли двенадцать голов; и вперялись дырами странно прищурых зрачков в посетителей.

Окна – с зеркальными стеклами: крылись подборами палевых штор с паутиною кружев, опущенных до полу.

И опускалась огромная, нервная люстра, дрожа хрусталем, как крылом коромысла, из странных, лепных потолочных фестонов, где шесть надувающих щеки амуров составили круг.

Соломон Самуилович, быстро заметив все это, прошел, очутился в гостиной; и снова заметил скос глаз, улетевших сейчас же в холодное зеркало, каждую волосиночку фабричной бакенбарды, орлиный, стервятничий нос.

Фон Мандро с сильным вздергом вниз стиснул руку его.
– Соломон Самуилович.

А сочно-алые губы казались, что смазаны чем-то.

– Ну, как с ипотекой?

Пошли они сыпаться фразой. Мандро, из губы своей сде-

лав вороночку, с мягко округлым движением руки свои пальцы (большой с указательным) соединил на губах с таким видом, как будто снимал он какую-то пленочку с губ.

– Ну, скажите...

Отставивши руку, он палец о палец размазывал будто (лишь в этом одном выражении он отступал от эстетики); странно: глаза умыкали морщиною бровной, в то время как клейкие красные губы приятно разъялися, и разговор перешел на парижские впечатления:

– Знаете что, – завертел Соломон Самуилович пальцем, – ведь с акциями на сибирское масло... пора бы...

– А что?

– Да барометр упал: к урагану.

– Не думаю...

– Знаю наверное.

И Соломон Самуилович быстро пустился доказывать мысль, что война – неизбежна.

– В Берлине имел разговор...

– С Ратенау?

– Ну да. И потом я показывал кое-кому из ученых механиков тот документик: ну знаете.

Клавиатура зубов фон Мандро проиграла:

– А, – да?

И он вкорчил свой дьявольский тонкий смешок:

– На одних нравах с Круппом.

И жест пригласительный вычертил длинной рукою (он

был долгорукий).

3

Лизаша уселась опять за рояль, белый и звонкий; бежали по клавишам пальчики, – переговаривать с сердцем; зашпорило сердце, забилося:

– Нет, нет!

Круглолицая, с узеньким носиком, с малым открытым рожочком, с грудашкою, встала, пошла – узкотакая, бледная; и – небольшого росточка; неясное впечатление от Лизаши: невинность; глаза – полуцветки: они – изумруды; они – и агаты; посмотришь в глаза, они – сверком исходят.

Меж тем, говорила ужасные вещи; и – делала тоже ужасные вещи.

Она говорила подругам и Мите:

– Я люблю уродцев.

Еще говорила:

– Уродец мой, – я вас люблю.

И при этом глядела невинными глазками.

– Я не одна: нас ведь – много.

Лизаша жевала очищенный мел.

И ночами сидела в постели, калачиком ножки; и – думала:

– Как хорошо, хорошо, хорошо!

Поднималась в двенадцать; в гимназию – носу не высунешь; стала она домоседкой, хотя вечерами бывала в кон-

цртах, в театрах, живела средь пуфов, кокетничая с гимназистиками, отороченными голубым бледным кантом (гимназия Креймана). Все говорили про то, как какая-то тут атмосфера была, что Лизаша была с атмосферой: странная барышня!

Днями сидела и слушала время: за годом ударит по темени молотом год; это – время, кузнец, заклепает года.

Руками раздвинула кружево шторы и пальчиком пробовала леденелости; холодно там, неудобно: булыжники лобиками выкругляются четче – с пролеткою тартакают; скроются: саночки будут под ними полозьями шаркать; уж день, одуванчик, который пушится из ночи, обдулся и сморщился: мерзленьким шариком; шарик подкидывать будут; и – нет.

А что – «нет»?

Нет, нет, нет: и – в гостиную.

Здесь расстоянились трио, дуэты, квартеты искусно составленных и переставленных кресел, с диванами или без них, вокруг столиков (или – без них), преизысканно стривших строй из бесстроицы мебели, не заполняющей холлод пространств сине-серого плюша – ковра, от которого всюду (меж кресел, диванов, экранов, зеркал) подымались: этажерочки, столбики, горки фарфоров, раскрашенных тонкою росписью серо-сиреневых, лилово-розовых колеров, позы фигурочек.

Кошка курнявкала ей.

И Лизаша прошлася в гостиную, чуть не спугнувши ма-

дам Вулеву, экономку, желавшую матерью стать для Лизаши (ведь мать умерла, и Лизаша ее еле помнила); если хотите, мадам Вулеву заменяла ей мать, но Лизаша ее не любила; мадам Вулеву – огорчалась и – плакала.

Годы носила два цвета: фишашковый, серый; ходила с подпухшей щекою (последствия флюса), – в сплошных хлопотах, в суматохах, в трагедиях: с кошкою, с горничной; птичьим носочком совалась во все обстоятельства жизни Лизаши Мандро, Мердицевича; очень дружила с мадам Эвихкайтен; и всем прославляла Штюрцваге какого-то (где-то однажды с ним встретилась); явно на всех натыкалась, от всех получая щелчки; говорила по-русски прекрасно; была она русская, муж, Вулеву, ее бросил.

– Лизок, наконец, догадалась, откуда все это.

– Ну?

– Я думаю, Федька поймал под Москвой, затащил и нечаянно выпустил.

«Все это» – что ж?

Пустьчок.

Дня четыре назад, разбирая квартиру, мадам Вулеву в гардеробной, за шкафом, нашла небольшую летучую мышку: верней – разложившийся трупик; порола горячку; и – крик поднимала о том, как случился подобный «п ас-саж» и откуда могла появиться летучая мышка.

– Давно замечала, давно замечала: попахивает?

– Да и я...

– И – попахивало!.. Ну так вот: это – Федька.

Лизаша в диванную.

В серой и блещущей тканями комнате – только диваны да столик; диваны уложены были подушками, очень цветисто увешаны хамелеонными и парчовыми павлиньими тканями; а с потолка опускалась лампада с сияющим камнем; на столике – халколиванные ящики и безделушки (ониксы); из клетки выкрикивал все попугайчик:

– Безбожники.

Странно: Лизаша была богомольна.

За завесью слышались голоса, и Лизаша просунула носик меж складок завесы.

– Да, да, фабрикат, – расклокочил на пальцах свою бакенбарду Мандро.

– А с фактурой – как? – завертел Соломон Самуилович пальцами.

– Книгу?

– Поднимут, – вертел Соломон Самуилович пальцем.

Забилась – в углу: меж подушками блещущего диванчика; укопала в подушках себя: здесь лежала ее ярко-красная тальмочка – с мехом; порою часами сидела на мыслях своих она здесь, распустив на диване опрятную юбочку, ножки калачиком сделав под нею: тишела с блажными глазами, с почти что открывшимся ротиком, пальцами перебирая передничек черный, другой своей ручкой, точеною, белую, матовой, с прожелтью, точно из кости слоновой, и вечно холод-

ной, как лед, зажимала она папироску (девчонкой была, а – курила).

И – ежилась.

Точно она вобрала столько холода в тело свое, что, в теплице оттаивая, излучало годами лишь холод ее миниатюрное тельце; сидела укутую, в бархатной тальмочке, с соболем, перебирая ониксовые финтифлюшки; глазами, большими, далекими – нет, не мигала: с открывшимся ротиком; точно тонула в глазах, – своих собственных: омут в глазах открывался, в котором тонула, еще не родившись.

Русалочка!

Эти русальные игры с собой и с другими ее довели до врача: доктор Дасс, даровитейший невропатолог, к ней ездил и всем говорил:

– Не дивитесь – расстройство чувствительных нервов у барышни: псевдогаллюцинации – да-с!

На него покосилась русалочным взглядом.

На все отзывалась она как-то издали; и проходила по жизни, – как издали; точно она проходила на очень далеком лугу, собирая лазурные цветики, перед собою в Москву протянув свои тени; из этих теней лишь одна называлась Лизашей Мандро.

– Я пойду покормить свои тени собой, – говорила не раз она Мите Коробкину.

Странная девушка!

.....

Странными были ее отношения с отцом.

Все сказали бы: бешеное поклоненье; звала его «богушкой»; и – добивалась взаимности: он же ее называл тоже странно: сестрицей Аленушкой; был с ней порой исключительно нежен, – совсем неожиданно нежен; казался хорошим и ласковым другом; порой даже спрашивал, как поступать ему в том или в другом; и – выслушивал критику:

– Вы – необузданны.

– Вы обусловлены вашей коммерцией.

– Вы обезумели, – только и слышалось.

Вдруг, – без всякого повода, делался он – ее лютым мучителем; и по неделям совсем не глядел на нее, покрывая ее точно льдом; и Лизаша бродила в паническом страхе, стараясь ему попадаться – нарочно: глядела умильно; а он становился – жесточе, капризнее: брови съезжались – углами не вниз, а наверх, сдвигаясь над носом в мимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх; точно пением «Miserere» звучал этот лоб.

Точно чем-то содеянным мучился; но и в мучении этом изыскивал он наслаждение: себе и Лизаше; Лизаше – особенно.

Так жизнь Лизаши текла между драмой и взлетом: уже третий день длилась драма...

.....

В окне – открывалась Петровка.

Везде заморозились лужицы – впрок! Смотришь – градус-

ник ниже нуля; смотришь – трубы подпудрены дымом (наверное, горями пахнет); и тащатся синие, сине-белые шкуры (не тучи) по небу; под ними – отмерзлая мостовая отбрасывает полуметаллический блеск; вот из серого, черно-серого сумрака скоро уже оборвутся охлопочки белые; и образуются всюду снегурочки в мерзлых канавках, на кустиках, около тумбочек; серые мерзости улицы станут в снегурочках.

Да, в эти дни роковые земля – в полуобмороке: связывается морозами; полуубитое сердце прощается с чем-то родным.

4

Соломон Самуилович Кавалевер.

Он был узколобый, с седую бородочкой; лысый; горбина огромного носа всегда заключала; вертел барышами, как пальцами, он и высказывал лишь доскональные мнения; он-то и был настоящим созвездием, перед которым поставили декоративную ширму «Мандро».

Кабинет раздавался обоями гладкого, синего, темно-синего, очень гнетущего тона, глубокого, – с прочерную; фон – углублялся: казалось, стены-то и нет; – кресла, очень огромные, прочные, выбитые сафьяном карминного цвета, горели из ночи.

И так же горел очень ярко сафьянный диван.

Пол, обитый все той же материей синего, темно-синего,

очень гнетущего тона – глубокого, с прочернью, даже внушал впечатление, что кресла естественно взвешены в ночи; перед диваном распластывался зубы скалящий белый медведь с золотистой желчью оглаженной морды; казался он зверем, распластанным в хмурь.

Кавалевер все это рассматривал; после рассматривать стал на столе филигранные канделябры; но тут появился Мандро, перетянутый черным, приятнейшим смокингом; смокинг его моложавил; он был в черных брюках, подтянутых кверху, со штрипкою, в черных, как зеркало ясных, ботинках и в темно-лиловых носках; появился из спальни – с бумажкою.

Белая клавиатура зубов проиграла:

– А вы посмотрите: факсимиле копии той, над которой в Берлине теперь математики трудятся.

И протянул он бумажку, измятую, всю испещренную бисером формул: тут Кавалевер увидел, что каждый волосик густеющей шевелюры Мандро был гофрирован тонко; бумажку сложил перед собою на столик, схватившись рукою за руку; и пальцами правой руки завертел вокруг левой:

– Так вот, лоскуток этот...

– Да...

И бобрового цвета глаза заиграли ожогами, очень холодными.

– Как к вам попал документ?

Эдуард Эдуардович сдвинул морщину: потом распустил

белый лоб (как шаром покати); как бы умор на миг выражением лица; и – продолжил, приятно воскреснув улыбкой:

– А я собираю старинные книги... И вот, совершенно случайно, в одном из мной купленных томиков с меткой «Коробкин» (я томик купил за старинные очень «ex libris») нашел я бумажку; историю документа вы знаете...

И Эдуард Эдуардович с видом довольным расслаивал пальцами бакенбарду

– Обычная – ну – тут трагедия... Дети, отцы...

– Стало быть, это сын отдается, – горбиною умозаключил Кавалевер.

– Не стоит рассказывать: сын – появился у нас.

– Ну, – вы знаете: если старик между книжек своей библиотеки прячет такие вещицы, а сын...

Но, увидевши жест фон Мандро, он поправился:

– Если тома исчезают, то могут еще документы такие пропасть. Ну, вы знаете: могут пропасть.

– Нет, за всякою книгою, вынесенной из дома, следят.

Очень мягким округлым движением руки свои пальцы (большой с указательным) соединил на губах с таким видом, как будто снимал он какую-то пленочку с губ.

И, отставивши руку, он палец о палец размазывал будто.

– Предвидено.

Тут же себя оборвал:

– Ну, – пора-пора: час, Соломон Самуилович. Вам?

– На Варварку.

– А мне – на Кузнецкий.

Схватив и затиснув портфель, сделал жест пригласительный длинной рукою (он был долгорукий); массивный фиניфтевый перстень рубином стрельнул.

И пронес, седорогий и статный, сквозь завесь портьеры свои бакенбарды за гнутой спиной Кавалевера, чуть не споткнувшегося о... Лизашу, которая отлетела к дивану; увидев отца, она стала живулькою розовой; ротик казался плутишкой; на личике вспыхнуло легонькое прозарение, точно сияние севера, вставшее мороком:

– Что ты тут делаешь?

Нежилась взором на нем: все лицо озвездилось, а он – не ответил: она подурнела; застегнутый позою всей, выражая зеркальность, прошел с Кавалевером; шаг по паркету, как зеркалу, все отражавшему, сопровождался пришлепкою, точно пощечиной, звонкого эхо.

Года увенчали седыми рогами.

.....

Подъездная дверь распахнулась; он вышел, одетый в меха голубого песка; седогривая лошадь фарфоровой масти копытами цокала; там, на углу, уже вспыхнуло яркое и белолопое пламя; он видел – на улице серость синей; в сине-сером проходе – блестящая, парная цепь янтарей-фонарей: в людогоны теней.

Уже росчерни дыма клубинились в ярко-багровой раскромине вечера; тщетно, – растмились: растлились – в ничто, в

одно, в черное.

Кучер, расставивши руки, разрезал поток – людяной, во-роной – рысаком, промелькнувши подушкой розовою; фон Мандро пролетел на Кузнецкий, в сплошной самоцвет, запахнувшись мехами песка голубого.

5

Читатель нас спросит: а что же профессор Коробкин, которого бросили мы, когда он, окровавленный, пал посреди Моховой.

Он – очнулся.

В университете была ему быстро оказана первая помощь; увы! – обнаружился слом (выше локтя) руки и ушиб головы, за который весьма опасались; с перебинтованными головою и левой рукою доставлен он был в свой коричневый домик: с почтительным педелем.

Очень бодрился дорогою:

– Так-с!

– В корне взять!

– Ничего-с!

А слезая с извозчика, выбревнил шуточку.

Дома все ахнули: Наденька – плакала; и – обнаружилось: не «ничего-с», а «чего-с»; боль в руке – обострилась; сверлило в виске; в ушах – ухало; жалобно, тихо постанывал, все-то хватаясь за руку; хирург, доктор Капский, залил ее гипс-

сом; велел уложить и пузырь гуттаперчевый ставить на голову (с льдом); опустились карие шторы; явилась сиделка из клиники; очень досадно: врачи запретили работать, читать, даже умствовать.

Целых четырнадцать дней он лежал.

И газеты трубили об этом; и «Русские Ведомос-ти» возмущались порядками; сыпались письма, приветы, сочувствия – профессоров, учреждений, кружков; Задопьятов прислал телеграмму:

«Нет, тьма не объяла!»

От группы студенческой текст стихотворный пришел; но он – вот:

Пал вчера, оглоблей сбитый.
Проходивший Моховой,
Математик знаменитый —
Посредине мостовой
С переломанной рукой.

Вырывается невольно
Из студенческих грудей:
«Протестуем! Недовольны!
Бьют известнейших людей!..»
Выздоровливай скорей.

Наконец, он поднялся; пузырь гуттаперчевый сняли; исчезла сиделка; с неделю еще замыкался – в задушлине: в жел-

том своем кабинете; здесь спал; и – досуг коротал; и – обедал; тогда обнаружилось – делать-то нечего: трудно читать; и нельзя вычислять: жилобой поднимался в виске: голова становилась чаном бродильным.

Отсиживал ногу.

Мотал головою в компрессе: салфетку ему подвязали под бороду, перевязав на затылке ушастыми кончиками; пустобродом слонялся в ветшаном халате, с прижатой, с подвязанной, вздернутой снизу наверх бородою, – с рукой, перевязанной: белой култышкой, висящей на вязи; казалось, что был безруким: свободной рукою ерошил все голову, дергая длинные уши салфетки; и жвакал губами; поглядывал носом двудырчатым; пальцы, дергунчики, выбарабанивали дурандинники и – пересиживал ногу (мурашки бежали).

Казался же зайцем.

Ночами не спал, а сидел, наблюдая, как день сменит ночь; а спиральное время его уводило из тьмы; сквозь гардины являлись светины; бывало: гардина из черной прометится карей; и книжные полки прометятся карими в сине-сереющем; крап на обоях, себя догоняющий человек, прометится: все человечки прометятся.

Вскакивал.

Старым таким двоерогом, в ветшаном халате, высовывался бочковато и грохотко он, – со зрачками вразбродь и с одной рукою вразбежку (другая повисла на белой салфеточке кутышем белым): измеривал он коридорик, гостиную,

там занимался счетом бесчисленных ягод, пятнивших обои; и жвакал губами над ягодами; и вылинялыми глазами томился; потом возвращался к себе, чтоб вковеркать крахмалы и вкомкать белье в свой комодик; иль вклинивать в томик от Ланга свою разрезалку:

«Ффр-ффр»... – перелистывал он; ногтем делал отчертки.

Клопишку поймал; очень много гонялся за молями; раз он заметил, что волос отрос, так что ярко-коричневый цвет от щеки отделился: каемкою белой; одною рукою подкрасил он волосы; и – неудачно.

Разгуливал с крашеной рожей, – какой-то собачьей.

6

За время болезни профессор, по правде сказать, надоел: Василисе Сергевне, Дарьюшке, даже себе самому: он ко всем приставал, всюду дрягал свободной рукою; то слышалось здесь задвигание и выдвигание ящиков, то раздавалось – оттуда: понятно, зачем он копался в столе у себя: не понятно, зачем он таскался в буфет и звонился посудною там, любопытно разглядывал все, что ни видел в квартире, все трогал, ощупывал, точно мальчишка.

– Вы шли бы к себе, – замечала ему Василиса Сергевна.

Кривилась губами: как будто она надышалася уксуснокислою солью.

А он, зверевато нацелясь очками, стоял и бранился: и шел

в кабинетик: замкнуться в задушлине.

Всем стало ясно: спокойствие жизни семейной держалось уходом его от семьи, чтением лекций и всяческим там заседанием; он дома, ведь, собственно вовсе не жил; когда жил, то скорее сидел в вычисленьях, опять-таки: вовсе отсутствовал; но вычислять было трудно теперь – с разmozженным виском: оказалось, что он есть помеха жене и прислуге, что во все не дома он в собственном доме:

– Ведь вот: черт дери!

Василиса Сергевна вполне поняла, что профессор отсутствием только присутствует в доме; присутствием он вызывал раздражение; и на лице ее кисло теперь разыгралась драма; утрами и днями она журавлихой слонялась в своем абрикосовом платье, которое висло; и плюшевой, палевой тальмою куталась. Платья на ней превращались в вислятину.

Груди ее были – тряпочки; ножки ее были – палочки; только животик казался бы дутым арбузиком, если б не узкий корсет; надоела журба ему; и надоела под пудрою старуховатость лица; на Ивана Иваныча зеленоватою скукою веяла; в крепкий лавандовый запах не верил; он знал, что от нежнобрусничного рта пахнет дурно; жевала лепешечки.

Слышалось днй-деньски:

– Ниже нуля стоит градусник... Антимолин я купила...

– Прекрасно, – едва отзывался профессор.

– Скажу а пропб: одолела меня гипохондрия; и – Задопятова: все оттого, что у нас – автократия, и оттого, что из кух-

ни несет щаным духом...

Профессор выривкивал:

– Не разводи, – знаешь ли!

Надя плаксала:

– Не говори, – знаешь ли!

.....

Митя так же таскался к Мандро; Василиса Сергевна ему выговаривала:

– Уж не думаешь ли лизоблюдничать там?

Улыбался: и все-таки – шел; раз профессор со скуки ему предложил уравнение: Митенька нес чепуху:

– Ты, брат, двоечник.

Митенька чмокал губами, стыдился, но шел: к фон Мандро.

.....

Только с Наденькой было легко; но ее, как и не было: курсы. А вечером часто ходила в театр: но когда появлялась она, голосенком везде подымала звоночки: веснела глазами; вертеницы строила: и перепелочкой бегала – в рябенькой кофте с узориком травчатым (птичка чирикала); вечером, кутаясь в мех перегрейки, бежала наверх, чтобы в синенькой триповой комнатке что-то читать: до трех ночи.

Однажды с собою она принесла синеглазый цветочек: Ивану Иванычу: он добрышом посмотрел:

– Ах, девчурка!

Он был цветолюбец: и – нос тыкал в цветики.

.....
Вшлепнулся в кресло над крытым столом.

Василиса Сергевна затеяла:

– Шубнику беличью Надину шубку – скажу я – продать: купить мех настоящий: теперь говорят, что и соболь не дорог.

Пропели часы под стеклянным сквозным полушарием на алебастровом столике.

– Шуба соболя кусается – в корне взять: полугодичное жалованье.

Отодвинул тарелку.

– Невкусен суп с клецками, – бросил салфетку он.

Встал и пошел, сотрясая буфет, чтоб замкнуться в задушлине: фыркаться в пыльниках.

Там, за окошком, валили снега.

7

И захаживал Киерко: синий курильник устраивать.

Он потопатывал в валенках, в старом своем полушубочке, в клобуковатой, барашковой шапке: кричал еще издали:

– Ну? Как живется? Как можется?

Дергал плечом, вертоглазил, наткнувшись на свару: профессору вклепывал, ловко руками хватаясь под груди:

– Э, полно, – да бросьте: какой вы журжа!

Вынимал чубучок свой черешневый:

– Лишь толокно вы бобовое – нуте – разводите: я ж говорю! Глазик скашивал в дым, а другой – закрывал; и зеленой бородкой дергал: показывал лысинку.

Раз он наткнулся: профессор стоял перед дверью: профессорша в старом своем абрикосовом платье с горжеткою белой стояла – за дверью (лишь виделся – стек блеклых щек).

– Погодите, – вскипался профессор руками враспашку.

Профессорша вякала:

– Не бороною ведется хозяйство.

– Не косами.

Но, выгибая губу, на него завоняла разомкнутым ртом:

– Головастик!

– Касатка!

Вмешался тут Киерко:

– Бросьте!

Профессор в ветшаном халате таким двоерогом тащился к себе: со зрачками вразбрось, со словами вразбродь и с рукою вразбежку; наткнулся на Митеньку:

– Ты чего кляпсишься?

Киерко, выйдя в столовую, сел и курил свою трубочку:

– Нуте – житейщина, нетина, быт.

Не ответила: плакала.

– Он аттестует себя... таким образом.

Киерко бросил доскоком зрачочек, додергал носок, докурил, вынул трубочку, ей постучал о край столика: быстро пошел: и наткнулся – на Митеньку.

– Парень же ты, – жеребчище.

Прибавил:

– Досамкался, брат, до делов: брылотряс брылотрясом.

И вдруг оборвал:

– Брехунцы-то оставь, – не поверю ни слову: и так на дворе там у нас разговоры о книгах пошли.

В кабинете профессор беспроко натрудил предметы: устраивал грохи на полке, под полками.

Киерко долго смотрел на него.

– Хоть бы пыль постирали: желтым-желто в комнате; шкапчика три прикупили бы, да запирали бы книги на ключ: это ж – нуте – опрятней: и все же – сохранней.

Профессор тащился рукой за платком.

В то же мгновенье сомненье его посетило: он вычихнул:

– У петуха черт дери – сколько ног? – он уставился в Киерко.

– Три говорят!

– Нет, позвольте-с, – профессор обиделся даже, – я знаю, что – две?

Почему же он спрашивал?

Вдруг он поморщился.

– Руку жует что-то мне.

И потрогал свободной рукою висящий свой кутыш.

Когда ушел Киерко, стал он копаться в своих вычислениях, выщипнул две-три бумажки из кипы, на ключ запер дверь, сел на корточки, угол ковра отогнул, вынул малый

паркетик (тот самый, который, он знал, – вынимается): и под паркетик запрятал бумажки: на этих бумажках крючки начертили суть жизни его; почему же не свез в стальной ящик он сути открытия? Не догадался, – не знал, может быть, что такая есть комната в банке, где ящик стальной покупали.

Он многого вовсе не знал: угол повара с ним путешествовал всюду.

.....

В те дни пережил настоящее горе.

С раздувшимся брюхом, с отшибленной лапою Томочку-песика раз принесли: раздавила пролетка; сложили, смочили свинцовой примочкою, перевязали огромными тряпками, он, перевязанный, молча дрожал, заносясь окровавленным взглядом: профессор весь вечер над ним просидел на карачках:

– Что, брат, – тебе трудно?

А ночью бродил по ковру: утром пес приказал долго жить: очень плакала Наденька.

Спорили:

– Надо к помойке нести!

– Что вы, что вы, – взварился профессор: взъерошился весь, – вырыть яму в саду!

Было сделано: Томку несли зарывать, а профессор Коробкин, оставшийся в доме, им рявкал в окошко:

– Не бил барабан перед смутным полком, когда мы... – споткнулся он, – пса хоронили...

И вечером всем он доказывал:

– Индусы, в корне взять, верят, что души животных опять воплощаются: в нас; да-с – по их представлениям, пес, говоря рационально, опять воплотится.

– Э, э – брехунцы, – посипел своей трубочкой Киерко.

Наденька верила:

– Может быть, песик вернется к нам: мальчиком.

Да, костогрыз приказал долго жить.

8

Вот и стала Москва-река.

Салом омутилась, полуспособная течь: пропустила ле-дишко: и – стала всей массой своей: ледостаем блистающим.

Зимами весело!

Крыты окошки домов Табачихинского переулка сплошной леденицею: массою валит хлопковый снег: обрастают прохожие им: лют-морозец, обтрескивает все заборинки, все подворотенки, крыши, подкидывая вертоснежину, шупая девушек, больно ущемливая большой палец ноги; и – дымочком подпудрены трубы; обкладывается снежайшими и морховатыми шапками синий щепастый заборик; сгребается с крыш; снег отхлопывает от угольного, пятиэтажного дома на весь Табачихинский переулок: под хлопищем – сходбище желтых и рыжих тулупов.

– Стужайло пришел: Холодай Холодаевич.

Виснут ветвями деревья вокруг серо-зеленого дома; затылки статуек фронтона в снегурках: подъездную ручку попробуешь, – липнет от холоду; там же, где тянется сниженный набок, поломанный старый забор, в слом забора глядят не трухлявые земли, как летом, – нет, нет: урожаи снегов обострились загривиной белою: а из ворот, где дымок прожелтился, стекает сплошной ледоскат, обливающий улицу скользью, едва пропорошенной сверху.

Там бегал дворняк: волкопес; и мешал двум поденным (их наняли снеси разбрасывать, скалывать лед).

– Пошла, гавка!

Один из поденных, – Романыч, веснушчатый, красноволосяй мужик, с непромытым лицом (на морщиночках – чёрнядь), – здесь жил на дворе: в трехэтажном, облупленном доме; лопатую снег разгребал; а другой, в куртке кожаной и с чекмарями, такой челюстистый, – рабочий заводский, с квадратным лицом и с напористым лбом, с твердым взглядом, – долбежил по льду малым ломиком: Клоповиченко.

К ним Киерко вышел в тулупчике (жил в трехэтажном облупленном доме); хлобучил шапчонку, бил валенком.

– Есть здесь лопатка? А нуте-ка, – с вами я.

Киерко цапко лопатой подкидывал снеги: кидала – кидалой.

Рвануло отчаянным ветром: сугробы пустились враскрут; густо, грубо сквозь вой под трубой кто-то охал, стихая сквозь белую вею подкинутых вихрями визгов; и струи кипучие там

над волной снеговой взвевались; и – веяли, и – выкидывались: из взвинченных визгов.

Так сиверко.

Клоповиченко рассказывал Киерко под обзеркаленным желобом, ломик отбросивши:

– Где им понять! Щегольки... А туда ж, – социальные взгляды подай; мы – тяжёлки: нам дай социальные взгляды, – не им, мы в сермяжных кафтанах, в огрехах, плетемся на явку: они появляются в полуботинках; да что – пустопопову бороду брей!

– Нуте, нуте-ка!

Киерко, бросив лопату, присел на приступке: черешневый свой чубучок пососать.

– Чередишь, чередишь на заводе: подкарауливаешь несознательных; видишь, – мозгами пошел копошиться, бедняга: черезлезаешь через мелкокрестьянские трусости – в классовую, брат, сознательность: тут-то ему – пустопопову бороду брей – в зубы Каутского книжицу; знаете что – я который годок на сознательном, да, положении. И – заподозрен... Опять-таки, – взять хоть работу: чермнеешь от жару у печи доменной...

– У вас там чадненько.

– Чадим, – отозвался Романыч.

Но дворник ему кинул громко:

– Цапцюк, – разворачивай снег!

И взялись за лопаты: а весело!

Цветоубийственные морозы настали; бежали в мехах переулком (меха косолапили) – мимо ворот, – шапки, шапочки, просто шапчурки: и клюквили, и лиловели носами: чуть-чуть пробирались в ясной, сплошной снеговине; вот здесь – тротуар замело (лишь осталась тропочка); там – отмело. протемнелая гладкость: на ней мальчуган меховой, хрипло шаркнув коньком по ледовне, в размерзости варежки бросил: и клюковкой пыхи пускал, пока клюковка вовсе не стала белянкою: уши-то, уши-то!

Уши – мороженки!

А недалеко от них стоял Грибиков, весь сивочалый такой, зацепляясь рукой за кутафью старуху; о службе церковной он с ней разговаривал:

– Да уж, пожди: как цветную триодь запоют!

И прислушивались к разговору.

– Да кто ж он, родимые?

Грибиков скупно цедил:

– Да цифирник, числец: цифири размножает.

– Так сын, говоришь, у него – телелюшит.

Прислушался Киерко хмуро: Романыч на Грибикова плевался:

– Курчонкин он сын.

– Пустопопову бороду...

Клоповиченко схватился за ломик: а Грибиков старой кутафье твердил о чаях:

– Чай, матушка, – всякие: черные, красные, сортом повы-

ше, те – желтые.

Клоповиченко им бросил:

– Какой разыхастый чаевич!

– А все же не вор, – так и вышипнул Грибиков, те же, которые воры, учнут, тех и бить, – неизвестно что высказал он. говорить не умел: не умел даже связывать; только – разглядывать.

Дворник прикрикнул:

– Ну, ты, – человечием будешь в сажень, а все – эханьки.

Клоповиченко схватился за лом:

– Промордованный час, промордованный день, промордованный быт наш рабочий; да что – пустопопову бороду брей!

Стальным ветром рвануло: леденица злая визжала; сугробы пустились враскрут; от загривины белой сугроба взвилась порошица.

Прошел мимо Грибиков: рыжий Романыч отплюнулся:

– Тьфу ты, – чемырза ты, кольчатая, разбезногая ты животи́на, которая пресмыкается, – вошь тебя ешь: старый глист!

Быстро Грибиков скрылся: и охал чердашник:

– Как выйде́т, – обнюхает все: черепиночку каждую он подбирает...

Прошел под воротами кто-то в медвежьей шубеночке: в снег провалиться рыжеющим ботиком; баба, цветуха малиновая, проходила; прошамкали саночки: цибики в розвальнях еле тащились – в угольную лавочку: и – морозяною га-

рю пахнуло; снега – не снега: морозарни!

Хрусти сколько хочешь!

9

Профессор и Киерко сели за шахматы.

– Ну те-ка?

– Черными?

Тут позвонили.

Явилася Дарьюшка, фыркая в руку:

– Пожалуйста, барин, – там видеть вас хочет: по делу, знать, – Грибиков...

Киерко даже лицом побелел:

– Вот те на!

За профессором вышел и он в коридорчик: профессор сопел: на коричневом коврике, около двери, увидел он Грибикова, зажимавшего желтенький томик и томик коричневый; видывал лет уже двадцать в окно его; только теперь его видел – вплотную.

Одет был в старьшишко; вблизи удивил старобабым лицом; вид имел он старьевщика; был куролапый какой-то, с черватым лицом, в очень ветхих, исплатанных штаниках; глазки табачного цвета, бог весть почему, – стервенели: носочек – черственек; роташка – полоска (съел губы); грудашка – черствинка; ну, словом: весь – черствель: осмотр всего этого явно доказывал: все – оказалось на месте: а то все казалось –

какой-то изъян существует: не то съеден нос (но – вот он), – не то – ухо (но – было!) иль – горло там медное (нет, – настоящее!).

Видно, в изгрызинах был он: да, – в старости души изгрызаны (но не у всех).

Он готовился что-то сказать престепенно; да вдруг – поперхнулся, заклекал, затрясся костлявым составом; и – точно напильником тоненьким выпилил с еле заметным, но злым клекотаньем:

– Ну, вот.

– Вы, взять в корне – гм-гм: чем могу услужить? – удивился профессор. И вот вислоухо просунулся Митя большой головою в переднюю – из коридора: был бледен; прыщи – кровятели; а челюсть – дрожала:

– Сейчас вот, – обславит; сейчас – досрамит.

Все ж последнюю дерзость хотел показать: прямо броситься в омут; и лгать: до потери сознания; бравандил глазами.

Просунулся стек блеклых щек: Василиса Сергевна стояла: и – слушала. Киерко же треугольничек глазками вычертил: Грибиков, Митя, профессор.

Профессор стоял в тусклой желтени крашеной рожей, собачьей какой-то: и жутил всем видом; увидевши книжки у Грибикова, он воскликнул:

– Мои – в корне взять, – из моей библиотеки... Как к вам попали?

– Извольте видеть, – затем и пришел-с, что имел рассуж-

дение... У букиниста, извольте видеть, их выкупил.

Тут Василиса Сергевна завякала издали:

– Мэ же ву ди, ке ла фам де шамбр¹⁰, Дарьюшка!..

– Да не мешайте, – профессор бежал на нее, потрясая коричневым томиком (желтый он выронил).

Грибиков тоже бежал за профессором – зорким зрачишком; а Киерко с выблиском глаз подбежал, ударяя рукой по Грибикову; он другою рукою повернул очень грубо его; и – толк: к двери:

– А нуте, оставьте-ка... Да, да, да: предоставьте-ка... Это я все объясню... А я ж знаю... Валите!

А в ухо вшепнул:

– Да помалкивайте, дружище, – о том, что вы знаете... Нуте!.. За книги с лихвою получите...

Грибиковский зрачишко лупился на Киерко.

Сам он усилился высказать что-то; и вдруг, – как закекает старым, застуженным кашлем, схватяся рукой за грудашку; она сотрясалась, пока он выпихивался; и рукой гребанул; вдруг пошел – прямо к двери (ну, – ноги: совсем дергоноги).

Захлопнулась дверь.

Он тащился чрез улицу: с видом степенным, и скопческим, думая:

– Что же случилось?

Совсем не умел, видно, связывать фактов: умел лишь глядеть.

¹⁰ Я вам говорю, что это прислуга (*фр.*).

Не дойдя до окошечек желтого домика, стал под воротами: но не прошел под воротами; по бородавке побил; поднес палец к глазам; посмотрел на него: и понюхал его; после этого он повернулся, решившись на что-то; и недоуменно глядел на профессорский дом.

.....

Между тем: в коридоре меж Киеркой и Василисой Сергевной происходили отчаянные препирательства; Киерке силилася Василиса Сергевна что-то свое передать:

– Это Дарьюшка книги таскает... Не знаете... Антецеденты бывали: таскала же сахар!

А Киерко неубедительно очень доказывал:

– Дарьюшка тут ни при чем...

И признаться, совсем не сумел он оформить свой домysel, был же ведь умник.

– Не знаете, нуте же: форточник ловко работает – что? А я ж знаю, что – форточник: форточник, – он!.. – за подтяжку схватился рукой.

– А пропó: почему не унес он других вещей, – ценных?

– А может быть, – нуте, – спугнули его; он же сцапнул два томика, да – был таков! – зачастил по подтяжкам он пальцами.

«Форточник» – Митя – стоял и сопел, умоляюще глядя на Киерко, бросившего на него укоризненный взор.

Он покрылся испариной: ужас что вынес.

Профессор ходил пустобродом от Киерко к Мите, от Ми-

ти до Киерко; видно, он чем-то томился; пожухнул глазами, пожухнул всей крашеной рожей – да горьковатое что-то осело в глазах.

Василисе Сергевне бросил он:

– Дарьюшка тут ни при чем!

И, прислушиваясь к рассуждению Киерко, бегал глазами – двояшил глазами, он знал, – не два томика: томиков сорок пропало; не мог с ними форточник в форточку выскочить.

– Осенью, – знаете, – Митя осмелился, – видел под форточкой...

Тут у профессора глаза сверкнули – ерзунчики: злые. Нацелясь на сына, он брызнул слюною:

– Не кляпси: молчать!

И, подставивши спину, пошел в кабинетик: надолго угаснуть.

Опять позвонили.

История!

Старуховато просунулся – Грибиков: вот ведь прилипа!

– А нуте?

Наткнувшись на Киерко, он растерялся: хотелось, как видно, ему, чтоб не Киерко дверь отворил; постоял, поглядел, помолчал; и – сказал неуверенно:

– Кошку впустите: курнявкает кошка у вас под крыльцом!..

Ничего не прибавил: ушел.

Отворили дверь настежь; и – не было кошки: струя моро-

зяная дула – отравленным бронхитом:

– Дверь затворите: квартира – ледовня!

.....

Профессор прошел в кабинет.

Проветшал: горьколобый, прогорбленный, вшлепнулся в желтое кресло – под Лейбницем, нам доказавшим, что все хорошо обстоит; два тома шваркнулись: прямо под Лейбница; дернулись, точно у зайца, огромные длинные уши над ключнем макушечным; тупо уставился в свой виторогий подсвечник, сверкая очками, скорбя под очками-глазами, как будто отмахиваясь от чего-то тяжелого; многие тысячи шли перед ним человечков, себя догоняя.

Согнулся из кресла в столбе желтой мглы (чрез которую пырסקали моли), играя протертую желтую кистью под рваную шторой, – с подвязанной, вздернутой снизу наверх бородою, с рукой перевязанной: белой култушкой, висящей на вязи; он вылинялыми глазами томился, вперяясь в ослабленных фавнов.

Пространство – разбито!

С жалеющей тихой улыбкою Киерко в двери вошел:

– Как живется?

– Так: руку жует что-то мне!

И, потрогав висящий свой кутыш, прошел в уголочек, под столбиком стал, на котором напыщенный Лейбниц своим париком доказал, что наш мир наилучший.

– Э, полноте, – стерпится.

Оба молчали: до сумерок.

.....

С этого времени с Митей профессор совсем перестал говорить.

Уже после, когда выходил он из дома, – на ключ запирали кабинетик; а ключ брал с собою; ночами он слышал, как Томочка, цапа, устраивал все цапцарапы в передней; и грыз свою кость; выходил в коридорчик со свечкою. Томочки – не было!

Тут заюжанило; все – разжиднело, стекло; сняли шубы: пролетки загрохотали; вновь – подморозило; вечером же серо-розовый и кулакастый булыжник – поглядывал в окна и твердо, и сиверко.

10

На кулакастый булыжник засеял снежишко.

И выюга пустилась вприсядку по улицам.

И раздались неосыпные свисты; рои снеговые неслись; и ноябрь, прогоняющий быстро пролетки, чтоб вывезти саночки, сеял обвейными хлопьями; хлопья крепчали, сливались; посыпался белый поток.

С переулочков, с улиц, – по улицам и переулочкам – брели: мимо контуров зданий, церквей, поворотов, забориков – по двое, по трое; шли – в одиночку; от ног вырывались тени: бледнели и ширились, в высь убегая, ломаясь на стенах: ги-

гантами; разгромыхались пролетки; визжали трамваи; круги от фонарного света заширились зелено; вдруг открывалась звездочка, чтоб, разорвавшись, стать солнцем, проухнуть из света тяжелым и черным авто; снова сжаться – до точки.

Слететь в темноту.

Уже издали двигались, перегоняя друг друга, – с Петровки, с Мясницкой, с Арбата, с Пречистенки, Сретенки, – к месту, где все разливалось огнями, где мгла лиловая – таяла в свет, где отчетливая таратора пролетов взрезалась бензинными урчами.

Ясный Кузнецкий!

Стекалась волна котелков, шляпок, шапок, мехов, манто, кофточек: прямо к углу, где блестело «Аванцо»; роились, толкались и медленно останавливались, ухватившись за шляпы; и глядели на стрелку часов, поджимая портфели, отпихиваясь, перепихиваясь и давая друг другу дорогу; тот выскочит бледным пятном лицевым; эта вынырнет взором; карминные губы прояснятся, вспыхнет серьга; в котелочках восточные люди тут ночью и днем переталкиваются, все высматривая беспроко: кого-то и что-то; тут кучи раздавленных тел прилипают к витринам: ограбленье людей; от двенадцати дня до шести!

Здесь квадратные, черные автомобили, зажатые током пролетов, стеснивши разлив, разрываются громко бензинными фырчами; не продвигаясь, стоят, разверзая огромные очи на белую палочку городского, давая дорогу – все тем

же: кокоткам, купцам, спекулянтам, гулякам, порядочным дамам, актрисам, студентам.

Не улица – ясный алмазник!

А угол – букет из цветов.

Здесь просінилось – ртутными светами; там – взрозовело, подпыхнуло – ярче, все жарче; фонарные светы отсюда казались зелеными, тусклыми; окна вторых этажей, – посмотрите: тусклятина, желтый утух. Выше, выше, откуда слетал среброперый снежок, в темнокровную хмурь уходя, ослабели карнизов едва постижимые вычертни.

Ниже, – под кремово-желтым бордюром из морд виторогих овнов – свет; за окнами – май: из фиалок, лазоревых цветиков, листьев и роз; это – Ницца; сюда забегают все франтики – быстро продернуть петлицу: гвоздикой, ромашкою; выбежать, перебежать мостовую, ныряя меж кубами черных карет, раскатаев, ландо – к перекрестку.

А рядом – витрина, где тонкая ткань: паутина из кружев.

Прошли две с картонками; лизано-розовый там лицейстик протиснулся (видно, страдал он зазнобом): такой тонконогий! Какая-то там поглядела; потом – повернулась; уж кто-то – стоял: пошли вместе; сквозь завеси кружев прояснилось личико, все из кольдкрема; два глаза, совсем неземных, поднялись на гусара, едва волочащего саблю, – в рейтузах: небесного цвета: известная дамочка: Зобикова миллионерша – в ротонде; коль скинет, – останется в кружеве: с вырезом; а от нее на аршин – запах тонкий; гусар же...

И облачко вьюги на них набежало: и – пырнуло все порошицей.

Рванул холодильник, чтоб все ожелезить; бамбанили крыши; заермолаила вьюга в трубе; забросало в ресницы визжащими стаями мошек; за окнами – все самоцветно: свет ртутный, свет синий, свет белый!

Свет розовый!

Там из ничто ослепительно вспыхнула точка; другая и третья; лилося дорожкой, слагаясь в буквы: «Коньяк» – ярко-красный; и «Шустовы» – белое; порох: снова тьма; и – опять: без конца, без начала!

Реклама играла.

Там пять этажей бледно-розовых приторно, тошно слепились орнаментом, точно сладчайшими кремами торта; а верх убежал в темноту ниспадающей ночи лиловой (нет, – черно-лиловой); внизу – просияло; за этим окном – блеск граненых флаконов; за тем – углублялись пространства: гардины, драпри, брокатели; оливковый штоф, парчовые полоски обой, этажерки, статуйки и мебели разных набивок, – как будто таимые комнаты космоса бросились в улицу: с ясным приказчиком в четком пролизе пробора, который, пурпурясь устами, чуть-чуть протянувшись, с волнистой бородкой стоял неподвижно перед дамочкой, вытянув ей брокатели; их щупала дама, склонясь завитою головкой, сквозною вуалью: блондиночка!

Автомобили неслись.

И казались чудовищными головами рычащих и светом оскаленных мопсов; летели оттуда, где розблески светов, где издали взвизгивали трамваи, поплескивая то лазоревым, то фиолетовым.

Белый Кузнецкий!

11

И нет!

Эдуард Эдуардович в ней разыгрался источником всех совершенств: и, конечно, Лизаша бродила душою по мигам его переполненной жизни; следила за мигами жизни отца, строя в мигах тропу для себя; но тропа – обрывалась: стояла над бездной.

Вперялася в бездну.

Пусть был коммерсантом; ей грезился Сольнес, строитель прекраснейшей жизни (Лизаша в те дни увлекалась Ибсеном); может быть, виделся Боркман; а может быть, даже...; но тут – разверзалась невнятица; делалось ясно, что что-то – не так: не по Ибсену.

Даже – не Боркман!

Как сыщица, в мыслях гонялась за жестами жизни его; и потом утопала в русалочьем мире, бродя по мандровской квартире с зеленым, бессонным лицом, в перекуре сжигаемых папиросок.

Она разучила все жесты отца: этот жест относился – к это-

му; тот же – к тому; знала, – приход Кавалевера значил: дела с заграничными фирмами; а телефонный звонок Мердичевича – дело с Сибирью; поездки к мадам Эвихкайтен всегда означали: мадам Миндалянская там; к Миндалянкой она ревновала.

Но все было ясно: зачем, почему, кто, куда.

И совсем не казалось ей внятнм, зачем, например, появлялся противный смеющийся карлик – без носа, с протухшим лицом, и зачем появлялся с неделю назад неприятный скопец, по фамилии Грибиков.

– Богушка, кто это?

– Вы любопытны, сестрица.

И более он ничего не прибавил.

А эта бумажка?

Лизаша стояла одна в кабинете отца и синила своей папироскою комнату, пальцем разглаживая бумажку, которую подобрала на ковре: в кабинете; бумажка была очень старая, желтая; почерк чужой, мелкий, бисерный, вычертил здесь знаки «э ф» и какие-то икисики; перечеркнул их, перепере...; словом, – понять невозможно; но – знала, что то – математика; нет, – для чего математика? Знала она – для чего Кавалевеp; и знала она – для чего Мердичевич; и даже мадам Миндалянская: ясно, понятно! А тут пониманье ее натыкалось на камень подводный; «тропа» обрывалась; и – бездна глядела.

Не знала, – какая.

И так же не знала она, почему ее «богушка» раз обозвал «Лизаветою Эдуардовною», не «сестри-цей Аленушкой»: вспомнив, обиделась: и засверкала глазами (как радий, тот сверк разъедает не душу, а самый телесный состав).

Бумажонку в холодненьких пальчиках стиснула; и, папирску просунувши в ротик, – дымком затянулась.

За окнами ветер насвистывал: в окна – несло.

Тут искательный ласковый голос мадам Вулеву очень громко раздался из зала:

– Лизаша, – ау?

И, отбросивши руку от ротика вверх, вознесла огонек папирсочки:

– А?

– Что вы делаете? – раздалось из зала.

Скосила глаза на портьеру, подумав:

– А ей что за дело!

– Там Митя Коробкин пришел.

– А? Сейчас!

И бумажку засунула в черный кармашек передника, перебежала диванную, зелень гостиной; и в палевом зале увидела Митю.

Он был в веденяпинской форме, – верней, что без формы: в простой, черной куртке и в черных штанах (выпускных), выдаваясь на ясных паркетиках рыжим, нечистым пятном голенища: смотрел на Лизашу; и мялся с мокреющим лбом, расколупанным: в прыщиках.

– Я не мешаю, Лизаша?

Он ей улыбался мясистой десною; и – выставил челюсть.

– Да нет, не мешаете.

– Может быть, – все-таки?

– Ах, да уж верьте: не стойте такой растеряхой.

Лизаша пустила кудрявый дымок, облетающий в воздухе:

– Здесь неуютно: идемте в диванную.

Ротик, плутишко, задергался смехом.

Беседы с Лизашей его волновали глубоко: Лизаша была непрочитанной фабулой.

Уже Лизаша синила диванную дымом своей папироски, укапывая миньятюрное тельце в мягчайших подушечках; вздернувши умницы бровки, ждала, что ей скажут; он силился высказать то, что не выскажешь; вот: положили заклепку на рот.

Что-то чмокало, щелкало; что-то привсхлипнуло: точно наполнили рот его слюни.

– Хотели вы высказать: все; так вы сами сказали; не раз уже слышала я обещания эти; вы кормите ими давно.

– Не умею рассказывать, – знаете.

– А вы попробуйте.

– Нет, я боюсь, что придется выдумывать за неимением слова; вы знаете: вертится на языке; и выходит не то; очень много приходится лгать – оттого, что я слов не имею правдивых.

Просунулась очень припухшей щекою мадам Вулеву:

– Экскюзе¹¹, я не знала. Вы здесь – не одна?..

И Лизаша поморщилась: гневно сверкнула глазенками.

– Вы же, мадам Вулеву, сами знали, что – Митя...

– Чай будете пить?

– Нет, не буду: вы, может? – она повернулась к Мите.

– Спасибо, не буду.

– Не надо, мадам Вулеву.

– Экскюзе, – за портьерой сказала мадам Вулеву очень сладеньким голосом: и – удалялась бряцаньем ключей по гостиной; ключи замолкали; Лизаша, чего-то подождавши, легко соскочила с дивана: головку просунула; перебегала глазами по креслам гостиной.

Все пусто.

– Когда она крадется – так не услышишь ключей, а уходит – нарочно ключами звенит, чтобы там, отзвонивши, подкрасться: подслушивать...

– Что вы хотели сказать?

Но на Митины губы уже наложили заклепку.

12

– Гей, гей!

Толстозадый, надувшийся кучер, мелькнувши подушечкой розовой, резал поток людяной белогривым, фарфоровым рысаком, приподняв и расставивши руки; пред желтым

¹¹ Простите (*фр.*).

бордюром из морд виторогих овнов очень ловким движением вожжей осадил рысака.

Эдуард Эдуардович, кутаясь в мех голубого песка, соскочил и исчез в освещенном подъезде, у бронзовой монументальной дощечки: «Контора Мандро и К^о».

Быстро осилил он двадцать четыре ступени; и, дверь приоткрыв, очутился в сияющем помещеньи банкирской конторы; он видел, как гнулися в свете зелененьких лампочек бледные, бритые, лысые люди за столиками, отделенными желтым дубовым прилавком от общего помещенья, подписывали бумаги; и – их протыкали, под кассою с надписью «чеки» стояла пристойная публика.

Быстро пронес бакенбарды в роскошный, пустой кабинет, открывающий вид на Кузнецкий.

.....

Прочесанный не пожилой господин, нагибался низко к Мандро, развернул свою папку бумаг; их рассматривал быстрым движеньем руки, нацепивши пенсне.

– Что? Есть еще кто-нибудь?

– Да, – по личному делу.

– Просите.

Раскрылися двери; и Грибиков появился, прожелклый и хилый, осунувшись носом и правым плечом.

Он почтительно встал у дверей, его глазики жмурились в свете; ему Эдуард Эдуардович сделал рукой пригласительный жест, показавши на кресло.

– Садитесь.

И Грибиков к креслу прошел дергоногом; топтался у кресла и сразу не сел, а свалился в сиденье: как будто подрезали жилки ему.

– Ну, что скажете?

Грибиков тронул свою бородавку скоряченным пальцем: на палец смотрел.

– Я позволю заметить, что есть затрудненьице-с, – палец понюхал он, – так что согласия нет никакого.

– А больше нет комнат?

Зрачишко полез на Мандро.

– Да, живут у нас густо.

Зрачишко влупился: под веко.

Мандро с недовольством прошелся к окошку: вертел форсированною бакенбардою; руку засунул в карман перетянутых брюк; лбом прижался к окну, посвистал, отдаваясь блестящему законному зрелищу: метаморфозам из светов.

Там шел кривоногий сумец и за ним – вуалеточка черная, с мушками, с высверком глаз из-за мушек; и ветер рванул ее шелком.

Мандро – повернулся.

Он видел, что Грибиков, в той же все позе, сидит, оскотивши лицо в равнодушие: жмуриком.

– Черт с ним: не надо.

Прожескнул глазами и вновь отвернулся; в окошке же – барышня в кофточке меха куницы.

Тут Грибиков глазиком тыкался в спину.

– Вот... ежели, я... это – дело другое.

Мандро повернулся:

– Что?

– Ежели... Так уж и быть.

– Говорите раздельнее.

– Ежели б он переехал ко мне, – говорю: человек-то ваш.

– Это – можно?

– Я думаю – можно: он, ваш человечек, – без носа, большой; и притом говорит – иностранец, не нашинский; ну, одному-то – куды ему; все же – уход; и такое все; правда, живу я в квартире о двух комнатухах; для вас же – извольте: пускай переедет... Что ж, бог с ним: в цене мы сойдемся.

И глазик свой спрятал.

13

У Митеньки мысль не влезала в слова; а душевные выражения – в органы тела; когда говорил он печальные вещи, казался Лизаше некстати смеющимся; глупым таким фалалеем, с руками – висляями; очень лицо искажала гримаса, которую медики называют – ведь вот выражение – «Гиппократовой маской».

Лизаша досадовала:

– Полчаса мы сидим, а ни с места.

– Не выскажешь – знаете.

– Все же, – попробуйте.

– Ну, я попробую; только, Лизаша, – уж вы не пеняйте.

Во рту что-то – щелкало, чмокало, чавкало; и – подступало под горло: хотелось плакать.

– Вы знаете: дома – семейная обстановка такая, что лучше бежать; отец – добрый, вы знаете; только людей он не видит; живет в математике; думает он, что за сорок годов все осталось по-прежнему; с ним говорить невозможно; ты хочешь ему это, знаете, высказать, что у тебя на душе, он – не слушает: просто какой-то – вы знаете – он формалист.

– Ну, а мама?

– А мама – все книжки читает; историю Соловьева прочтет: и – сначала: ей – дела нет; мама – чужая.

Лизаша сидела пред ним узкоплечей укутою в красненькой, бархатной тальме, обделанной соболем; и рассыпала из вазочки горстку матовых камушков: малых ониксов.

– Для них вы чужой?

– Совершенно чужой; говорить разучился: все дома молчу; знаю, если скажу им, что думаю, то – все равно не поверят: приходится, знаете, лгать.

– Бедный, – так-то: обманщиком ходите.

Нервно подбросила в воздух с ладони одну финтифлюшечку; и под распушенной юбочкой ножки сложила калачиком.

– Так и приходится.

Митя дерябил диван заусенцами пальцев:

– Отец-то – вы знаете: толком не спросит меня; запугал: проверяет меня, – проверяет, – как, что: «Тебя спрашивали?» Или – «Что получил?»... Человеческого не услышишь словечка, – вы знаете.

– Вы же?

И сыпала в ткани ониксы.

– А говорю – получаю пятки... Я...

– Вы, стало быть, врите и тут, – перебила Лизаша, подбросив одну финтифлюшку.

– А как же: попробуй сказать ему правду, – поднимутся крики; и, знаете, – бог знает что.

– Не завидую вам.

– А то как же? Товарищи, знаете, образованием там занимаются; этот прочел себе Бокля, а тот – Чернышевского... Мне заикнуться нельзя, чтобы книжки иметь: все сиди да долби; а чтоб книжку полезную, нужную...

– Бедный мой!

Кончик коленки просунулся из-под коротенькой юбочки.

– Нет никаких развлечений: в театры не ходят у нас; ну я все-таки, знаете, много читаю: хожу на Сенную, в читальню Островского – знаете. Не посещаю гимназии: после приходится лгать, что в гимназии был.

Митя пристальным глазом вперился в коленку: она – беспокоила.

– Что же, Митюшенька, – вы без вины виноватый.

Оправила юбочку.

– Ибсена драму прочел, – ту, которую вы говорили.

– «Строителя Сольнеса»?

– Ах, вы, милый уродчик, – звучал ее гусельчатый голосочек, – запущенный; у, посмотрите: вся курточка – в перьях.

Лизаша нагнулась: он – слышал дыхание.

– Дайте-ка, – я вас оправлю: вот – так.

И – откинулась; и, поднося папироску к губам, затянулась, закрыв с наслаждением глазки.

– Я верно поэтому вас приютила: такой вы бездомный.

Сидела с открывшимся ротиком:

– Вы и приходите – точно собачка: привыкли.

Откинула прядку волос; и – добавила:

– Нет, у русалки моей вы бываете, – не у меня.

Прикоснулась ручка (была холодна, как ледок).

– Мы с русалкой моей говорили про вас.

Померцала глазами – на Митю.

Казалось, что там соблеснулись звезды – в Плеяды; Плеяды – вы помните? Летом поднимаются в небо; и поздно: пора уже спать.

Поднялась атмосфера мандровской квартиры; ведь вот – говорили же:

– Дом с атмосферой.

В гостиной опять зазвонили ключами; ключи приближались: звонили у самой портьеры: казалось, – просунется очень подпухшей щекою мадам Вулеву; но ключи удалялись; ключи удалились.

– Несносно.

Лизаша головку просунула в складки:

– Ушла.

Атмосфера потухла: ничто не сияло.

И слушали молча, как там ветерок разбежался по крыше.

Лизаша тонула в глазах, – своих собственных; в пепельницу пепелушка упала: глазок прояснел.

– Ну, и – дальше?

Зачмокало.

– Переэкзаменовка, опять-таки, – в августе этом была: ну, – я скрыл.

– Ай-ай-ай!

– Вы, Лизаша, простите, что – так говорю; мне, вы знаете, хочется высказать вам, наконец, – искал слов, – то и се, а с отцом говорить: сами видите; мать же – бог с нею... Надежда, сестра, – и зафыркал: – Надежда...

Потупился: странно, что Надю, сестру, он считал недалекою; дураковато стоял перед нею; такой дурноглазый; и – силится высказать, нет: рот дрожал, губы шлепали: чмокало, чавкало.

Тщетно!

14

Карета подъехала.

С козел мехастый лакей соскочил, поправляя одною ру-

кою цилиндрик; другой – открыл дверце.

И тотчас слетела почти к нему в руки, развивши по ветру манто, завитая блондинка (сквозная вуалечка); губки – роскошество; грудь – совершенство; рукой придержав в ветер рвущуюся, легкосвистную юбку, проходим она показала чулочки фейль-морт, бледно-розовый край нижней юбки, вспененный каскадами кружев.

И скрылась, в подъезде под желтым бордюром баранов, у бронзовой, монументальной доски, где ясно:

«Контора Мандро».

.....

Доложили:

– Мадам Миндалянская: просит принять.

Эдуард Эдуардович стал выпроваживать; Грибиков же, зажавши картузик, пошел дергоногом, столкнувшись у двери – с мадам Миндалянской. Вошла.

Самокрылою прядью с нее отвевалось манто; складки шелка дробились о тело; огромная шляпа подносом свевала огромные перья; прическа – куртиночка; вся – толстотушка; наполнилась комната опопонаксами.

– Эва Ивановна; вы?

Профиль – просто божественность; грудь – совершенство.

.....

В проходах пассажа, – под тою же вывеской «Сидорова Сосипатра» блистала толпа: золотыми зубами, пенсне и моноклями.

Кто-то устался в окна, съедая глазами лиловое счастье муслинов, сюра, вееров; здесь же рядом – сияющий выливень камушков: ясный рубин, желтоливный берилл, альмандин цвета рома и сеть изумрудиков; словом – рулада разграненных блесков; и липла толпа, наблюдая, как красеню вспыхнет, как выблеснет зеленю: вздрогнет; и – дышит.

Прелестно!

Брюнеточка, прелесть какая, косится на блески; а черный цилиндр, увенчавшись моноклем и усом, в кофейного цвета мехах нараспашку, косится на блеск ее глазок; из двери – прошли: горбоносый двубакий, в пенсне и в кашне с перевязанным, малым футляром (своей балерине); и – дама седая, сухая, пикантная: шляпочка – током; и – лаковый сак.

Литераторы, графы, купцы, спекулянты, безбрадые, брадые, усые, сивые, сизые, дамы в ротондах и в кофточках – справа налево и слева направо.

Шли – по двое, по трое: громко плескались подолами, переливались серьгами, хватались за шляпы, вращали тростями, сжимали портфели, сжимали пакетики, перебирали перчатками – сумочки, хвостики, меха, боа; расступались, давая дорогу друг другу; роились у входа; и шли – на Варварку, к Столешникову, к Спиридоновке, к Малой Никитской.

И за ними за всеми – кареты, пролетки, ландо.

Дама, спрятав в огромную муфту лицо, пробежала из светом разъятого места – к квадратному головаку авто, приподняв свою юбку, плеснувшую шелком дессу, а за ней пробе-

жал господин, прижимаясь перчаткою к уху; шофер, обвисающий шкурой, вертел колесо; головак, завонявши бензином, вскричал.

Толстозадый, надувшийся кучер, мелькнувши подушкой розовой, резал поток вороной белогривым своим рысаком, пролетая туда, где кончался Кузнецкий и где забледили ослабшие светочи: в зеленоватое потуханье.

15

– Вы, Митенька, лжете сознательно; я вот – не лгу: да и лгать-то – кому? Перед «богушкой» лгать?

Привскочила: мерцала глазами.

– Перед «богушкой» лгать не могу!

И на легких подушечках тепленьким тельцем ее рисовался отчетливый контур:

– И все-таки все во мне лжется.

Плеяды подымутся в небе: пора уже спать; и от звезд отрываешься, чтобы тонуть в утомительных снах; так теперь отходила в свой собственный сон, нерассказанный, мутный, тяжелый:

– Все лжется во мне – оттого, что русалочку я утопила: оттуда – сюда.

И с глазами, вполне удивленными (просто девчурочка!), всунула в рот папироску:

– Вы этого не поймете, мой миленький!

Вытянув шею, стрельнула дымочком. И вновь повторила:
– Оттуда – сюда.

Бросив ручку от ротика вверх, стала быстро вертеть папироской, любуясь спиралькой огня:

– Ах, почему знаю я, – проиграла она изузором отчетливым широкобрового лобика.

И поднесла папироску; закрыв с наслаждением глазки, пустила кудрявый дымочек.

– Не понял: что значит оттуда?

Дымок, облетающий, – стлался волокнами;

– Тело на мне как-то лжется, – и нервными дергами губок и плечика сопровождала словечки свои.

Еще долго Лизаша сплетала бросочки коротких словечек своих; и казалось, что тонкое кружево всюду повисло невиднo. Казалась ткачихой; сложивши калачиком ножки, опять невзначай показала коленку; опять протянула два пальчика: в пепельницу.

Пепелушка слетела.

– Да бросимте, что говорить: с дурачишкой; не скажешь ведь – нет?

Ощутил на руке ноготочек ее:

– Оцарапаю вас.

И – придвинулся; но отодвинулась; и – заиграла русальной косою.

– Сидите спокойно, вот так.

Вдруг повисла головкою:

– Время, сплошной людоед, – поедом ест людей: неудобно!

– Откуда про это вы?

Глянула заревом глаз:

– Это мне рассказала русалочка.

Митя увидел: упала измятая очень бумажка на пол (из кармана Лизаши); смотрел машинально; знакомые знаки увидел: знакомого почерка: вот – интегральчик; вот – модуль... Откуда!

И он потянулся рукой за бумажкой.

– Вы что?

– Да бумажка.

Увидела, выхватила:

– Мне отдайте: мое.

– Погодите: тут почерк отца.

Перехватывал; но – оцарапала.

– Ай!

– Вы не суйтесь.

– Нет, как появилась бумажка?

Лизаша слукавила:

– Сами оставили вы – в прошлый раз: из кармана упала...

Ах, увалень!

Странно – опять ведь невнятица: как оказалась бумажка у «богушки»? Быстро инстинкт подсказал, что ей надо солгать; будто Митя оставил: дивилась. Зачем это делала? Вот и она солгала – неожиданно: не для себя, а для... Разве для «богушки» ей надо лгать? Разве «богушка» лжет? И – стояла

над бездной.

Вперялася в бездну.

Тогда за портьерой раздался отчетливый громкий расчмок.

Митя понял, что кто-то там есть; посмотрел на Лизашу, которая, встав, померцала на Митю: сквозь Митю; тогда обернулся и вздрогнул, увидевши станистый контур Мандро: будто с сумраком вкрался своим протонченным лицом, – протонченным до ужаса.

Быстро вошел, седорогий, бровастый и станистый, чуть поводя богатырским плечом, оттянувши перчатку, губу закусивши, имея от этого солоноватое выраженье, которое он постарался степлить.

Бросил взгляд на Лизашу, на Митю: сказал долгозубою челюстью:

– Здравствуйте.

Мите казалось, что брови нарочно он углил: открыл электричество: ясно сияющий камень лампы, спустившейся сверху, поблескивал.

– Вы в темноте – с Лизаветою Эдуардовной; кажется, – вы предаетесь мечтаньям? – запел фисгармониум.

Но из-за звука глядел гробовыми глазами, умеющими умертвить разговор.

– Я русалочкой вашею, нет, – недоволен, сестрица Аленушка, – быстро рукою чеснул бакенбарду; насвистывал что-то.

И – сел.

И сидение это мучительно виделось им обсидением каким-то: здесь кто-то кого-то обсиживал: Митя ль Лизашу? Лизаша ли Митю? А может быть, сам фон Мандро их обоих; припомнились толки, что будто бы он позволяет себе слишком много с одной гимназисточкой: и – называли подругу Лизаши.

Еще говорили, что был он когда-то причастен к содомским грехам.

16

– Кушать подано!

Тут фон Мандро приподнялся, несладко взглянул.

– Кушать, кушать идемте.

И фиксатуарные бакенбарды прошлись между ними – почти что сквозь них.

Проходили в столовую, где прожелтели дубовые стены: с накладкой фасета: везде – желобки, поперечно-продольные; великолепный буфет; стол, покрытый снеговой скатертью, ясно блистал хрусталем и стеклом; у прибора, у каждого – по три фужера: зеленый, золотистый и розовый; ваза: и в ней – краснобокие фрукты; и – вина; и – сбоку, на маленьком столике яснился: отблесками холодильник серебряный.

– Суп с фрикадельками, – смачно сказал фон Мандро.

Он засунул салфетку за ворот: умял; и взглянул на Лиза-

шу – с заботливой и с неожиданной лаской:

– Не хочется кушать?

– Ах, нет.

– Вы б, Алenuшка, хлорал-гидрату приняли.

Лакею дал знак: и лакей, обвернувши салфеткой бутылку, ее опустил: в холодильник.

– Да, да, молодой человек: фрикаделька... Что я говорю... Познается по вкусу, – и пальцами снял он помаду губную, – а святость – по искусу.

Пальцы помазались.

И завлажнил он глазами – такой долгозубый, такой долго-рукий, к Лизаше приблизился клейкой губой.

Перекинулся станом к мадам Вулеву:

– Как с летучею мышкой, мадам Вулеву?

– Наконец, догадалась я, Эдуард Эдуардович, – сунулась быстро она, – это Федька кухаркин поймал под Москвою: и – выпустил: в комнаты... Я же давно замечала: попахивает!

– Попахивает?

И с особенным пошибом молодо голову встряхивал он, заправляя салфетку.

– Что же вы, молодой человек, – не хотите тетерьки: вкусите ее... Мы вкушали от всяких плодов, когда были мы малы.

И обернулся к тетерьке.

Лизаша ударила кончиком белой салфетки его:

– Вот же вам?

Он – подставился.

С явным вкушал наслаждением тетерьку: тянулся к серебряному холодильнику он: за бутылкой вина; и Митюше фужер наливал – до краев: золотистой струею.

Тянулся с фужером: обдал согревательным взглядом: но взгляд – ледянил; и вставало, что этот – возьмет: соком выжмет:

– Так чокнемся!

Он развивал откровенность.

Так было не раз уже: будто меж ними условлено что-то: а если и нет, то – условится; это – зависит от Мити; Лизаша – ручательство: впрочем, – условий не надо: понятно и так.

Они чокнулись.

В жестах отметились все же – насилие: стиск, слом и сдвиг.

В то же время кровавые губы улыбочкою выражали Лизаше покорность: казалось, – глазами они говорили друг другу:

– Теперь – драма кончена.

Что это?

– Как, – мне еще?

– Ну же, – чокнемся!

– Я, Эдуард Эдуардович, – я: голова моя слабая!

– Не опьянеете!

Видел, пьянея, – в движеньях Лизаши – какое-то: что-то; во всей атмосфере стояло – какое-то: что-то... душерастлительное и преступное. Дом с атмосферой!

Лизаша сидела с невинным лицом:

– Митя, – вы что-то выпили много: не пейте!

– Оставь, – снисходительным жестом руки останавливал

Эдуард Эдуардович.

Митя бессмыслил всем видом своим:

– Так ваш батюшка – что?

– Говорите: бумаги свои держит дома?

– Так письменный стол, говорите?

– Что?

– Все вычисляет?

– Когда его можно застать?

– Поправляется?

– Эдакий случай несчастный!

Хладел изощренной рукою (с поджогом рубина), которую он протянулся за грушей.

«Лизаша, Лизаша», – кипело в сознании Мити.

И видел: мадам Вулеву и Лизаша – исчезли.

– Лизаша!

Мандро развивал откровенность – так было не раз уже: будто меж ними условлено что-то; а если и нет, то – условится; это – зависит от Мити; Лизаша – ручательство; впрочем, – условий не надо.

Понятно и так.

Голова закружилась: и чувствовал – вкрап в подсознании. Вина? Или – взгляда Мандро? Он – не помнил: в ушах громко ухало; помнил – одно, что условий не надо: понятно и так; очутился в гостиной; наверно в сознании был перерыв, от которого он вдруг очнулся: пред зеркалом.

Кто это?

Красный, клокастый, с руками висляями, – кто-то качнулся у кресел, кругливших свои золоченые, львиные лапочки; Митя склонился на кресло; пылало лицо; и в мозгах копошилось какое-то все толокно, из которого прорастало желанье: Лизашу увидеть, сказать про свое окаянство: за этим пришел.

Точно сон, появилась Лизаша.

Она, как водою, его заливала глазами: стояла в коричневом платье, с черным передником – на изумрудном экране, разрезывая златокрылую птицу.

– Вы, Митенька, пьяны.

– Нет, знаете, – дело не в этом, а в том, что мне очень, – вы знаете.

Тут он качнулся, схватившись за кресло.

– Ну да: говорили вы это уже.

– Нет, Лизаша, – послушайте: я – ничего не сказал: я пришел говорить: и вы знаете сами, что я ничего не сказал.

– Что такое?

– Подделал, Лизаша!

Она посмотрела вполне изумленно:

– Подделали! Вы? Что такое подделали?

Руку взяла и погладила:

– Подпись отца я подделал...

– Да нет!

И Лизаша погладила щеку, рукою холодной, как лед, поднимая в пространство какие-то неморожденные взоры:

– Несчастненький.

Он за нее ухватился: она – отстранялась.

– Нет, – тише... Вы, бог знает... Пьяны...

Лицом подурнела: и – дернулась, видя, что Митя идет на нее: отступала к портьеру.

– Нельзя!..

Он схватился рукою: рвалась; не пускал.

– Ах, жалким вы жалкехонек, Митенька.

И унырнула за складки портьеры, оставивши ручку свою в его цепких ладонях; он к ручке припал головой, покрывая ее поцелуями; ручка рвалась – за портьеру:

– Пустите же, – раздавался обиженный голосок, как звончок, за складкой портьеры.

И тут же на голос пошел быстрый шаг.

Ручка выдернулась.

Между складок портьеры наткнулся на... крепкий кулак, его больно отбросивший: тут, растопыривши пальцы,

скользнул: и – откинулся: складки портьеры разрезались; ясно блеснули – манжетки, рубин и линейка: линейка рассвистнула воздух, врезаясь гранью в два пальца.

И пальцы – куснуло расшлепнутым звуком: они – окровавились.

Точно отдельные злые хлопочки, отчетливо так раздавалось за портьерой:

– Ха-ха!

Перекошенную гримасой оттуда просунулася седорогая голова и две иссиня-черные бакенбарды.

Тут Митенька бросился в бегство: за звуком шагов раздавалась пришлепка.

С разбегу наткнулся на лысого господинчика он.

.....

Господин Безицов разлетелся к порогу гостиной.

Гам встретил его фон Мандро, оборудовав рот белой блестящей зубами и втыкаясь глазами бобрового цвета; сжал руку, затянутый позою, найденной в зеркале.

.....

Ацетиленовый свет, ртутно-синий; и там – розовень: реклама играла: фонарные светились зелеными: окна вторых этажей утухали; а выше, в багровую тьму уходя, ослабели карнизов едва постижимые линии; шлепало снегом холодным в ресницы: бессмыслилось, рожилось, перебегало дорогу; отбитые пальцы горели; душа изошла красноедами; щеки пылали; и ухали пульсы.

Бежал, заметаемый снегом, сметаемый вихрем: все пыр-скало – крыши, заборы, углы: порошицей, блистающей ясенью: крылья снегов зализали круги фонарей; и все – взреывало: пробегали, шли – по двое, по трое; шли – в одиночку; шли слева и справа – туда, где разъяла себя расслепительность; шли перекутанные мехами мужчины; шла барышня в беличьей кофточке; дама, поднявшая юбку, с «дессу» бледно-кремовым, – выбежала из блеска; за нею с серебряным кантом военный, в шинели ив – розово-рдяных рейтузах.

Там шуба из куньего, пышного и черно-белого меха садилась в авто – точно в злого, рычащего мопса, метнувшего носом прожектор, в котором на миг зароилась веселость окаченных светом, оскаленных лиц, – с золотыми зубами.

Бежал мужичок.

– Эка студи!

И морозец гулял по носам лилодером.

.....

Лизаша была у себя: ей представился Митя; его стало жалко: того, что случилось в гостиной, она не видала: видала мадам Вулеву.

От мадам Вулеву же ничто не могло укрываться.

18

Форсисто стоял Битербарм; ферлакурничал перед мадам Эвихкайтен: форсисто вилял, и локтями, и задом:

– «Энтведер» – не «одер»!

Мадам Эвихкайтен плескалася платьем в тени тонконогой козеточки, приподымавшей зеленое ложе, как юбочку нежная барышня: в книксене:

– Великолепно: «Энтведер» не «одер»!..

Энтведер, затянутый в новенький, сине-зеленый мундир (с белым кантом), – вмешался:

– На этот раз вы, Битербарм, оплошали: ведь предки мои проживали на Одере.

Вот так судьба!

Битербарм – поле прыщиков: зубы и десны: и – что еще? Род же занятия – спорт: но не теннис, – футбол: про себя говорил он: – Я – истый гипполог.

– Послушайте, – вдруг обратился он к Зайну, – скандал с Кувердяевым? Правда, что в классе ему закатали пощечину?

Зайн, тонконогий воспитанник частной гимназии Креймана, очень витлявенький щеголь, с перетонченным лицом, отозвался:

– Ну да, – что-то вышло!

– Как что? – удивился Энтведер. – Вполне оплеуха.

– В чем дело?

– История грязная!

Зайн отошел; уже с Вассочкой Пузиковой разводил фиглимигли; ведь все говорили, что он – содержанец.

А бог его ведает!

– Что, мадемуазель Бобинетт?

Почему-то здесь, в доме Мандро, называли все Вассочку

– так. Приходили все новые гости.

Лизаша в атласно-сиреневом платье, отделанном кружевом, с грудкой открытою, вся голорукая, дергала голеньким плечиком; мило шутила с гостями; ее развлекал разговором Аркадий Иванович Грай-Переперзенко, сын коммерсанта, художник, писавший этюд «Золотистая осень разлук», член кружка «Дмагага» (почему «Дмагага?»); член кружка «Берендеев», искусный весьма исполнитель романсов Вертинского, друг Балтрушайтиса: «Сандро» (опять-таки «Сандро» при чем?); он себя называл Боттичелли Иваннычем: ну – и его называли они Боттичелли Иваннычем; был он пробритый, дородный: в очках; носил длинные волосы; шелковый шарфик, повязанный пышно, носил.

Окружили мадам Эвихкайтен; над ними из выщербленной, потолочной гирлянды, сбежавшейся кругом, спускался зеленый китайский фонарик; мадам Эвихкайтен, склонясь на козеточку, скромно оправила пену из кружева; всхлипывал веер мадам Эвихкайтен; и к ней Безицов ревновал.

Эдуард Эдуардович, очень стараясь гостей улюбезить, брал под руку то Безицова, а то Мердицевича, – вел в уголок, к накрытому столику с ясным ликером, сладостями, вареньями; и пригласительным жестом руки им указывал:

– Это и есть «дастархан», угощение персидское.

Глупо шутил Мердицевич:

– Меня называет жена тараканом; и я называю себя тараканом; и – все это знают; и – так и называют.

Он был жуковатым мужчиной: был крупный делец: про него говорили:

– Фигляр форсированный!

Тут же, оставив его, Эдуард Эдуардович быстро прошелся в гостиную, где расстojались трио, дуэты, квартеты людей среди трио, дуэтов, квартетов, искусно составленных и переставленных кресел, и бросил свой блестящий, свой фосфорический, детоубийственный взгляд через голову Зайна: от этого взгляда Лизашино сердце забилося.

Лизаша, смеясь неестественно, странно мерцала глазами, и вдруг стала живулькою: дернувши узкими и оголенными плечиками, подбежала она к Битербарму: ему принялась объяснять она:

– Ах, эти звуки ведь вам, как гипнологу, трудно постигнуть...

Лизаша махалась развернутым веером.

Фиксатурные бакенбарды прошлись между ними, – почти что сквозь них; улыбулись Лизаше ласкательным взглядом:

– Вам весело?

Вздогнула, будто хотела сказать:

– Я боюсь вас.

Ответило личико – заревом глаз.

На мгновенье глаза их слились: отвернулась Лизаша: сто-

яла с открывшимся ротиком (омут открылся, в котором то- нула она). Эдуард Эдуардович, в зале увидев мадам Минда- лянскую, быстро пошел к ней навстречу; тут плечи Лизаши задергались; быстро бледнела она: Боттичелли Иваныч с тре- вогою к ней обратился:

– Вам дурно?

– Нет. Впрочем, – нет воздуха.

– Вы побледнели: дрожите.

Лизаша смеялась: все громче, все громче смеялась; все громче, – пока из растерянных глазок не брызнули слезки: она – убежала.

Мадам Миндалянская в белом, сияющем платье неслась по паркетам и пенилась кружевом: профиль – божествен- ность! Там Мердицевич, обмазанный салом, – рассказывал сало; пред кем-то форсисто вилял и локтями, и задом своим Битербарм.

И сплетали в гирлянды свои известковые руки двенадцать прищуренных старцев: над ними.

.....

Одна, сев на корточки и сотрясая голеньким плечиком – там, в уголочке, Лизаша смеялась и плакала, не понимая, что с нею.

Под зеркалом стал Эдуард Эдуардович в ценном халате

из шкур леопардов, в червленной мурмолке (по алому полю струя золотая), – с гаванской сигарой в руке.

Он другою рукою мастичил свою бакенбарду.

Сигару оставил: лениво поднял две руки, отчего распахнулся халат: очертание тела вполне обозначилось в зеркале, он без одежд показался таким черно-белым; свои рукава засучил; на руках – мох: чернешенек; был он покрыт волосами: чернистее прочих мужчин: про него говорила, бывало, жена: – Посмотришь на вас так, как вас вижу я... Волосаты же вы, как животное.

Слухи ходили: жену он бивал.

Вот рукою с сигарою сделал движение, чтоб очертание тела из зеркала лучше разглядывать: и многостворчатый шкафчик под руку подставился; он создавал мебелировку для всех своих жестов: откинется, – в фонах лиловых обоей (была спальня – лиловой) отчетливей вспыхнет халат – леопардовой шкурою.

Меблировал свои жесты.

Себе самому улыбнулся и пленочку снял двумя пальцами с клейкой губы.

И склонился в постель.

Но не спал; и не час, и не два он вертелся: возился в постели; откинувши стеганое одеяло (лилового цвета), он сел на постели, разглядывал белые и черномохие ноги свои, освещенные светом седой живоротутной луны; свои туфли нашупал; облекся в халат леопардовый; вышел в пустой коридор, –

в живортутные лунные светы.

.....

В упругой и мягкой постели сидела Лизаша; в колени склонила голову с распущенной черной косою; ей стих затвердился: все тот же: твердило и ночью, и днем:

Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.

Порой раздавались шорохи (мышь ли, скребунчики, кошка ли?): было ей жутко – чуть-чуть: по ночам не могла она спать: засыпала под утро: с собой брала кошку, сибирскую, пышную: кошка курнявкала ей; иногда же курнявкало, так себе, в воздухе; множество раз, поднимаясь с постели, босыми ножонками перебегала по коврику, к двери она, чтобы выпустить кошечку.

Кошечки – не было.

Раз показалось, что кто-то закричал у двери; открыв ее, высунулась за порог, да как вскрикнет: стоял перед дверью, представьте же, – «богушка», тяжело дыша и себе самому улыбаясь в темень тяжелой улыбкою.

– Ах!..

Растерялась, – да так, что осталась стоять перед ним в рубашонке, с открывшимся ртом: растерялся и он; и досадливо бросил, на двери соседние озираясь (там обитала мадам Вулеву):

– Да потише же!

Двери в соседнюю комнату, где обитала мадам Вулеву, – отворились; просунулася со свечкой в руке голова в папильотках, с подпудренным белым лицом, точно клоунским.

– Кто это, – взвизгнула громко мадам Вулеву, – не узнала я: вы?

– Мне не спится, вот я и брожу...

– Не одета я, – вскрикнула громко мадам Вулеву.

Дверь в соседнюю комнату быстро закрылась: и тут лишь Лизаша заметила, что не одета: под взором отца, пронизавшим насквозь: и – захлопнулась: и из-за двери сказала:

– Вы, богушка, право какой-то такой: черногор-черноватик! Меня напугали.

Об этом и думала: тут – постучали:

– Кто?

Дверь отворилась: стояла фигура в седом, живортутном луче: электричество вспыхнуло: «богушка» в ценном халате из шкур леопардов, с распахнутой грудью, в червленой мурмолке вошел неуверенно:

– Можно?

Присел у постели, немного взволнованный, одновременно и хмурый, и робкий, стараясь позой владеть: сохранить интервал меж собой и Лизашею; видимо, к ней он пришел: объяснить! быть может, пришел успокоить ее и себя; или, может быть, – мучить: ее и себя; даже вовсе не знал, для чего он явился; дрожали чуть-чуть его губы; на грудку свою подтя-

нув одеяло, сидела Лизаша; она удивлялась; головку сложила в колени: и мягкие волосы ей осыпали дрожавшее плечико; робко ждала, что ей скажут; и голую ручку тянула: схватить папироску – со столика; вдруг показалось ей – страшно, что – так он молчит; потянулась к нему папиросочкой:

– Дайте-ка мне – прикурить.

Протянул ей сигару:

– Курни.

И пахнуло угаром из глаз; но глаза он взнуздал:

– Я пришел объясниться: сказать.

И, подумав, прибавил:

– Дочурка моя, у нас этой неделей не ладилось что-то с тобой.

Поднесла папироску: закрыв с наслаждением глазки, пустила кудрявый дымочек.

– Быть может, с тобою неласков я был: но сознание наше – сложнейшая лаборатория; всякое в нем копошилось.

И в ней копошилось: слова копошились:

Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.

Ему протянула ручонки: их взял, облизнулся; и стал – вы представьте – ладонку ее о ладонку похлопывать:

– Ладушки, ладушки! Где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Бражку.

Но что-то фальшивое было в игре сорока пятилетнего мужа, к игре не способного, с взрослою дочерью; он это понял, откинулся, бросил ладони; сморщились брови углами не вниз, а наверх, сдвигаясь над носом в мимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх; между ними слились три морщины, как некий трезубец, поднятый и режущий лоб.

Точно пением «Miserere» звучал этот лоб.

Ей подумалось: «Странно: зачем объясняться теперь, поздней ночью, когда можно было бы завтра?» И стало неловко: чуть скрипнула дверь – от мадам Вулеву: и сказала она с передергом:

– Меня лихорадит.

Увидев, что он захмурил, улыбнулась и с материнскою нежностью лоб его тихо погладила ласковой ручкою.

– Лобушка мой!

– Ах, сестрица Аленушка.

– Можно, – поймала глазами глаза его, ставшие черными яшмами, – можно сестрице Аленушке?..

– Что? – испугался он.

– Вас... назвать... братцем?

– Иванушкой?

– Да!

Неожиданно сжав на груди волосатой головку, спалил ее лобик дыханием, как кислотой купоросной.

– Нет, лучше не надо.

Отбросился: алый, как лал, – удалился.

.....

Представьте же: желчь у него разлилась в эту ночь; утром встал – черно-желтый: с лимонно-зеленым лицом.

20

Продувал ветерек.

Отовсюду к Пречистенке двигались мальчишки, – к желтому дому о трех этажах; надоконные морды его украшали; над ними – балкон: отступя от него, у стены, между окон кругле-ли колонны: под строгим фронтоном: железная черная вывеска золотом букв прояснялась: «Гимназия Льва Веденяпина». Полный швейцар, при часах, в черном, с медными пуговицами топтался у двери: в передней.

Сюда приходили.

И здесь раздевались, отсюда уже поднимаясь по каменной лестнице, скрытой зеленой дорожкой ковра, – к балюстраде, где десять блистающих, белых колонн изукрашили лейкой себя над квадратом перил, открывавшим провал: вниз, в переднюю; вокруг балюстрады – тишело; хрустальной ручкою дверь открывала квартиру директора; сам Веденяпин за эту белую дверью таился; отсюда – выскакивал он; и сюда – пролетал; здесь устраивал головоломы.

– Э... э... а... а... о... о...?

То – визжало; то – плакало; то – заливалось: слоновыми

ревами.

Дверь же вторая, пред лестницею, ввела в двухсветный, колончатый зал с тяжелеющим образом (посередине, под резаным, темным киотом мигала лампадка малиновым светом отсюда): ступенился ряд гимназических лестниц; и – бары стояли; «вава-вавава» – ватаганили мальчики, отроки, юноши в черненьких курточках, с черными поясами и в черненьких панталонах навывпуск; слонялись и шаркали взад и вперед: в одиночку, иль парами, тройками, даже четверками, переплетаясь руками; стоял топотень: громко двестиголовое горло вавакало: «ва», наливаясь, силой, став «ввооо», заострялось порою до «ввууу».

– У-у-у...

Седо-бурый старик надзиратель с морщинистой шеей, бродивший средь гаков и шерков, пускал:

– Тсс... Смотри у меня!

Заводился ехиднейший тип: подвывателя; он вызывал неприятный феномен: всеобщего взвоя.

Средь гокавших, праздно басающих, бродящих, толпящихся тыкался Митя Коробкин, волнуясь и дергая свой перевязанный палец: явился в гимназию он: отстрадать; ожидала расплата за то, что подделывал подпись, расплата – ужасная; жизнь от сегодня сломается: надвое; он – гимназист: до сегодня; и завтра он – кто?

Двороброд.

Его сердце кидалось строптивством и страхом; за что он

страдал? Лишь за то, что терпение лопнуло, что перестал выносить приставанья товарищей он:

– Эй, Коробкин, Коробкин! Скажи-ка, Коробкин! – Толстого читал?

– Не читал.

– Просто черт знает что, а еще – сын профессора.

Вот отчего он подделывал подпись!

Раз кто-то сказал:

– Этот, знаете ли, прогрессирует: параличом рассуждающих центров.

Читать: что прикажете?

Дома – нет книг по словесности: по философии, по математике – сколько угодно... Толстого нет, Пушкина: ну-ка, – попробуй-ка...

– Литературное чтение, Митенька, – знаешь ли, – да-с: в корне взять, – от наук отвлекает: еще начитаешься...

Знал, что предложена будет «История физики» или «История» там... индуктивных наук.

– Вот Уэвеля томик прочти: преполезно!

– Да мне бы Толстого.

– Толстой, знаешь ли, говоря рационально, – болтун...

Так сбежал на Сенную: в читальню Островского; вовсе забросил уроки; носил сочиненные им же записочки для объяснения исчезновений из классов: подделывал подпись отца; эта ложь длилась год; раза два надзиратель весьма подозрительно подпись ощупал глазами: раз пристально он посмот-

рел, покачал головой: но – смолчал, недоверчиво сунув записку в карман; Митя вспыхнул; с неделю назад подозвал надзиратель Коробкина: мрачно заметил:

– А вы бы уж лучше признались во всем: про записочки.

Митя божился: и – нет: не поверил.

– Пойду, покажу-ка: как выскажется Лев наш Петрович.

А Митя исчез – с перепугу: в гимназии не был неделю; он знал – буря ждет; будет изгнан с позором: да, да, – Лев Петрович внушал ему ужас: сутулый, высокий, худой, с серой, жесткой, зачесанной гривой, с подстриженной бородою, в очках золотых, в синей куртке кургузой, директор казался Аттилой: под серой щетиной колечком слагал свои губы, способные вдруг до ушей разорваться слоновьими ревами, черный язык показать; быстро дергались уши; бывало, – он несся по залу, желтея янтарным своим мундштуком, развевая за спину дымочки: пред ним расступались и кланялись: щеки худые всосались под скулами; очень красивый и правильно загнутый нос подпирал два очка, над которыми прыгали глазки в щетинища бровные; и костенел препокатый и в гриву влетающий лоб; очень длинные руки (длиннее, чем следует) явно являли вид помеси: льва, лошадиного (или ослиного) остова с... малым тушканчиком.

Все-то казалось, что Веденяпин прыжком через головы впрыгнет из двери в наполненный зал («цап-царап» – кто-то пойман, как мышка: отсиживать будет за шалость свою лишний час); Веденяпин умел замирать и казаться недвижи-

мым трупом; но труп закипал ураганом движений и зыком, являющим гамму от рева до... детского плача; да: вихри и бури! Потом – мертвый штиль; средних ветров не знал; и лицо было странною помесью: явной мартышки, осла и... Зевеса (бог-зверь).

Внушал ужас.

Внушал поклонение.

В частной гимназии был установлен единственный культ: Веденяпина; перед уроком его в младших классах крестили свои животы.

21

Еще с вечера Митя томился; с испуганно бьющимся сердцем расхаживал; был Лев Петрович у них с десяти; вдруг не будет: проспит?

Пролетел Веденяпин.

И Митя, столетие себе губы, стоял под учительской; кланялся; но на поклон Веденяпин ему не ответил.

Дверь хлопнула.

Знает!

Вся кровь застуднела.

Швейцар в длиннополом и черном мундире с блестящими пуговицами, пробежавши по залу, трезвонил: «Ди-линь!» И все классы в ответ улыгнулись открытою дверью: ряд классов сквозных: и зашаркали, многоголово горланили, щелка-

ли партами.

.....

Митя глядел пред собою: и – видел: ряд классов сквозных: дальше – зал; за ним – двери в учительскую: отворилися.

Учителя пошли классами.

Батюшка в темно-коричневой рясе тихонечко плыл и помахивал балльником (книжкой зеленой, куда заносились отметки); громадный, хромающий Пышкин, мотаясь клоками седой бороды и власами, высказывал твердо свое убеждение толстою пяткой – прийти в восьмой класс; показался худой латинист.

Веденяпин, весь скованный, стянутый, – мертвою позою неся на классы.

Нет, Митя не слышал урока; он думал про то, что над ним разразилось; он думал о случае с книгами.

Вот тоже – книги!

Четырнадцать дней, как отец перестал разговаривать: не догадался ли? Как же иначе?

Расходы же были: купи того, этого: новый учебник, блокнот, карандашик; товарищи (все поголовно!) имели карманные деньги; он – нет; не умел приставать и выпрашивать.

– Дай мне полтинник.

– Дай рублик.

Ворчание слышать ему надоело.

– Опять? Сколько ж новых учебников?

– Что? Источил карандашик?

Он стал к букинисту потаскивать книги и их продавать; а на деньги себе покупал он учебники, карандаши и блокноты: вот разве – страстишечка к одеколону цветочному в нем развивалась: он прыскался им, когда шел к фон Мандро.

Фон Мандро!

Митя вспомнил вчерашнее: сердце опять закидалось. Ужасно, томительно! Этот удар по руке угнетал; угнетала угрюмость отца; и страшила: нависшая казнь Веденяпина.

Ужас!

А Пышкин тащился к доске: куском мела отбацать; боялся; три гимназиста под партой строчили урок; губошлеп Подлецов, по прозвищу «хариус» (харя такая), своим исковырянным носом уныривал прямо под парту.

Состраивал рожу; и – видели: рот – полон завтраком.

.....

Кончилось: хлынули.

Здесь, у мальчишек, седой старичок математик заканчивал:

– Если делимое, – он приподнялся на цыпочки и посмотрел сверху вниз, – множим на пять; делителя ж, – он приседал и поблескивал, – множим на пять...

И тыкался в грудь мальчугану:

– После... то что будет с частным?

– Оно – не изменится.

– Если же, – он зачесал подбородок, – делимое мы умножаем на десять... – бежал в угол: сплюнуть.

И, сплюнув, обратно бежал:

– ...а делителя...

Митя прошел в пятый класс.

Веденяпин заканчивал здесь свой урок: он казался красавцем, обросшим щетиной.

Не то – павианом.

Но выскочил он и тушканчиком несся: в учительскую, чтобы оттуда янтарный мундштук, крепко втиснутый в рот, показать.

Опозорит и выгонит.

Все уж прошли в переполненный зал: перемена!

.....

Звонок: распахнулись классы: и торопью бросились, тысячу тормашками; вся многоножка отшаркала громко в открытые классы; распалась – на классы; а в классах распалась – на членики; каждый уселся за парту – выкрикивать что-нибудь.

Преподаватели в классы текли.

Разуверенно шел изможденный француз – на кошачий концерт в первом классе; пошел латинист.

Веденяпин понесся на класс властной мордой, метя перепуги, как прах, пред собою; о, ужас! Он – ближе и ближе...

Руками дрожащими все животы окрестились; Митенька выхапнул книгу, одернулся, вспыхнул:

– Что будет, то будет!

И...

Двадцать пять пар перепуганных глаз пожирали глазами скуластый и гривистый очерк лица, двумя темными ямами щек прилетевший и бросивший выблиск стеклянных, очковых кругов.

Сел на ногу: расширились ноздри; втянулись губы: и – рот стал безгубым: полоска какая-то!

Воздухом ухнул.

– А нуте-ка!

В Митю вперился.

Сейчас, вот сейчас: начинается!..

И показалось, что будет огромный прыжок – через столик и парту – из кресла; так хищник прыжком упадет на спину барана: барана задрать.

22

Но не прыгнул: сидел вопросительным знаком.

– А – ну-с? Пролетел шепоток...

– Подлецов!

И, вцепившись в подкинутую коленку руками, прижался к коленке щетиною щек:

– Что?

– Не слышу?

Съел рот: и сидел с засопевшей ноздрю:

– Довольно-с! – вlepилась огромная двойка.

На парту слетел Подлецов; Митя думал:

– А я-то? А – как? Почему обо мне ни единого слова?..

Он – во все не знает еще: он, конечно, – не знает: а то бы...

Но – екнуло:

Знает.

– Скажите-ка, Бэр!

Припадая к столу, Веденяпин схватил «Хрестоматию Льва Веденяпина»: и карандашным огрызком страницы разлистывал, делаясь то вопросительным, то восклицательным знаком.

И двадцать четыре руки закрестили свои животы; двадцать пятый живот, не окрещенный, жалко качался: исчезнуть под партою: меткая двойка сразила.

– Коробкин!

Вскочил.

– А скажите-ка!

Под подбородком минуты четыре подпрыгивал очень зловеще кадык: Веденяпин молчал; и потом, как лучи, проиграли морщинки на всосанных мертвых щеках:

– Хорошо!

Совершилось: руки возложение в балльник – прекрасного балла:

Не знает еще!

Веденяпин же бросил ласкательный взгляд на объемистый том «Хрестоматии Льва Веденяпина»; и – на него облизнулся.

– Теперь – почитаем.

Вскочил, головою задергал; рукою с раскрытою книгой подбрасывал он

Чем он брал?

Неизвестно. Но – знали, что каждого он пронизает; казался ж рассеянным; в несправедливостях даже оказывал высшую он справедливость; и двойки, вклеваемые карандашным огрызком, и крики, – сносили: все, все искупала пятерка, которую так он поставить умел, что ее получивший, краснея, как рак, задыхался от счастья.

А страх искупался пирами: введений в поэзию.

.....

Вдруг Веденяпин схватился за голову:

– Вот ведь... Коробкин, я книгу свою позабыл: часть четвертую хрестоматии...

Рылся рукою в кармане.

Вот ключик: сходите ко мне – в кабинет: отворите мой письменный стол; в среднем ящике – справа: лежит хрестоматия.

Митя – за классами: перебежал балюстраду: и – белую дверь отворил: в кабинет Веденяпина; стол, полки, бюсты, ключом завозился; а ключ – не входил: он – и эдак, и так: не входил.

Что тут делать?

Стоял, не решаясь вернуться.

Вдруг – сап за спиною. И – сердце упало: стоял Веденяпин

за ним и помалкивал; под бороδοю запрыгал кадык.

Все он знает.

Молчание. После молчания – голос:

– А ну-ка, Коробкин!

На Митины плечи упала рука:

– Что теперь полагаете вы о поступке своем? – Вы обдумали?

Так, как с разбегу бросаются в пропасть, так бросился Митя рассказывать: все, даже то, что Лизаше не мог рассказать, – рассказал; из отчаянья слово явилось.

В ответ раздавалось:

– Э... э... а... а... о... о...

Сидел Веденяпин; и – слушал: и – пыхи ноздрями пускал: вырвал волос серебряный; к глазу поднес; сняв очки, стал рассматривать волос.

Понюхал: – и бросил:

– А случай – меж нами... э... э... э... останется.

Стал говорить он о правде: да, правила мудрости высеклись в страхах, испуг – сотрясал: разрывалась дута: и прощепами свет вырывался; и так поступал Веденяпин. Сочувственной думой своей припадал к груди каждого, всех проница и зная насквозь: он ночами бессонными сопержил горе Мити еще до рожденья сознания в Мите; давно караулил его, чтоб напасть и встрясти: разбудить; так Зевесов орел нападает: схватить Ганимеда! Напал: с ним схватился; и правило правды разбил, как яйцо, он – с размуху, рисуя своим

карандашным огрызком из воздуха: вензель добра.

И глаза вылуплялись у Мити, казалось: он шел за зарею по полю пустому; и чувствовал ясно лучей легкоперстных касанье: звучали ему бессловесные песни: и голос – исконно знакомый.

И классам объявлено было: урок – отменяется.

23

Солнце садилось!

Закат, как индийский топаз и как желтый пылающий яхонт разъялся, когда Митя вышел с любовью – с томительной – к правде возжженной; он понял, что дней омертвенье горит: обцветились дома: на раскроину вечера фабрика бросила росчерни; глазом, свечевнею, точно выглядывал кто-то из низкого, золото-хохлого, лиловобоккого облака.

Шел волдырявый мужчина; сказали б – мозгляк, синеносый пропойца: с пухлым лицом черномохим; взглянул под картузик, – и ахнул: глаза-то, глаза-то! Как ясные яхонты, вспыхнули! Взять да обнять.

Подзаборник у тумб подузоровил словом; сказали бы все: «Никудышник». Теперь же – увидел: мальчишка ласкался к нему: и попискивал: «Тятенька».

«Тятенька» – милый! А кто там расшлепнулся в кресле своем – плечекосый, расплекий, с протертою кистью халата: томился в столбе желтой мыли, под рваную шторой, – с под-

вязанной снизу наверх бороною, с салфеточным ухом на вязи.

– «Так: руку жует что-то мне».

Кто сказал, – еще только что:

– «С ним говорить невозможно: какой-то такой».

Прибежать бы домой, да и – в ноги: валяться, смеяться и плакать.

И та синеперая дама – в ротонде: и та – синемилая; все – растерялись; и мясами, точно наростами, – все обросли: свои лица раздули, как морды.

Представил себя перед зеркалом: в зеркале – морда, тупая, прыщавая, потная – брылами чмокала: злое, тяпляпое тело на всех, как тяпляпое дело: сорвать! Отлетит желтокудырым дымочком проносное горе – ничто – в синемилые дали, где небо, как вата, разнимется в небе, когда светлорукий гигант разбросает под небо настои свои, чтоб ярчели ночным многозвездием.

Митя не помнил, как он очутился у сквера: пылал, голова, точно печь, растопилась глазами-огнями: и понял: не может он прямо вернуться домой, потому что ведь – некуда: дома-то не было; и не вернуться он шел, а впервые найти себе дом; где – не знал, да и есть ли еще этот дом.

Может быть, этот дом – его сердце?

Впервые оно обливалось жалостью к жизни: к себе самому: к самому ли? Его-то и не было: «сам» – зарождался: в словах Веденяпина; «сам», может быть, – Веденяпин; а мо-

жет, – еще кто-нибудь; может, – этот старик: почему он за ним побежал? «Сам» – не Митя, а все, что ни есть, что – жалует, что жалость приемлет к себе: человечество.

Так говорил Веденяпин!

Вернуться: бежать к Веденяпину: поцеловать изможденную руку – совсем не за то, что простил, а за то, что косое, тяпляпое дело сорвал, как доску гробовую; теперь уже ясно, что Митенька с Митеньки сорван: и то, что открылось под ним, было теплым и легким биеньем: от сердца под горло: как будто оттуда ручонку свою протянул взворкотавший ребенок: тот, кто родился.

Его волновало не то, что прощен: волновало, что кто-то в прощенном – рожден.

Полумесяц серебряный значился – из перламутра: чуть видимых тучек, еще догоравших, еще обещавших, – «все», «все».

Только – что?

– Митя, что с вами? Плачете! Щеки в слезах! Я за вами бежала Пречистенкой: я – окликала...

– Лизаша!

– Сегодня мне все рассказали: какой, Митя, ужас!

Но Митя не помнил.

– О чем вы?

– О том, о вчерашнем: простите вы «богушку»; сам он не свой: убивается; он – не такой; это я объясню: приходите... Да нет: не придете, – сама приду к вам... Как узнала я, – бро-

силась ждать под подъездом гимназии вас; как увидела, право, не знаю, что сделалось; не подошла: и – за вами бежала.

.....
С Лизашей простился: Лизаша не трогала.

Солнце зарылось под землю. За солнцем по темному небу проносятся крылья невидимых птичек: то – звезды: звезда – ярко-пламенный день; многозвездие неба есть знак многодневности солнц восходивших и солнц не взошедших; пусть в пеструю улицу ночь навалит чернышищи: пусть держат к предметам чернейшие речи: то – и́зжитни.

Солнце – взойдет!

.....
Перед ним прислонялся к решеточке сквера согбенный прохожий, закутанный в лезлую, очень клокастую, серого цвета шинель, разбросавшую крылья по ветру; склонялся картузиком в выцветший мех; суковатую палкою щупал дорогу; и Митя взглянул под картузик; прохожий косился двумя пролинялыми бельмами: дряхлый и британский, он отвернулся: и лик, точно выцветший мех, уронил себе: в выцветший мех.

Он – слепой.

– Вы позволите?.. Я бы... вас мог... проводить.

Но старик, отборматываясь, уронил неживые слова и брезгливо, и зло – в лезлый мех, побежав с тротуара: он – видел.

Тут Митенька понял – что встретил себя самого: того са-

мого, кто еще шел гробовую своею дорогой.

О, если б прозрел, если б!..

Небо, как вата, разъялось на небе.

Глава третья

Бестолочь

1

Дверь, обитая карей клеенкой; дубовые полки; и – желтая волосяная настилка; отсюда рябил коридорик, такой пестроперый: по серому полю кружочки в белесых и в карих глазах; в коридорике – двери: налево, направо и – наискось; чуялось, что раздадутся звоночки, что Марфушка впустит события времени: двери – откроются:

– Вы не снимайте цепочки дверной: вы спросите-ка, – кто там.

.....

– Профессор Коробкин?

– Так точно.

Дверь наискось скрипнула: издали дама защурилась вялым лицом, подобрав свое желто-зеленое платье: шпинатного цвета; цепочка часов, шателенка, свисала у пояса:

– Кто там?

– Да барин стоит карамазый: Ивана Иваныча спрашивают.

Дама спряталась.

– Как о вас?

– Вы доложите – Мандро: фон Мандро, Эдуард Эдуардович.

Карточку подал.

И Митенька выставил нос из-за двери направо, тараша в испуге глаза; Эдуард Эдуардович нежно ослабился, будто линейкой не цапал его: голова провалилась за дверь; из нее пропорхнула худая и бледная девушка в синей кофтенке (с пропиткой), в юбчонке кисельного цвета, прищурясь – на мех голубого песка, бакенбарду, на шапку соболью: и слепо, и мило.

Мандро поклонился, и – думал:

– Ну вот, – все семейство!

Но барышня скрылась, таким раздуванчиком юбки развеяв; в пролете дверей щебетнула по-птичьему.

Кто-то, невидимый, тут бударахнулся в левую дверь, но, должно быть, за гвоздь зацепившись, рванулся: из двери метнулся височный вихор, промахав в суетах, и – вновь скрылся; сказали со взлаем:

– Сейчас!

И взьерошка какая-то, пыжась из двери, себя от гвоздя отцепить, растарашею стала, взмигнув на Мандро; враслопырку поставила руки и ноги: пошла.

Но случился в передней вторичный спотык о настилку.

Тогда Эдуард Эдуардович понял: великий профессор сто-

ит перед ним.

Что за вид?

Он, как видно, не стригся, давно отрастая клоками; тяжелая морда; меж щечных бугров, как на корточках, – нос: диковырком! Казалось, что вычихнет; глазки, засевшие в щелках, готовились выстрелить. Но их очки защищали; свирепо и зверски карели моржовьи усы, борода; и, невидные, шлепали губы; круглеющий лбина, как камень, способный и стену пробить, – в дыбах косм, и свирепо, и зверски коричневых; да, – голова для гиганта; росток – очень мал; шеи – нет; перебито плечо; подскочило другое под ухо; весь корпус – пропыженный; коротки руки; одна – за спиною; другая – в сплошном вертунце – передрагивает дергунцами, пускающими карандашик вподброску; отчетливый пузик на брошенных вправо и влево ногах; желто-карий пиджак; желто-карий жилет; крахмал – отложной.

Черный галстучек – бантиком.

Да – коротыш, с головой, кверху задранной!

Думалось:

– Вот так картинища!

Но Эдуард Эдуардович, позой заверчивость выразив, ослабил:

– Позвольте представиться.

– Что?

Коротыш повернул к нему ухо; и, руку приставивши к уху, разинулся ухом:

– Не слышу.

Он, видно, звонков не любил: позвонят – уши выставит: слушает; этим Мандро не смутился нисколько.

– Я, будучи близко знаком с вашим сыном... И будучи...

– Нет, вы позвольте: а с кем же имею честь я?

Коротыш подбежал с подкарабкой; его промашной пиджачок, отлетая, сидел как-то косо; он руку свою протянул; и руке проиграла слепительность: номенклатура зубов (или лучше заметить: вставных челюстей).

– Эдуард Эдуардыч Мандро.

Эдуард Эдуардович, кстати, – отметил, что кончики пальцев пропачканы краской коричневой; видно, известный профессор недавно окрасился.

– Милости просим.

Подбросивши в воздух очиненный свой карандашик, поймал карандашик; косо, раскачною походкой пошел, топотаща, почти не сгибая колен, – в кабинетик.

Пол, крытый мастикой, – в сплошном, черно-сером ковре, над которым заерзали моли; стол, полный сваляшиной и разваляшиной томиков; штора – в пылях: пауки, пыль и чих; чернолапое кресло – не прямо: в подкос; и другое, такое ж, бросаясь вперед, заграждало проход (видно здесь претыкались).

Сплошной ерундак!

В нападавших коричневых сумерках чуть намечались коричнево-желтые томы коричнево-серого шкафа; на кожаном

черном диване скомчилось кой-как одеяльце (по черному полю – кирпичные яблоки).

Думалось:

– Эдакого обвернуть вокруг пальца – что стоит!

Мандро улыбнулся; вошел в кабинет молодецкою поступью он, расправляя свои молодецкие плечи: таким приворожником!

– Да, – ваш сынок...

Но при слове «сынок» знаменитый профессор скопился; и вдруг загорюнился крашеной рожей.

– Сынок ваш бывает у нас, – у Лизаши: дочурки.

Профессор ему показал на порожнее кресло; уселся с развалкою сам; осмотрелся: сваляшина и разваляшима многих томов вперемешку с бумагою; жуликоватая мышка скреблася.

– Я думаю, Митенька вам, в корне взять, – надоел... Вы чего ж не садитесь: садитесь же, батюшка!

Тут Эдуард Эдуардович к краюшку кресла присел, уронив свою руку на стол, крытый черной клеенкой.

– Помилуйте, – отвеселился глазами он, – сын ваш такой милый мальчик!

О, – он приворожником выглядел!

Но у профессора вкось разлетелись глаза; и разлет этих глаз выражал – опасенье:

– Мой сын, – в корне взять: дело ясное...

– Что вы!

– Он... он... он...

– Помилуйте!

– Нет, дело ясное: сын...

И лупнул кулаком по столу:

– Помножайте его, – он подбрызнул слюной, – хоть какими угодно нолями, – останется ноликом.

Рявкнул со взмахом.

Мандро закурил; и, висок преклонивши к согнутому пальцу, сидел в беззаботной, в завалистой позе; прогреб бакенбарду; разгиб белой кисти руки выявлял очевидно желанье: завлечь и разжечь.

– Наши дети знакомы давно; и поэтому счел я за честь нанести вам визит...

– Очень рад-с...

– ...и свидетельствовать уважение, которое вы возбуждаете всюду... Мандро припалил бакенбарду; пригаром паленым припахивать стал он (невкусно припахивать).

– Хоть коммерсант я, но – верьте мне; знаю, и я, что профессор Коробкин...

– Оставьте!

– ...профессор Коробкин...

– Да нет же-с!

– ...профессор Коробкин есть гордость науки!

Профессор поставил свой нос пред собою и фыркнул, – пронюхал Мандро; виноват; бакенбарду Мандро.

– И притом дело есть: впрочем так, – пустячок.

Но профессор на все тартарыкнул рукою.

– Вы, кажется, – слухами полнится свет – очень трудитесь?

– Да-с: помаленьку.

– Весьма плодотворно?..

Профессор схватился за свалень бумаги.

– Открытие сделали?

– Что-с?

И рукой – за платком; его выхватил; и, развернувши под носом на мягких ладонях, – глаза скосил в нос.

– То открытие, слышал я, – тут фон Мандро прикурсивил ресницы, – значительно, очень-с; и, как говорят, оно в технике произведет пертурбарцию; в жизни...

Профессор громчайше счихнул, все вниманье свое устремив на платок, загулявший по громкому носу.

– ...в путях сообщенья...

Платок закомчился и спрятался.

– Я невзначай разговоры имел с представителем крупной промышленной фирмы, который взволнован: весьма!

Но профессор награнивал пальцами дробь.

– Не имея возможности встретиться с вами, он мне поручил предложенье – сказать между нами – вам сделать...

Профессор молчал.

– И сказать между нами...

Мандро тут замялся сперва, и потом сразу выюркнул оком:

– Они бы купили охотно...

Откинувшись, вымедлил:

– ...очень...

Профессор достал карандашик: чинил карандашик; сломал карандашик.

– Эх, черт дери!

Трах-тара-рах!

– Это вас бы устроило – смею я думать... – вновь выюркнул глазом Мандро, и густейшее облачко дыма пустил, – извините меня, что я прямо так: сколько вы взяли б?

Очковые стекла взлетели на лоб; раздраженный профессор скосился и выдвинул ящик; он туго набит был: бумаг сбереженье! Сваляшил рукою бумажки; достал из-под них три тетрадочки: тыкался носом в листки.

И с промашкой сказал:

– Что вы, батюшка, что вы?.. Вот тут, – он рукою лупнул по тетрадочкам, – формулки кое-какие... И – только...

Он, явно лукавя, глазком надбуравливал ящик: совсем не тетрадки. Мандро привострился на ящик:

– Так: здесь!

И – разведывал оком.

Собрав свои брови, приблизил к профессору их, чтоб прижать его взглядом:

– Они предлагают вам очень почтенную сумму.

Профессор, добряш, стал свирепым: глядел с задержкой.

– Они предлагают вам...

– Что?

– Триста тысяч.

Профессор замолнил очком: стал совсем неприятный
звездач он.

– Четыреста.

– ?!?

И поглядел окровавленным взглядом, как Томочка-песик,
покойник, – когда отбирали, бывало, у песика вонь; пес –
рычит, угрожает оскаленной мордой, возясь над подушкой;
но вонь – отдает; и покорно вздыхает; профессор же...

– Нет-с...

Не отдает: он – припрячет!

– Четыреста сорок.

Уж серо-сиренево-желтым настоем засохлых цветов вста-
ли мутные мраки.

– Пятьсот.

Но из глаз растарашенных ужас валил.

– Дело ясное, батюшка... нет у меня никакого открытия.

– Как?

– Если б было, то я-с, сударь, – да-с – не продал бы его...

– Почему же, профессор?

Мандро огорченно чеснул бакенбардой.

– Да так!

– Не согласны?

– И – все тут!!!

Взъерошился.

– Надоедать вам не стану, – прозубил Мандро.

И в поспешном, и в нервном таком от стола отваленни ска-
залась досада...

– Быть может...

Внушительно так поглядел:

– ...вы – надумаете?

И на фоне исчерченных, темно-зеленых обой он сидел с
отверделым лицом, – кривогубый и кислый.

Ивану Иванычу тут показалось, что ясность прогоркла ту-
маном сплошным, что былая отчетливость виделась – желк-
лой и горклой; его представленья о быте и жизни слагались
– скажем мы здесь от себя – из каких-то претусклых, весь-
ма неприятно окрашенных контуров, точно с грязцой – жел-
то-серых, оранжевых, тусклого сурика; все покрывали ка-
кие-то иссиня-сизые, исчерна-синие кляксы; теперь – разры-
вались они: и сквозила повсюду бездонная, сине-чернильная
тьма.

И – твердилось:

– Мандро!

Сам Мандро с черно-синей своей бакенбардой сидел за-
влекающим и роковым перед ним; от него исходил аромат
очень тонких духов: будто даже несло миндалем горькова-
тым; поднялся прощаться.

И снова расслабился:

– Милости просим ко мне... Величайшею честью я счел
бы.

Лишея глазами, он в дверь проморочил своей бакенбар-

дой; уж карюю пѣрегарь дня доедала не каряя ночь; и профессор просел в нее; все огорчѣнья припомнились: Наденька, Митя.

2

По правде сказать, был профессор вполне подготовлен к тому, что источник пропажи томов – его сын; и как только поправился он, так, таясь от семьи, понаведалься к Грибикову, его ждавшему: долго справлялся о томиках, – желтом и темно-коричневом.

Грибиков долго, со вкусом рассказывал, как стелелюшивал Митенька книги: весь август, сентябрь и октябрь; он степенно поднялся с сиденья; смеялся двузубьем, свое ротовое отверстие раздвинув; глаза ж – стервенели: гиеньи.

Профессор как будто горчицы лизнул; но он твердо понес огорчение это; пошел к Веденяпину: потолковать: таки так-с: сын – дурак! Веденяпин же выставил, вот ведь подите, вопрос материальный:

– Карманные деньги у вашего сына имелись?

– Да нет!

– А просил он у вас?

– Ничего не просил.

– Как вы, батюшка мой, довели до греха его? Дифференцировали, а о сыне забыли, что взрослый; ему без карманных расходов нельзя-с: молодой человек...

В самом деле, что взрослый; и – девушек лапил; а все ж:
– Стелелюшил.

Два дня – приборматовал; ноги и руки пускал врастопырку; на третий же к сыну прошелся; над ним постоял:

– Ты зачем, брат, себя обсорил?

Трепанувши додер на халате, вздохнул и обратно пошел – в кабинет там шкафы – перевернуты, кресла – содвинуты, наискось стол:

Полотеры!

Промаривал Митеньку только для вида, себе положивши: простить, – дело ясное!

Шло промолчанье.

– И нате же!

Митенька лез на него; стал довязчивым; шумным: устал криводушничать он: проморенье ему надоело; к семейству прибрел, чтоб впервые схватиться за общее дело семейное; но оказалось: семьи-то и не было; тут отложилось решенье:

– Еще – подожду: не готовы принять они правды...

И как-то особенно взорил: правдивил глазами; но слов не сыскалося; дбклику не было; мать – затворялась; отец стал отвертчивым, точно хотел он отвадить его от себя; прекословил:

– Ведь эдакий привра!

Промаривал Митю.

Заметили: прежде дурачливый, Митя стал умничать: лез и оспаривал: даже учил:

– Вот: промзгленок, а – учит? – подлаивал старый профессор; и все ж с изумленьем отметил: – А кое-что, вот ведь, – прочел; ну он там – безалаберит: все-таки, вкорме взять!..

Митенька стал зубы чистить; а прежде ходил затрепанцем: обдергивал куртку; поправился как-то лицом: прыщ сходил, и щека не багрела сколупышем; взор в нем сыскался.

Поднял – Веденяпин.

.....

Надюша – не то вот.

В синявой кофтенке, в такой заваленной юбчонке мяукала прómельком, – чаще с прониткой: под пальмой; кенара любила; и – вяла: кихикала все; не давалось дыханье; ей камень на грудь навалили; ночами потела; бывало – такая с кваском; а теперь – поглядите: кривулькою крючится на канапе.

Капризулит.

– Какая ты стала раскрика, Надюша!

– Кричится мне, папочка!

Сердцем кричала о том, чего нет.

Кувердяев – подлец; Митя – ворик; а мамочка, – нет уж: помалкивать!

Раз закурила табак: кружит голову он; поперхнулась: прокашляла до крови и, чтоб «они» не узнали про кровь, убежала в пестрявую комнатку – кашлять: жила там, – в надстройке; та комната, – кто в ней бывал? Кресло – камка: раскрутчивый шелк; под ногами – узорик квадратцами: коврик; прильнула она к канапейной подушке лицом, уходила в свою

безызживную мысль: Кувердяев, который там мальчиков любит, – что ей? А страдала, что он оказался таким: все – такие в «таковской» Москве, уносимой потоком в безвестную бездну.

Москва!

Там стояли тюками дома; в каждом сколько жизни себя запечатали насмерть; Москва – склад тюков, свалень грузов; и кто их протащит?

Да время!

И время, верблюд многогорбый, – влачило. Но он – изнемог и упал на передние ноги: тюки эти рушить; за домом обрушится дом; и Москва станет стаей развалин: когда?

Поскорей!

Извлекались не стоны, – сквозные арфичные звуки; они разрывались разрывчатым кашлем, ее выбивавшим из жизни, окрапленной сверху лавандовым запахом: промзглой капустой воняла «таковская» жизнь; и в ней кашляло время.

Смотрите-ка – кровь на платке!

.....

Василисе Сергевне приснилось: сказали:

– Спасайтесь!

– А что?

– В переулок пришла ядовитая женщина!

И, ужасаясь, сгурьбились в столовой: под рыжею тучей, припав головою к окошку, стояла огромная женщина в синих очках, расширяясь ими до ужаса – в стекла: они – в ко-

ридорик, защелкнувши двери, но – зная, что рядом уже, озаренная белой луной, за стеной стоит, отравляя их серноокислотным дыханием.

С болью тупою проснулась она; за промочкой волос (ее волосы лезли) под бледно с лимонного цвета разводами белых обоев из светлявого кресла задумалась; под сквозным, кружевным туалетом среди несессеров вздыхала; о чем этот сон? Ощущала себя неприятно: как будто ждала, что наступит пора, когда в ясной налаженной жизни откроется: едкое что-то.

И вяла щекой, заваяшкой, все утро; и всем говорила потом:

– Я веду мемуары свои.

Огорченной овцою ходила по комнатам в дезабилье, докисала у окон: висели грустины над ней, как гардины.

.....

Мандро произвел разворох, потому что его появление встретил профессор, как вглаз; и казалось: Мандро уж он видел – когда-то и где-то.

Он выдвинул ящик: сваял рукой сбереженья бумажек; рассыпал на столике шахматы; ставил на доску их.

– Перепукиёрко, черт подери! Расцецёрко хотя бы пришел!

У себя самого сфукнул пешку.

Вдруг встал: да, – такая завара пошла обстоятельств, что – нет: не раскусишь; сплошной ерундак. Кавардачила жизнь:

не нашли, черт дери, квадратуры, а тут, черт дери, кубатура; и щеки надулись, полные формулой; бросился он в промарианье бумажек: бросались в корзинку расчёртки кудрявого почерка; явно: болезнь принесла ему отдых; вся мысль – обновилась; хотел сформулировать принцип не данных движений: и выявил въявь – мнимый мир.

Встал, – и пёр в прямолобом упорстве, шепча вычисленья: от двери до шкафа, от шкафа до двери, замахиваясь на крутых поворотах, как будто себе подтетёху давал.

– Дело ясное; это – открытие: перевернет всю науку...

– Оно – применимо к путям сообщенья...

– К военному делу...

– Морскому!

– И, стало быть, мы, – брат, Ванн-Ванныч...

От шкафа до полки вертелся кубариком.

Вдруг – осенило:

– Еще вот – пронюхают.

Встали тут исчерна-синне волосы; чуялось – водопроводные трубы открылись: Мандро.

– Черт дери!

Он отнесся искосым пригорбышем к двери; дверь запер на ключ; тяжело охая, сел на карачки и, угол ковра отогнувши, он вынул паркетик из пола; под ним оказались листики – все в вычисленьях.

– Здесь, – цело!

Глаза закосились на дверь; и разлет этих глаз выражал

опасенье: с приходом Мандро в его дом ворвалось что-то новое; да, – и Мандро занимал; захотелось проверить на чем-то себя: поглядеть на Мандро:

– Да, вот – надо бы сделать визит, – дело ясное; этого требует вежливость; ну и там – Митенька-с; коли знакомятся дети, родители – ну там – наносят визиты.

Уж каряя пёрегарь дня просто сфукнулась: в ночь черноротую.

3

В злой, снеговой завертяй, поднимающий жути и муть, – с пересвистами, с з́авизгом, – выступили: угол дома, литая решетка (железные пики сцепились железною лапкою); и – дерева, раскаракульки; снежная гривина, воздух чеснув, отмельтешила; каменный, серо-ореховый дом, отступя от решетки – сложился себя повторявшим квадратом и крупные пуприны взнес: межоконных полос; точно шмякнули сбитыми сливками; наерундили гирлянд известковых из вылеплин и вылеплин: груш, виноградин.

Ореховый торт, а не дом!

Точно в торте, сидел Задопятов.

За стеклами окон второго этажика морщились сборочки крапчатых штор с очконосою дамой под ними, едва выяснявшейся прблизнями седосерых волос, отдающих и в зелень, и в желчь; поднимались два синих очка из-за стекол, – огром-

ных до ужаса; и – все рассеялось; серо-ореховый дом, точно рушась темневшими окнами в мути и в жути, свой угол показывал из пересвистов и завизгов; скверик – исчез; подворотни – развылились; заборы ломились.

И дуем неслись раздымочки из труб.

И хотелось ждать, пока снова не станет все ясно, пока не прочертится серо-ореховый дом из деревьев провалами окон, пока из окна не проглянут два синих очка.

.....

Анна Павловна там Задопятова, круглоголовая, тучная дама являлась в окошках с огромною лейкой в руке: поливала болезненный крокус; была далека от словесности; женщина – строгая, твердая, честная; предпочитала И. И. и П. И. Петрункевичей прочим кадетам; ее называли железной пятой; про нее отозвался когда-то усерднейший читатель Никиты Васильича, – Ольдов, покойник:

Что за дичь! Бегут под женский бич
Даже львы, а не одни овны...
И Никита наш Васильевич
Под пятой у Анны Павловны!
Будь ты бритт, москвич, иль костромич, —
Знай, ты должен с кряхтом крест нести,
Коль года судьбой сплетенный бич
Взвит над задом знаменитости!

Все выделялась лицом, прокрасневшим мозольчатой ко-

жей, в обветрине, взростком губы и вторым подбородком, окрапленным волосом; на голове волоса – гладкий свалень из зелени с желчью, прижатый к затылку нашлѣпкой: оттуда валились железные шпильки – на пол, на ковры; поража-ло блистание синих, суровых очков вместо глаз; ее платье из серенькой, реденькой, рябенькой ткани, с косою прониткой, душило весьма выпиравшие формы; носила она башмаки без шнуровки, вздевая их на ногу с кряхтом (два пальца в ушко).

И пристукивала каблуком по паркету, хромя немного (была – кривоножка), рукой опираясь на твердую трость с наконечником из гуттаперчи; держала запас «Пипифакса», который она покупала у Кѣлера, твердо следя, чтоб везде было чисто: где нужно, повесила надпись: «Прошу содержать в чистоте»; и струею горячего пара из клопоморителя дезинфицировала переплеты двуспальной постели, хотя клопов не было; раз в две недели бывала в собрании «О бщества распространенья технических знаний меж женщин».

И часто бывала на «Курсах для кройки».

Годами страдала она кровотечениями из носу; страдала одышкою, вспыхивая в это время до корня волос и кровяность показывая подбородка второго, слегка опушенного реденьким крапом волос; в представленьи Никиты Васильевича Задопятова образ почтенной матроны связался в последние дни с королевой из драмочки «Смерть Тентажиля»; – не ясно: открыла убежище: «Ясли младенца» она.

Королева ж из драмочки «С мерть Тентажиля» – таскала

младенцев.

В последнее время суровее стала она: кровотеча замучила; и без того молчаливая, – стала еще молчаливей; а строгость в глазенках, смотревших на мужа, – утроилась, учетверилась; тайлось жестокое что-то, как месть; без того ее губы кривились оттенком сарказма, когда с ней делился Никита Васильевич воспоминаньями, мыслями вслух об эссе, замышляемом им.

Разговоры с женою привык называть он заметками:

– Это заметки мои на полях, так сказать, – говорил он, бывало, за завтраком, кокая яйца и их выливая в стакан.

А теперь обрывала она разговоры его, будто что-то тая; и поля неразрезанной книги глупейше пустели: Никита Васильевич робко косился; вполне упирался в квадратное это молчанье, ворча про себя:

– Запертой комод с ценностями.

Ключ – закинут.

Молчала зловеще и едко сверлила глазами.

Давно подбиралась она к его ящичку с письмами; тщательно заперт был он много лет; удивлялась, что – заперт; все прочее – было открыто ей; знала, где что; приводила в порядок бумаги его; в этом ящичке вот – замечанья, наброски при чтеньи Мюссе, афоризмы о Чбсере, в том же – конспект курса лекций и папка с приветствиями разным деятелям, сочиненными им; между прочим, приветствие Франсу, Уэльсу и Полю Буае, проживавшему в бытность в Москве в этих

комнатах; литература предмета; один только ящик был заперт.

Ни разу его не оставил открытым.

И крепили сомненья в ней, боли; годами они притаились под стеклами синих очков; но – крепились; теперь они встали: пророслою злобой.

4

Никита Васильич сидел, перекутав колени вигоневым пледом: строчил свой «эссе», подложив под себя неуклюжую ногу, мотаясь пенснейною лентой и веей волос; надувался, чтоб выпустить воздух над строчками фразы; ее перечел, зачеркнул; и, откинув вигоневый плед, он по вздошью, похлопал себя, попривстал, – потоптался ногами по коврику; засеменял каракатицей в угол, к плевальнице: сплюнуть.

И – сплюнул.

Во всей обстановке, его окружающей, нюхалось затхлое что-то.

Здесь вѣтрили форточки; синий скрипел вентилятор, и денно, и ночью; но выветрить припаха все не могли; и дохлятиной сладкой воняло чуть-чуть, – не то трупом, не то мятым пряником.

Грустно оглядывал – то же: все то же!

Большой кабинетище с окнами в крапчатых шторах, со стенами в крапчатых, чуть желтоватых обоях; повсюду –

крап черный; и – черные кресла; на них – полосатого канифаса чехлы, – желто-красные, мятые, с чуть темноватыми пятнами, – след от голов, прижимавшихся к спиночкам (головы мылись не часто в профессорском круге); шкафы, сче- том пять, с завитыми, резными колонками красного дерева распространяли отчетливо запахи старой рояли.

И – бюсты: Мольера, Грановского, Ибсена.

Что еще?

Крокус болезненный, не поливаемый Анною Павловной нынче: сидела в шезлонг у окна; здесь, отсюда она изучала годами в окне изузорины фриза: дантиклы столбов розова- того дома напротив.

Никита Васильич уселся писать, провисая пенснейною лентою и выводя расцарапочки, напоминающие паучиные лапки; себя, откровенно сказать, преужасно он чувствовал в мыслях: не дома устроился, как в меблированных комна- тах, в них; в той – сегодня; в той – завтра; он сам сознавал как-то глухо (почти в подсознании): тома его – просто гости- ница: ряд коридоров с дверями, ведущими в комнаты; эта – Кареева; эта – Грановского; Джаншиев, Гольцев, Якушкин, Мачтет, Алексей Веселовский имели еще свои комнаты; он же имел – только собственный сор; поживет и уйдет, насо- рив.

Тут он встал.

И, разгуливая бормотуном разволосым, себе самому ди- рижировал рукой пера: над листом расцарапок; был в бархат-

ной, черной, просторной толстовке, весьма оттенявшей седины его.

– Так поднимем же, – он бормотал сам с собой, – фуфу-фу... свои головы...

– Выше...

– Не поднятым гордо челом...

– Фу, фуфу...

– Понесем нашу скорбь.

Сочинял он фразистости.

– Что вы бормочете там? – из шезлонга спросила его Анна Павловна.

Нехотя так отозвался:

– Пишу... сочиняю...

– И – ну? – усмехнулась она.

Положила на стол перед собою два синих суровых очка; и глаз ученые, строгие, пристальным прбиском выбежали из-за нервных приморгов.

– Пишу, – расправлял он клокастый мотальник («мотальником» старым она называла седины его), – что в пространствах российских охватывает беспредельность и веет надеждой на лучшее будущее; так подыдем же – я говорю – свои головы выше, – прочел он последнюю фразу, – и с гордым челом понесем...

Тут брошюрное мнение он положил перед собой.

– Это ж мненье не ваше...

– Как так?

– Да Брандес его высказал.

Рот разорвавши, ударилась в пазевни.

Он ухватился за выжелчень уса, весьма недовольный ее замечаньем; смолчал; но во рту ощутилась безвкусица: задребеденилось как-то; он сам понимал: ничего, ничего не создал, четверть века хвалясь, что схватил он быка за рога, что медведя поймал:

– Дай его!

– Не идет.

– Сам иди!

– Не пускает.

Никиту Васильича Джаншиев, Гольцев, Кареев, Якушкин поймали, пока он кричал из журналов, что справился с ними; поверили; даже писали об этом; писали о нем в иностранных журналах: Лежé, де-Вогюэ и Буайе; но он мыслил двенадцатиперстной кишкой, а не мозгом; продукт межвременья – цедил свои мысли часами – по каплям: мензурку.

И их разводил просто бочками фраз.

Он уткнулся в статью и казался себе самому страсотерпцем; пыхтел; вот, украдкой взглянув на часы, он решил, что – пора; неожиданно засеменял каракатицей, чтобы покинуть пропахлую комнату.

– Что вы? Куда вы?

И – капнула шпилькою.

– На заседание.

Едко скривилась:

– Оно не сегодня, а в пятницу.

Тут лишь заметивши, что позабыл он футляр от пенсне, он вернулся к столу, чтоб увидеть, как всем подбородком, вдавившимся в шею, ему показала второй подбородок; ведь – ужас: глядели очки – не глаза; два громадных, почти черно-синих очка стеклянено без всякого выраженья.

Что было под ними?

– Не это, а то заседание.

Она усмехнулась: обидно, жестоко и мстительно:

– Знаю, какие у вас заседания... Быть может, с Агашею вы заседаете там...

Не оспаривал этот смешочек, но око – загасло; и, сжав кулаковину, снова разжал: поклопочить повисшее грустно кудло (с него перхоти сыпались); и провопив двумя оками, каратышом потащился вторично к плевальнице: сплюнуть.

И – сплюнул.

– Какая Агаша! Агаша! – служила; и все тут.

– Служила еще неизвестно чем.

– Сами ж держали ее... И притом это было лет десять назад.

Он боялся ее лютой ревности; пал в свое кресло: и пал в закатай кудрявые фраз; тут возъятием глаз над мешками, подобными мощным отаям свечным, он откинулся, великолепно ладони воздев над собой, в этой позе напомнивши Аира, которого он очертил лет уж тридцать назад в обозренье журнала «Артист».

И покинул пропахлую комнату.

.....

Вскрыла: подобранным ключиком: ай! И – припадок удушья; едва с собой справилась.

Первая мысль: ей, как Норе, уехать из дома; вторая: как Элле Рентхейм, здесь остаться, чтоб мстить. Элле, или?..

Запуталась в Ибсене.

В ящике были: во-первых, одиннадцать стихотворений Никиты Васильевича, адресованных некоей «Сильфочке»; был и двенадцатый, «Сильфочке» же посвященный игривый стишочек (не стала читать): прочитала четыре строки; вот они:

Захотелось мне немножко

Черной самородинки:

И целую я у крошки, —

Усик черной родинки.

Во-вторых: извлекла она ряд продушенных записочек, в мило наивных лазурных и в томно-лиловых конвертах: признанья в любви, обещанья свидания, воспоминанья о ласках; и тоже – стишочки.

Как семенем, сея

Надеждой драгою, —

Ты шествуешь, вея

Седую брадою.

Я сердцем откроюсь
Любовному зною;
В седины зарююсь
Твои: головою.

За подписью «Сильфа».

Событие это стряслось, как удар.

5

Вот он вышел в переднюю с гладко расчесанной белой кудреей волос, в сюртуке; свою ногу протягивал в каменный ботик.

Прислуга стояла с распахнутой шубой.

Из двери просунулась в спину ему голова Анны Павловны блеклой свалышиной желто-зеленых волос, расплывшись щеками, ушами: она – почернела (взлив крови к виску); громко капнула на пол железною шпилькою; друг перед другом стояли с таким напряжением, как будто они ожидали, кто первый повалится вниз головою в открытую падину.

Выбежал.

Ропотень креп; кто-то крышу ломал; и – бамбанила: вы́вни ветров! Улыбнулося небо к закату: прозором лазоревым; туча разинулась солнышком; день стал сиянским денечком: на миг; искроигрием лёдени бросились в нос все предметы.

Оглядывал вяло Площадку: он жил на Площадке (в Москве есть Площадки: Собачья Площадка, Телячья Пло-

щадка).

Вот – скверик: за сквериком – домик, сиреневый, белоколонный (ампир); крыша – легким овалом, скорей – полукуполом; наискось – серый, просерый забор; строя угол, оливковый, семиэтажный домина пространство обламывал кубами выступов в пять этажей, угрожающих пасть на затылок прохожего; дом вырывался в соседний проулок, давимый вагатагой таких же кофейных, песочных и серых домов с шестигранниками подубашен и с кубами выступов; издали, в нише, воздвигнутый рыцарь копья лезвием в пламень каменный змея разил над карнизами восьмиэтажного куба.

Громады – не зданья.

В одном только месте зияла пробоина – кучечка слепленных домиков: ветхий, совсем пересерый, гнилой, между каменным синим и каменным же клоповатого цвета; все трое – о двух этажах; к ним прижался четвертый, разрозовый; и – в полтора этажа; вы представьте: над ними он высился; эту пробоину между семью и пятью этажами пора бы на слом; да владельцы ломили за место огромную сумму, чтоб портить проулок.

Нелепости!

Из пересерой гнилятины веснами окна бросали мелодии Регера, Брамса и Брукнера, а из домины соседней, обложенной плитами, великолепным подъездом, отделанным в строгом и северном стиле, с почтенным швейцаром и с лифтом – старательных хор выводил «Свете тихий» Бортнянского;

происходили здесь спевки любительских хоров, воскресными днями дающих концерты в коричневой церкви Кузьмина-Копытцах.

Распутин, проездом бывая в Москве, посещал этот дом; Манасевич-Мануйлов вальсировал раз; и, почтив посещением, просфорочку скушал здесь Саблер.

Стояли тюками дома; в них себя запечатали скóлькие – на́смерть; Москва – склад тюков; свалень грузов.

– Извозчик, – Петровский бульвар!

Отворилась в ореховом домике дверь: Анна Павловна вышла в своем ватерпруфе из черного плиса, без меха, в пушащейся шапке, повязанной черным платком шерстяным; опиралась рукою на трость; ей взмахнув, подзывала угольные сани; в них села, показывая на сутулую спину катившегося впереди Задопятова:

– Нуте, за барином этим, извозчик!

Арбат: многоногая здесь человечина вшаркалась; над многоверхой Москвой неслись тучи; Никита Васильевич думал: уже – Рождество на носу; остается закончить семестрик.

Арбатская площадь!

Народу напёрло; и все – в одно место; сроилися; городской посредине утряхивал пьяного парня в пролетку; и – тер ему уши; закрывшись плащом, нахлобучил огромную шляпу и рот разрывал, указуя на площадь, – испанец; с плаката «Кино»; под ним дама влачилась мехами; и шла человечина – путники, свертчики – в яснь, в светосверки снежино-

чек; шурили взоры; сверкательно скалились вывески: «Келер» и «Бланк».

Город – с искрой.

Никитский бульвар!

Задопятов – москвич, – знал дома; вот он, – памятный, бывший Талызина дом; после – бывший графини Толстой; наконец – Шереметева; Гоголь в нем мучился: литературные воспоминания встали пред взором.

Припомнился тост, знаменитый, им сказанный; тост, облетевший Москву и вошедший в том первый его сочинений; Тургенев пожал ему руку за тост; фыркнул Фет; в «Гражданине» пустил фельетон князь Мещерский; Катков – промолчал; а старик Григорович с Украины приветствовал; Кéкарева, Василиса Сергевна, еще гимназисточка, тост переписанный перечитавши, – влюбилась; открылась – вся будущность: двери редакций, домов; понедельник – Усовых, вторник – Иванюковых с «максимковалевскими» спичами, среды – Олсуфьевых (с Львом Николаичем), Писемского – четверги, Веселовского – пятницы (с Янжулом, Носом, Шенроком, Якушкиным и с Николай Ильичем Стороженко), воскресник живой – Николай Ильича, на котором Иванов с Иваном Андреевичем Линниченко теряли от спору свои голоса, обсуждая дела «Комитета», садившего Чехова в лужу.

Да – время!

Он сам в этом времени, лев молодой, обрамленный курчавою гривой волос, еще черных, развеивал лозунги – фигою

в нос – Сторожень; и – фигою в нос – Веселовскому; много прошло перед ним здесь мальчат; Гершензоны, Шулятиковы, Столбиченки и Фричи толпой здесь внимали, смутясь, его «песне святой»; здесь считался «золотыми устами» он, – фондом идей: и монетою звонкой идейных обменов.

Теперь называли его (ну, хотя б лигатурой!): бумажкой... которая... служит... – молчание!

Либерализм лимонадный, прогоркнувши, чистит желудок не хуже касторки; и вот – он прогорк лет шестнадцать назад; и либретто из мыслей Никиты Васильевича уже пелось Столыпинам года четыре назад, как теперь распевалось оно Протопоповым; вместе с последним оно должно было собой увенчать петроградские крыши, строча пулеметами, чтобы, проклявши Россию, окончиться стрекотом фраз: из Парижа и Праги; так кариатидою стал он – ливрейным лакеем правительства в позе протеста – с подъезда Кадетского корпуса.

Вот он, старик, проезжая по старым местам, направляется к старому месту – раз в месяц (с пяти, с четырех – до семи, до восьми): уже двадцать пять лет (проститутка прошла; и за нею – бобровый поклонник); да, да, – что прикажете!

Это – идейная близость.

Уж высился многоугольными башнями замковый дом от начала Тверского бульвара: Михаил Васильич Сабашников в прошлом году наотрез отказался принять его книгу (печатает молокососов каких-то); Никита Васильевич ехал с поджатой губою под башнями: здесь помещалось издательство.

Дом тот сгорел.

Задопятов смотрел сквозь бульвар, над которым в немом межесвете мельчили охлопочки серые; мальчик кидался там снежными ляпками; ветер поднялся; и шла – рвака листьев; едва прояснились дома Поляковых и дом Голохвастова; Герцен в нем жил; вероятно, гулял на бульваре; гулял – Чаадаев, наверное; может быть, – с Пушкиным; в пушкиноведеньи был Задопятов нетверд: он оставил открытым вопрос, бросив взгляды на дом, где когда-то квартиру держал бонапартовский маршал, – за домом, известным и вам, полицмейстерским, выстроенным Кологривовым после пожара Московского бывший Курчагина дом: здесь когда-то тянулись владенья – дома и сады – Солового.

Сгорели!

Страстной монастырь!

Приближался к месту свидания, так сказать, – он запыхтел; несмотря на преклонные годы, он чувствовал так же себя: четверть века испытывал то же волнение – именно с этого места; прилив беспокойства давал себя знать – совершенно естественный, если принять во вниманье: его ожидавшая дама – сердечная, честная личность; и – прочее, прочее...

Гм!..

Неприличная сцена – налево; и – нос завернул он направо; и здесь – неприличие: «улица», – то есть, все то, что стоит «улица». Где ж «от – личное»? Там, где нас нет!

А из саночек, быстро летевших за ним, будто падало в

спину ему чье-то толстое тело; а город лиловый, черновы́й, стал смяткою: чёрней и светов.

6

Хозяйка сдаваемой комнаты ухо свое приложила к дверям и – услышала:

– Да...

– У Кареева сказано ведь – уф-уф-уф. – и диван затрещал, – что идеи прогресса сияют звездой путеводной, как я выражаюсь, векам и народам...

– Вы это же выразили в «Идеалах гуманности», – вяло сказал женский голос.

– Но я утверждаю...

– Скажу а пропóб, – перебил женский голос, – когда Миллюков вам писал из Болгарии...

– То я ответил, как Павел Владимирович, указав на заметку Чупрова...

– Которую Гольцев завез...

– К Стороженкам...

– И я говорю то же самое, – что: когда вам напи-сал Миллюков...

Тут закракал корсет.

Тут хозяйка сдаваемой комнаты глаз приложила к прощелку замочному и – увидала: ай-ай-ай-ай!

Ай!

Дама лет сорока пяти, или пятидесяти, с заплеснелым лицом, но с подкрасом губы свою грудь заголила; сидела с невкусицей этой пред зеркалом: вовсе без платья, в корсетике с серо-голубенькою оторочкой, в юбчонке короткой и шелковой, цвета «фейль-морт»; платье цвета тайфуна с волной было сброшено на канапе серо-красное, с прожелтью; на канапе же Никита Васильевич, – только представьте!

Никита Васильевич сел, раскорячившись, – без сюртука, верхних брюк, без ботинок; и стаскивал с кряхтом кальсонину белую с очень невкусного цвета ноги перед дамой, деляся с ней фразой, написанной только что дома:

– Приходится – уф – *chere amie*¹², претерпеть все тяготы обставшей нас прозы...

Стажил, – и стоял перед ней: голоногий.

Почтенная дама, сконфузившись, пересекала рыжеющий коврик, спеша за постельную ширмочку, – в юбочке, из-под которой торчали две палочки (ножки без ляжек) в сквозных темно-синих чулках; из-за ширмочки встал драматический голос ее, перебивши некстати весьма излишня прискорбного старца:

– Здесь запах...

– Какой?

– Не скажу, чтобы благоуханный.

Пошлепав губами, отрезал: броском:

– Пахнет штями.

¹² Дорогой друг (*фр.*).

– Весьма...

И действительно: промзглой капустой несло.

Шлепал пятками к ширмочке; вздохи теперь раздавались оттуда и – брыки:

– Миляшенька...

– Сильфочка...

– Ах, да ах, – нет...

Наступило молчание: скрипнула громко пружина.

.....

В проходе двора на бульвар, прижималась к воротам до-родная дама в пушащейся шапке, повязанной черным платком, опираясь рукою о трость; и глядели на лепень снежиночек два черно-синих очка безо всякого смысла.

Что было под ними?

.....

Никита Васильевич был рыцарь чести; и тайны своей он не выдал: молчал четверть века; и мы соблюдем ее: имя и отчество дамы – секрет, а тем паче – фамилия; словом – прекрасная, честная, светлая личность! Она появилась опять, расправляя морщуху лица:

– Скажу я, – надоело мне...

Вышел, пропузаясь, почтеннейший старчище:

– В автократическом – уф – государстве жить трудно...

– Да – нет: я о муже...

– Среда вас заела...

– Отсутствие ярких, общественных импульсов...

И приласкалась, схватись за мизинец:

– Уедемте...

И – помочилась: глазами.

Он – руку отдернул с испугом, подумав, что палец ему лобызнет: помычал, побурчал животом; и покрыл этот урч завиваемой фразой:

– Увы, – как сказал я сегодня, – поднимем же головы выше и с гордо воздетым челом понесем...

Перебила:

– Подайте бандо.

– Понесем, говорю...

– Пудры...

– Скорбь...

Перебила:

– Бежимте!..

Но – вылупил око:

– Жена – не башмак ведь: наденешь, – не скинешь...

Вскочил.

И кальсоны свои натянуть торопился, как будто его не видала она без кальсон; с кряхтом ногу просунул в сюртучную брюку; она ж, достав зеркальце из полосатого сака, припудрилась; слышалось снова:

– Кареев!..

– Чупров!

Гарцевали парадом своих убеждений: вставляли сваянные

годы, почти что годов размазня; размазней его мысли питалась она, лишь читая труды Задопятова: третий, второй и четвертый.

Том первый пропал.

– Ну – пора...

– Вы куда же?

– На вечер «Свободной Эстетики».

.....

Толстая дама взлив крови к виску ощутила, когда со двора, чуть ее не задев, Задопятов прошел; и за ним сорокапятiletняя дама.

Ах, вот она, – «Сильфочка»!

Юбка отцвечивала желто-рыжим тайфуном с волной; под густую вуалью, усеянной смурими мушками, виделись все же: черничного цвета глаза и подкрашенный ротик брусничного цвета; ей в спину – ведь ужас – глядели; очки, – не глаза.

Два громадных, почти черно-синих очка стеклянело без всякого там выражения.

7

Вечер «Свободной Эстетики»!

Кто-то заметил:

– Пришел Задопятов.

– Где, где?

Задопятов, исполненный взорами, так белоглаво рыхлея

и морща свой лобик, прекнижисто выглядел: видность показывая еле заметным взмаханьем пенсне; на усах оставался взмока от сырости; перетянувшись и выдавившись толстением зада, тащился, ведомый Рачинским, к огромному креслу почетному, чтоб протянуть свою руку Гедвиге Сергевне Зеланкиной, корреспондентке «Журналь Паризье н».

– Укушу вас за локоть, – привзвизгнула громко девица-кривляка поэту-кривляке, прибавив, что ищет она великана, которого нет, но который блуждает меж облак в «Симфонии» Белого.

И Задопятов подумал:

– Куда я попал?

Но, заметивши, что Доброносов, казанский профессор словесности – здесь, успокоился быстро.

Никита Васильевич очень готовился сделать в «Эстетике» некий докладик о драмочке «Смерть Тен-тажиля» (ведь вот на какие теперь переходил темы); должен с «Эстетикой», что ни поделайте, был он поддерживать связь: не то «Русская Мысль» станет явно теснить его, – «Русская Мысль», где царил он при Гольцеве.

Ах, – этот Брюсов, и, ах, – этот Струве!

Взнесенье пенсне на обиженный нос показало, что силится он отбарахтаться мыслью от этих назойливых ассоциаций о Брюсове; Брюсова крепко продергивал он в «Русской Мысли»; но Брюсов теперь редактировал «Русскую Мысль».

И подумалось:

– Надо бы – да: постараться бы, – как-нибудь... Надо бы с Брюсовым...

Щурил рассеянно глаз свой на даму: прическа с пронизами бусинок, пепелоцветные волосы, родинка, очи с расщурями; платье – гриперль; возраст – тоже: гри- перль; говорила она, – ей не нравится все то, что есть; и ей нравится то, чего нет; да и то – не совсем; говорила она кавалерику; и – прерасеянно тыкался он моргощурым, дерглявым лицом, собирая на лбу драматический морщень и вновь распуская: он ерзал и задом, и мыслями: ни одного прямолетного слова! Слова износились на нем; предлагал многогранники мысли своей; перегранивал гранник в безгранники; не удивлялась; своим переборчивым взглядом смотрела она беззадорно и кисло на юношу с высмехом (этот пришел позлоумить), бойчившего взглядом.

Поляк русопятствовал там с полякующим русским; и кто-то прошел каменистым и твердым лицом; стал с улыбкою в каменной позе, оправивши дымчато-голубованные волосы с просизью:

– Это – Июличев!

Брюсов!

Ему Задопятов присахарил взглядом (но взгляд вышел с прокислом) и протянул толстопалую руку; в душе же гнезвился еще подсознательный страх, что его могут выгнать отсюда за некий давнишний «эссе» под заглавьем: «Убогий ломака».

Но Брюсов спросил о трудах.

– Я пишу популярную книгу.

И око – какое – блеснуло.

И, важно пропятясь подвздошьем и задом, прошелся с великим поэтом пред всеми купчихами; кисти же рук, грациозно приподнятых четким расставом локтей, расщемили пенсне и внесли на отвислину носа.

– Вы что же, директорствуете? – пыталось сострить волюющее око его, сделав быстрый прищур безреснитчатым веком.

– Я – нет, – Брюсов мило скосился, – в «Кружке» я скорее заведу кухню.

В ответ Задопятов лишь выбрюшил урч.

Тут вторично Рачинский с подскоком, с подсосом, подфыкнув дымком папиросины в нос, Задопятова стал проводить на почетное место; навстречу уже поднимались: писатель, давно не читаемый, Фантыш-Заленский и автор романа «Растерзанный фурией» Петр Алексеич Воданов.

– Позвольте представить, – сказала какая-то дама, – вот это – поэт: поэт Балк...

– Мозгопятов, – запнулась она, указуя лорнетиком на Задопятова.

Понял: она – не читала его; и – надулся; и – бросило в пот; тяжело крякая, сел он; и око – какое – блеснуло.

Волчок из людей расступился; и вот из него Трояновский таким гогель-могелем выскочил прытко; открыть заседание:

купчихи, развеяв парчовые трены, прошли в первый ряд; и поэтик загибистым станом поднялся: пропеть свои строчки; слепить свои жесты; движением нервным и женственным быстро поправил изысканно взвислый мохор; и прочел – с покусительством; тотчас же критик Сафтеев, вполне завиральный, вполне либеральный, мужчина с крепчайшей заваркою слов и с причмоком в губах говорил, модулируя мысли (мужчина полончивый): вымозаичивал реплику.

Словом – словесная взмутка!

Сидел Задопятов, надменно зажав свои губы, такой кривопузой, такой кривозадой развалиной, чувствуя сверб в геморроидном месте; он мучился, ерзая.

Вдруг он – поднялся, чтоб выразить что-то: стояло само прорицалище истин, зажавши курсивом ресницы:

– Позвольте мне, – вымедлил, – милостивые – гм-гм – государыни и...

– ...государи, – пустил он фонтанисто, – высказать в сем уважаемом месте, – гм-гм... свою мысль...

И споткнулся, вперившийся в даму: не слушает!

– мысль...

Кто-то встал и пошел прочь, оправивши волосы...

– ...высказанную в собраньи моих сочинений; а именно...

И – ай – девица-кривляка поэта-кривляку схватила зубами – за локоть!..

– ...а именно...

Тут Задопятов взбурчал животом; покрывая бурчание

вновь завиваемой фразой, отметил, что «именно»:

– ...именно: произведенья изящной словесности складываются под явным влияньем идеи прогресса, которая...

Тут оснастил свое слово метафорой:

– ...светит звездой путеводной векам и народам.

И – далее, далее; долго слюнявил; и кончил словами:

– Позвольте ж замкнуть в поэтическом образе мысль мою.

Лопнувши оком, прочел он:

Приветствует пресса

Могучим «ура» —

Идеи прогресса,

Идеи добра!

Дослепил!

И, себя оборвавши, оглядывал молча собрание, алча похвал; и – закид головы выражал самолюбие: все его бросили; только доцент Роденталов почтительно жал ему руку, пока композитор Июличев что-то играл; встал; подавши два пальца, пошел из «Эстетики», где не почтили прискорбного старца, с таким озабоченным видом, как будто под лобиком производил перманентное книготиснение (попросту там дребеденилось что-то).

Так он – отставной генерал, отставной либерал, – все таскался в идейные пастбища.

Как он до этакой жизни дошел!

Перерыв: и – волчок из людей завертелся.

Какая-то сверкунцовка сплошная, показывая волоса розоватые – в прожелтень, глядя серьгой искрогранной, прошла с кавалером в визитке грибискр, просветленным, надменным лицом; и крупной бриллиантовой пырснула, всем состояньем играя из облачка брюссельских кружев; колец переискры плеснулись и в зелень, и в желчь с явным отсверком – в красень, в пурнуроворозовость, зажидневающую розоватой лиловостью с синеньким протсверком; ей кавалер мадригалил, она – не ответила; но поглядели в глаза ему выблиски крупной серьги.

И, играя локтями, – прошел балансером за нею: приятный, опрятный, приветливый, вежливый: Онченко-Дробченко, центрифугист.

И за ними прошел бальзамический запах.

8

Когда меж Никитой Васильевичем и супругою, Анною Павловною, бывали разгласья, Никита Васильевич кушал один, в кабинете, похакивая в кулачок над пуком расцарапочек; даже за пищей потел он трудом многотомным своим; вообще – неудобства; любил, например, род варенья без косточек, – смокву; и – не было смоквы; и чай подавала прислуга, Таташа, холодным, а хлеб – прочерствелым.

Недавно еще он откушал ягнячью котлетку один; а «она» – затворилась: с чего? Вообще как-то стала коситься очком;

и хотелось бы высказать:

– Глаз у вас лих!

А ведь глаза-то не было вовсе: косились очки: и – страдал от очков, потому что невидимый глаз его мучил; вставляли подстрочные смыслы: без всякого смысла; потом – объяснялось: она – затворялась; своей тишиной изводила, за дверью присев; а в сознании стояла – сплошным несмолкаемым гаммом.

Невнятица!

Так вот сидел он в своем кабинете недавно еще, вспоминая с тоской, как ему она бросила:

– Были – модисточки!

– Жили с Агашею!..

Вот и сегодня, когда собирался он ехать, в переднюю выснулась, и он понял: «Агаша» бродила по всем направлениям в извилинах этого мозга.

Боялся ее лютой ревности он.

И не раз, перестроивши лицоочертанье свое в относительно сносное, с помощью зеркала, к ней коридором со свечкой ходил; и у двери, ее вопрошая, пытался с ней смолвиться; но отвечала она только всхрапами (ноздри со всхрапами); после того за стеной становилось, – и тише, и лише.

Со свечкой обратно бежал.

Да, себя, – откровенно сказать, – преужасно он чувствовал: этот провал с выступленьем в «Свободной Эстетике» был лишь удар, довершающий, бьющий его по карману; его

самолюбие было уж бито не раз; тут же било, что «Русская Мысль», то есть десять печатных листов, – уплывала.

Две тысячи!

.....

Уж не мело.

Он – качался в сон носом – с извозчика; время – жерёлок из черных шарниц, друг от друга отставленных белыми днями, шарами; они – уменьшались; в шарике белом слагалась Телячья Площадка, – уж многое множество раз; он сидел в центре шарика – многое множество раз; и потом шарик лопался – многое множество раз.

В черном шаре, – как есть ничего: день за днем – уменьшался; день – тмился; день – тень.

Тереньтенькала вывеска с ветром.

Подбросило.

День ото дня – увеличивалось море ночи; раскачивалась неизвестными мраками старая шлюпка, в которой он плыл (и которую он называл своим «Арго») за солнцем; а солнце, «Руно Золотое», закатывалось неизвестными мраками, чтоб, раскачав его, выбросить.

Снова подбросился.

– Тише, извозчик!

Очнулся.

Фонарь, – и стена белобокого дома, разрезанная черной шляпой и черной раскосминой, наискось; кто-то, огромный

и темный, бросался под небо с земли.

Кто? С чего?

Понял: сам бросил тень, – от себя, от себя самого улетал по стене белобокого дома; скосясь, расширясь, серея; опять пророждал под ногами себя самого, теневого, – кидаться под небо космою клокастою.

Многое множество раз: отставной либерал, тщетно силится броситься в двери редакций, где юность царит, но сплошное ничто, это черное, Брюсов, бросает обратно; и – да: многозубое время – изгрызло: всю душу; и – грызло лицо; многозубое время грызет даже камни.

Дом – каменный ком, – проступил угрожающим, серо-ореховым боком с Телячьей Площадки: и дверью, как трещиной, скалился:

– Стой!

Он старался, как видно, минуя подъезда, лизнувши по боку ореховому черным контуром, вспрыгнуть на крышу, чтоб там, тарарахнув пятой теновой по железному желобу (над головой Анны Павловны), – фукнуть в ничто; дом, сугливиши, углом срезал голову тени; огромное что-то тишайше на боке ореховом в землю обрушилось.

Съел его дом черноротый – подъездом: а, может быть, съел – Анной Павловной?

– Барыня – что?

– Затворилась...

Снял шубу; пошел коридором – к себе в кабинет; и бросил двуразличные взгляды: одним глазом – в стены; другим – себе под ноги: в пол; впереди – серо-синие стены, из мглы протупевшие зло; коридор был коленчатый, с поворотом, где на часах, наготове расхлопнуться – дверь; и хотя Анна Павловна, собственно говоря, начиналась за дверью, – казалось, что чем-то впечаталась в дверь: была дверью, следившей за ходом людей в коридоре, – за дверью, в переднюю; и – за его кабинетную дверь; а эта последняя передавала не этой, а той, за которой засела «она», – все, что делать изволил Никита Васильевич, – даже когда запирался; противная дверь; и за нею – такая весьма неприятная женщина: с явным умением сочиться в замочную щель.

Ядовитая женщина!

Но, проходя мимо двери, как мимо звериного логова, методично состроил одними губами улыбку в то время, как глаз испугался; и так с междометием, совсем не с лицом, он на цыпочках крался к себе коридором коленчатым, взявшись за ручку дверную (не «эту», а ту, кабинетную); в спину зияла дыра коридора, как яма.

И – дверь с напечатанным ликом глядела: внимательно.

Если б не это, зажалась бы пальцы в кулак; все же дрогнули, чтобы... зажаться; как будто бы знали, как будто бы знал он и сам, что его ожидает в годах лишь утонченность пытки: и пилы, и сверла; что будет вот так он, кряхтя, пробираться; и – знать: в глубине коридора присела толстуха, чтоб гнаться —

– в двенадцать часов по ночам —

– коридорами лет!

.....

Он вошел в кабинетище.

Выдохнул воздух, покрылся морщиною, свечку зажег; и проснулся: слышал: «она» проходила.

«Она» проходила со свечкой в руке из весьма неотложного места; за ней семенил с мелизной во всех жестиках: маленький, быстренький, дрябленький.

– Аннушка!

– Аннушка!!

– Аннушка!!!

Сторожевая же дверь, с напечатанным ликом, у самого носа с размаху – «бабац» ему в лоб; «щелк», – и звуком ключа по подвздошью как дернет!

– Да, значит серьезно; с чего бы?

Рот стал восклицательный знак; око – знак вопросительный; жест – двоеточие; пламя свечи – запятая; и все же у двери он медлил; стучался под дверь; и – перевернулся: обратно пошел; и пришел, и зарылся руками в свои мелкоструй-

ные кудри; работа не шла; соструивши от носа пенснейную ленту, нагнулся, дымя сединами, прожелчиной уса «к великим народам» (он это прочел у себя самого); стало как-то прохладно и пагубно.

Будто в квартире открылся падеж.

Он вперился все в те же дантиклы столбов за окном; их фонарь освещал; уходили их контуры в тлительной сини: смешались со тьмою.

– Да, это моральный давеж на меня...

Над маракушками завозился; и руки с подпухом больных склеротических жил заходили на кресельных ручках, когда его взгляд пал на ящик, всегда запертой; он не слышал, как кто-то пошел, припадая на ногу, пустым коридором, – стучал каблуком и стучал наконечником трости; вниманье связалось ящиком, чуть недодвинутым: стало быть, – отперт?

И лику не стало:

– Так вот оно что?

Каблуки и трость – шелкали.

Выдвинул ящик, а ящик был пуст: письма «Силь-фочки» – вынуты! Толстая лапа просунулась из-за плеча: над плечом:

– Хо!

– Хо!

– Ищите?

– Хо!

За окошками слышался ход рысака: дальне-звонкое цока-

ные.

Он же не смел повернуться: захáкала б! Хóкала басом, трясясь животом и грудями; глядела – очками; и – капнула шпилькой.

– Читала я, как меледите вы с «нею»!

Косма ее желто-седая упала, виясь ей на плечи.

– Я... я...

Зализала свой взросток губы:

– Я читала, как ваши мизинчики лижут, как лезлой головою роются в старом мотальнике...

– Друг мой!

Но желто-седая, вторая, змея – развилась:

– Вам еще сладостей, старый лизало!

И ливнями оборвалася на груди, тугие шары.

– Да, – слизнул мою жизнь... Да, – на что она?.. Вы вот – «выжми лимон да брось вон»? Для того вы женились? Теперь вот вонючую вы лобызаете вашу лимонницу... – краем распахнутой кофты рванулася, – медикаментом пропахла она... Рот полощет «Одолями»... Рот пахнет рыбой.

Он стал оправляться:

– Мой друг, что бы ни было, – и потянулся рукою.

– Оставьте меня: не лисите.

– Но давность! – пытался он выдержать шквал.

– Я, медичка бывалая, – знаю «ее» подоплеку: гнилая.

С небесною кротостью эпос разыгрывал:

– Я повторяю, что давность...

– Хо!

– Давность – не малый свидетель, мой вспыльчивый друг: как-никак – тридцать лет нашей жизни.

Блеснул он ей оком – каким!

– Давность!.. Двадцать пять лет изменяете!

«Что за докапа»... – подумал он и ухватился за нос; и – пропучился оком: себе в межколенье.

– А! А!.. Для чего ж вы женились?.. Для прозы, – что музу себе завели?.. Хо!.. Мегера она, ваша муза!.. Смотрите-ка, – нет, до чего вы дошли?.. Нахватались с ней звезд Станислава и Анны: служака, двадцатник!

Под градом, хлеставшим в него, поворачивался то на правую сторону он, то – на левую: с видом беспомощным.

– Я же...

– Молчать!..

– Я...

– Будируете – хо-хо – под своей золотою обшивкой мундира, с протестом в груди, прикрываемым анненской лентой!

Действительно, он на торжественном акте читал «О сонетах Шекспира» – в мундире, при шпаге; и – в ленте.

– Вы весь избренчались... На лире играете?.. Просто гвоздем по жестяночке... Набородатил идеечек, насеребрил седины, фраз начавкал, себе юбилеев насахарил, – хо! Уважаемый деятель: видом лилея... Душа-то гамзея!.. А что Петрункевичи – что говорят? Говорят, что вы – старый капустный кочан, весь проросший листом, а не мыслью: обстричь –

кочерыжка; и та – с червоточинкой... Мел бдикон!.. Просто – дудка.

Стерпеть, – нет-с: позвольте-с!

Поднялся с достоинством, ставши в мелодраматической позе, но – мелкокалиберно вышло: и он поскользнулся о синие стекла очков и расшлепался оками под ноги; сплюнула, туфлей размазавши:

– Ждите: повесят медаль вам на шею: да только не лавры, а розги на ней будут выбиты.

Смирно смигнул и себе на плечо посмотрел, будто сам убедиться хотел он, какой такой «Фока», и тут, невнарок, – у себя на плече рассмотрел женский волос, не желто-зеленый, а – черный; поспешно смахнул себе под ноги: прядочку этих волос он держал под ключом, если только «она» не стащила: тащила бы все, – лишь в покое оставила б! Но не оставит в покое: промстится в годах; отольется не пулей, а дулей свинцовой; невольничий быт ожидает его; будет отдан он в рабство.

Представьте же: съерзнул он с кресла – коленом в ковер, головой ей в колени: облапить ей ноги и «старым мотальником» пол шаркать под толстой ногою; она замахнулась тяжелой ладошицей, грудь распахнув; и два шара тугих болтыхнулись:

– Соли на хвост вам насыпать, синица несчастная!

Так и присел, уронивши в ладони свой нос и стараясь выдавить всхлипы, – несчастный, невзглядный, накрытый с по-

личным старик!

.....

В кабинетище долго еще замирал он под креслом; в окно же глядели дантиклы столбов розоватого дома напротив: дом – каменный ком; дом за домом – ком комом; фасад за фасадом – ад адом; а двери, – как трещины: выйдут из трещин уроды.

Как страшно!

Так старым составом, —

– раздавом —

– свисает фасад

за фасадом над пламенным Тартаром!

.....

Встал он и...

Понял, что – скрылась за дверь, что оттуда раскинула сети, что в центре их жирною паучихой засела (едят паучихи своих пауков); задрожал; и – забегал: весь маленький, дряхленький; что, – если выскочит, да как нагайкой захлещется?

Взять, – да прихлопнуть ее молотком!

Испугавшись мысли такой, второй раз побежал к ней под двери: повалится вниз головою в глубокую падину.

Двери – молчали.

Да, – нёвпвороть повернулась к нему королевой из драмочки «Смерть Тентажиля»; затащит в свои невыдйрные чащи: душить.

Она – толстая!

.....

В злой, снеговой завертяй, поднимающий жути и муть, с пересвистами, с завизгом – выступили: угол дома, литая решетка, железные пики, подъезд, дерева раскаракульки; снежная гривина, воздух чеснув, отнеслась, – и ореховый дом в этом месте сложился: себя повторявшим квадратом; и – выступили очертанья: плоды известковых гирлянд; и за стеклами окон мельтешила свечка, чтоб вышвырнуть тень (бородой и космой), оторвать от за стеклами там столбеневшего тела, которое око пропучило в ночь; и – увидело: выстрелило черным конусом тени окно; черный конус, – безруко, безвласо, безглаво взлетая в космических мраках своим основанием, взорвался в космический мрак, оторвавшись от точки вершины своей: от пяты Задопятова.

Эта пята оставалась без тени: поэтому свечка потухла; за окнами в месте взорвавшейся тени мельтешила снежина.

И из нее было видно, как таяли в белые мути: подъезд, дерева, крыша, трубы; ореховый дом, точно рушась протмевшими окнами в жуть, – чуть показывал угол стены еле видною линией, став серо-белым, став белым, – пропав; измельтешилось все это.

10

Формулку вычертит; и, повернувшись к студентикам, –

пих в нее пальцем! Еще относительно быстро поправился; все же, – спешил он прогульное время нагнать; и ноябрь, и декабрь он начитывал: к середозимку шло время.

Бил формулю:

Многогранник есть шар, – чертит шар, – у которого срезана выпуклость пересечений, различно составленных, – пересечение срезает и чистит дрожащие пальцы, сбеленные мелом, о широкобортный сюртук, напоровшись на угол доски.

Догонял сам себя: в позапрошлом и в прошлом году он успел начитать; только в этом году... Оборвал его Пров Николаевич Небо, – растрепа, тюфяк:

– Как с млипазовским делом?

– Взять в корне...

– Запрос?

– Отклонить.

Было людно в профессорской:

– Но Задопятов...

– А вы Задопятова мне предоставьте...

– По-моему, – Пров Николаевич Небо ударился в пазевни, – этот Млипазов – не прав, да и Перемещерченко...

– Как это можете, батюшка, вы, – привскочил он, – халатно так... – вробеж прошелся, взмахнувши рукой.

Точно муху из воздуха сцапал:

– Мальчишке приспичило нами вертеть: не в Млипазове суть – в Благолепове-с!

Маху дал Пров Николаевич!

Пров Николаевич Небо – профессор, хирург: умел взрывать; быстро вбегал в операторскую, с упоением хватался за нож и в толпе ассистентов раскрамсывал тело, ругаясь от нервности; произведя операцию, он – засыпал; и на все безразлично сопел.

Впрочем, – был почитатель армянской поэзии, что объяснялось женою: армянкою; дело не в нем, а в Иване Ивановиче.

Факт – удивительный: консервативный профессор, послав три записки министру-«мальчишке» о том, как поднять просвещение (записки министр не прочел), – перешел в оппозицию, в корне решив, что министр Благолепов (его ученик) – только прихвостень; дело Млипазова – плевое: этот плюгавый и плоскоголовый профессор с плещищею и с девятью бородавками, миру известный своими работами об анилиновых красках, повел недостойный подкоп под профессора Перемещерченко, специалиста по изонитрилам, пропахшего рыбой поэтому (изонитрилы – воняют); профессору Перемещерченко из Петербурга прислали запрос; но – Коробкин скомандовал: этот запрос – отклонить; Задопятов, весьма осторожный в университетской политике, с очень недавнего времени, т. е. с избрания в Академию, принял запрос во внимание; и – голоса разделились.

Бой предстоял:

– Вы, пожалуйста, там не сплехуйте уж, Осип Петрович, – отнесся профессор к Савкову.

Савков, прикладной математик, с гнедой бородулиной,

освинцовелый такой, возбуждал опасенье; не то крутолобый профессор Коковский, изящнейший, бледный, как смерть, с лжепророческим взором, и произносящий весьма мелодическим голосом «ха» вместо «га», – корневед, переводчик трагедий античных и лозунг студентов в борьбе их за право; но в целом, – кампанию против претензий млипазовских подняли физики и математики под верховодством Ивана Ивановича; зациркулировал пошлый стишочек.

Вот он:

Математиков немая
Стая шествует на бой,
Интегралы поднимая,
Точно копыя, пред собой:

– «Ну-ка мы, – квадратным корнем,
Извлеченным звонче рифм, —
Ну-ка, громче – ну-ка, дернем, —
Влепим в морду логарифм!»

Сам профессор, И. Коробкин,
Разжигая бранный дух,
Не дробясь, присел за скобки
Между двух «корней из двух».

– «Сем-ка – в корне взять – умножу,
Протерев холуйский лак,
В благолеповскую рожу

Благовлепленный кулак!»

Знаменитый профессор уткнулся в свою записную книжонку усвоить план дня: под графюю «Декабрь, год (такой-то, число)» – пунктик первый: зачет; и – приписано бисерным почерком: «Если возможно – поймать их с поличным»; зачет обходили, его близорукостью пользуйся; выбрали студентов, умеющих дифференцировать; эти последние – чёрт подери – выходили сдавать за себя и за малоуспешных; профессор хотел изловить их с поличным: припас он и мел: мел – марал.

Второй пункт: «Анна Павловна»; бисерным почерком: «Письма вернуть».

С раздраженьем лупнул кулаком. Встал и – взорбеж прошелся; профессор Драпапов, с кривящейся шеей старик, весь запластанный в кресло, – весь вздрогнул: ах, черт подери – Анна Павловна, – черт подери, – разразилась письмом: в нем она с откровенным упрямством и злобою нарисовала всю черноту измены его Василисочки; был и приложен пакет доказательств: и адрес (Петровский бульвар, дом двенадцать, квартира одиннадцать, вход со двора), и – все письма к Никите Васильевичу (ряд лазурных и томно-лиловых конвертов, пропитанных запахом «Кер-де-Жанет»); профессор же вспыхнул совсем неожиданной яростью на – черт подери – «разбабца» (Анну Павловну просто «бабцом» называл: «Здоровенный бабец у Никиты Васильевича», – все он фыр-

кал бывало); во-первых: на этот счет – нет; волновался – открытием, делом Млипазова, математическим Бернским конгрессом, зачетом, поступками Митеньки, даже Мандро, даже тем, что в шкафу завелись таракашки, – не этим; при мысли об этом припомнилось: дезабилье Василисочки: две желто-серых отвислины вместо груди (и сидела с невкусицей этой у зеркала); и во-вторых: Василисе Сергевне свободу он дал; в-третьих (главное): знал он про «это»: знал лет уж пятнадцать, с той самой поры, как письмо анонимное раз известило его о Петровском бульваре и о Никите Васильевиче.

– Дело ясное!

Он-то при чем?

Так в поступке «бабца» усмотрел безответственное обращение с чужим документом: и – только:

– Бабёц!

И, лупнув кулаком по столу, из профессорской вылетел он к удивлению Драпапова, сюкавшего Твердохлебову («Емкость осадочных почв в струе жидко-сти»):

– Классики, батюшка, любят весьма каламбурить на скользкие темы о поле; романтики же каламбурят, – я вам говорю, – о расстройстве желудка.

– Да, – что вы?

– Да, – да же!

Профессор Драпапов умел говорить по-арабски, корейски, персидски; писал по-таджикски стихи.

И был жужель вдали голосов.

Он уселся за столик; и стал вызывать – приподнятием стекол очковых над всеми носами: Яни́цинский, Яненц, Янцев, Янцевич; Янцевич – являлся: писать вычисленья на листиках, сложенных в стопочку; и – объяснялся. Иван же Иваныч, скосясь на него, надбуравливал формулки глазом, болтался ногами под креслом и шлепал себя по колену рукой:

– И – ведь, нет же!

– Какая же?

– Вы не умеете, сударь мой, интерполировать.

– Нет-с!

Студент путался.

– Интерполировать, – шлепал себя по колену рукой и долбился словами и носом, – что значит?

И – сам же подсказывал:

– Значит, – включать промежуточный член в ряд других, уже данных, известных: ну – вот-с...

Вызывал приподнятием стекол очковых:

– Японский!

Глаза под очками – слепые, слепые: встав, пер с прямолобым упорством к доске; и чертил вычисленья, шепча вычисленья; Японского, лоб опустив, точно бык, отпускал; глазки очень внимательно, точно на муху, смотрели на серый рукав, – не на густоросль иксиков:

– Да-с, интеграл... – пальцем ткнул в интеграл.

– Есть конечная... – пыжился юноша.

– И измеримая...

– Величина.

– В отношеньи – к чему? – вопрошал.

И громчайше себе отвечал:

– К бесконечной ее малой части...

И вдруг он мотнул темнорогою прядью, схватившись рукой за рукав:

– Вы – попалися, Яриков!

– Как?

– Да вы меченый!

Яриков дернулся.

– Не понимаю!

– Вы меченый мелом!

И, встав из-за столика, бросил всем:

– Яриков – меченый мелом!

Допытывал:

– Вы не Яриков вовсе; нет, – кто вы?

– Фризакис!

– Я метил вас, – он указал на малюсенький беленький крестик на локте, – вот – крестик, доказывающий, что вы мне отвечали уже: я пометил вас крестиком.

Мелом украдкой всех чиркал, пока отвечали ему; а когда вызывал, то справлялся сперва с рукавами, надсверливал глазом их: нет ли тут крестика?

Вот и поймал (был хитрее).

В сем памятном случае он проявил наблюдательность:

– Меченый, меченый – вы уж ступайте, Фризакис!

.....

– Да, да: подойдет он, а я его – мелом, – рассказывал после в профессорской.

Очень довольный ловитвою, выставил всем им зачет; и пошел в заседание совета: сидели уже за зеленым столом: социолог Крылесов, Драпапов, Савков, Задопьятов, Коковский и Пров Николаевич Небо; и ректор Безнет, белоглазый, с обритым надгубьем и с войлоком белым, растущим из шеи, открыл заседание, зашепелявив и перебирая бумаги.

– Никита Васильевич, – после уже заседания Коробкин коснулся руки Задопьятова; и, отведя его в сторону, официально, но бодро совсем, даже весело как-то, отрезал с подчеркиком, – пожалуйста, вот-с!

В руку сунул пакетец.

– Что это? – взглянул на него Задопьятов: казался худей, зеленей, а мешки под глазами – белей.

– Не по адресу послано: мне; тут надписано – вам-с...

И, отрезав, справлялся с книжонкой:

– Пункт третий: визит к фон Мандро.

Да уж поздно; а – жаль, потому что Мандро занимал; захотелось на чем-то проверить себя: поглядеть на Мандро; и потом – в корне взять: коль знакомятся дети, – родители – ну там – наносят визиты.

Уж карюю перегарь дня доедала не каряя ночь, когда он на извозчике тряся к себе, в Табачихинский; оттепель снег распустила: гнилая зима! Обнаружились камни в туманный и мёртосный день.

Что прикажете делать: не город – разлужа – Москва!

12

За обедом рассказывал, как он студента словил; подвязавшись салфеткой, похрустывал смачно коричневой корочкой уточки он:

– Бесподобная утка: съедобная.

Тон Василиса Сергевна давала:

– Вы что насвинячили, – и указала на крошки, – вам надо б клеенку стелить.

Глаза поднял: и – съежился.

– Пахнет от вас сургучами и жженой бумагою: одеколоном попрыскались бы.

– Дело ясное: я – не вонючий мужчина; зачем мне душиТЬся! – вскричал, и морщинки раздвоем разрезали лоб.

Надоели ему эти приворчи.

Трах, – бутетенило стуло: не видел, что надо, схвативши тарелку, бежать в кабинетик; и вместо того ей перечил; Надюша глядела такой сердоболенкой; очень тревожила: подпростудилась; и – кашляла; не одевалась, страдала задохой; профессор вздохнул, посмотрев на нее, точно Томочка-пе-

сик, покойник.

И видом бессмыслил; осмысленны были очки, а все прочее – нет: с неосмысленным видом сидело и кушало; после – бродило по комнатам; дух отлетел – вычислять; наблюдений व्यюки ожидали его: принялся за развьюк наблюдений, открытие, скрытое им, рисовалось огромным и несшим взворот мировой; уже смятый вихор отвисел над разножкой колючего циркуля; круг – начертался; мурашником стала его голова.

Вдруг встал; и – попер в прямолобом упорстве, шепча себе под нос, – от шкафа до двери, от двери до шкафу:

– Пронюхали!

И на крутом повороте рукою взмахнул, будто дал подтетеху себе, потому что в сознание вlepились пощечиной звонкою – баки Мандро.

Стало – жутко, как будто бы водопроводные краны открылись...

.....

Казалось, что тихо, а – лихо: чем тише, тем лише; далил от себя эти мысли, боялся застенного уха, придверного глаза; и даже, признаться сказать, заоконной фигуры, которой не видел еще, но которая – будет, наверное будет: теперь!

Раз стоял он спиною к окну; показалось – квадрат белой двери, мигнув, перерезала тень от фигуры, стоявшей в окне; повернулся он слишком стремительно – кровь прилила, за-

рябило: в окне – никого; между тем: тень на белом квадрате дверном означала, что кто-то в окошко глядел; не могла без носителя тень появиться; не мог допустить, что уж тени восстали на тех, кто отбрасывал; что обладатели тени – бес-тенны, что – брань между ними, что – Тартар открылся и что человек – в Тартар рушится: вместе: с... Москвой.

Суть не в этом: а в том, она – в том, – что однажды просунулся носом в окно, в ту минуту, как сунулся носом в окно кто-то – с улицы: черненьким был он; не то человекец псено-сый, не то – пес с лицом человеческим; стукнулись бы друг о друга: стекло разделяло; «псеносец» пошел наугек от окна, оказавшись вполне карапузиком; он – улепетывал. Впрочем, – кто знает?

Рассеянность – черт! Странно то, что – запомнилось; странно и то, что – навязчиво после, уже в голове, обросло этой чушью, турусами многоколесными: в мыслях поехали всякие там на телегах – на шинах, автобусах, автомобилях – Андроны, Евлампии, Яковы (или – как их?), те, которые едут с Андроном, когда выезжает Андрон на телеге своей: в голове утомленной! Как будто нарочно кто в уши вздул чуши.

Твердилось:

– Открытие, сударь мой, перехватить бы не прочь «они»!

– Ясное дело!

– У «них», небось, губы не дуры.

– Появится, черт побери, ко мне эдакий, – ну там – Мор-

дан, да...

– Они...

Кто «они»? Неужели – Андроны, Мандроны, Мандры, Мандрагоры, Морданы? Ведь чушь, в корне взять; с извлечением корней он не справился; чушистей прочего то, что с усилием им извлекаемый корень – Мандро. Ну, при чем же Мандро? Что приехал пронюхать – одно; что какой-то мальчишка, псеглавлен, сидел за окошком – другое: сидел ли еще? Третье...

Раз – показалось: когда он с салфеткой в руке из столовой вошел в кабинетик, он видел, что Дарьюшка вздумала пыль обтирать в таком месте, где пыль не стиралась; ковер отогнула; сидела на корточках – перед тем самым квадратцем паркетика, под... под... которым... – тсс-тсс! Увидав, что профессор вошел, – ну паркет протирать; он спровадил ее, двери запер; и – справился, что под квадратом?

Все – цело: листочки лежали... в порядке!

Их вынул, проверил, засунул и перезасунул, перепере... спрятал – вполне; но – спокоен он не был; и дверь кабинетика неукоснительно он продолжал запирать; точно трехгодовалый младенец! Стажил бы листки эти к Наденьке; с нею решили бы: свезти в Государственный Банк: в стальной ящик, а то начинало мерещиться: вещи стояли и зыбились: стол не стоял, а – качался.

Качалось – все: уж устои московские стали нестоями – не достояли, явив недостойности.

Вихорьки в комнатах уж завивались, свивались в спле-

ть, весьма угрожавший стать вихрем: пока он таился, прижатый к кормившей его своей грудью Москве; вот уж, можно сказать, не змееныша вскармливала на груди своей: вихрь – мировой! Он сплетался из маленьких вихорьков; вихорек каждый в квартирочке каждой, сперва под пылью тишел, уже после заползал ужом, поднимая все эти невнятицы, взвивая бумажонки, бросая людей в легкий чох; но сплетаясь, сплетаясь, сплетаясь, – взвиваясь, взвиваясь, – ломал потолок, срывал крышу: в один же октябрьский денечек... – об этом мы после!

Профессор все то объяснял утомлением: переработался; так заработался, что потерял даже сон; все какие-то шли кривули, кривоплясы; сна – не было; он и во сне вычислял, но совсем по-иному; верней, что – иное; иное счислялось; дифференцировал речь, отвлекаясь от смысла, – на звуки; и вновь интегрировал; происходило же это не в лбу, а скорее – в затылке, в спине; и однажды, проснувшись среди ночи, застал он себя самого над итогом такой интеграции; что ж синтегрировал он, что всю ночь бормотал, тщетно силясь...

Какую же он ерундашину там «наандронил»:

– Пепешки и пшишки – в затылочной шишке!

– Ах надо бы, надо бы – да-с: в корне взять – отдохнуть!

Так сплетенница всех наблюдений – псеглавец, Мандро, тень – «пепешки и пшишки» – в затылочной шишке: скопление крови; само звукословье «пепешки» и «пшишки» с «ш ш», «ш ш», – шум в ушах:

– Эти «пшишки» – застой крови в мозге.

Так он порешил: порешив, успокоился все же.

.....

В одну из ночей он, бессонеч, со свечкой в руке, толсто-пятой босою ногою пришлепывая по паркетикам, точно Том, пес, забродил по квартире; и тут натолкнулся он – на основании тех же суждений (верней, вопреки всем суждениям) – на... Василису Сергевну; она – разбледнуха такая: в короткой рубашке козой тонконогой со свечкой, как он, шла навстречу:

– Что, Вассочка – Василисёнок мой, – бродишь?

Двояшил глазами.

– А вы?

И – глаза!

– Да не спится.

Мелькали подстрочные смыслы меж ними.

Он думал:

– Да, Вассочка, вот – затишела, – додер на халате трепал, – не играет, сказать рационально, глазами; не движет руками; моргает в таком положении, как и в другом... Дело ясное: Вассочка, Василисёнок...

И в свой кабинетик вернулся:

– Взять в корне...

Устроил пихели бумажек: в набитые ящики.

Видел во сне: людоеды откушали где-то сухими ушами.

.....

Взять в корне, – она, рациональная ясность, разъялась; из-под Аристотеля Ясного встал Гераклит Претемнейший: да, да, – очень дэбристый мир!

Говоря откровенно, – профессор Коробкин жил в двух измереньях доселе – не в трех: и не «Я» его, жившее в «Эн» измереньях, а Томочка-песик, в нем живший; но Томочка-песик – покойник: он – рухнул; и в яме лежит; «Я» ж кометою ринулось в темя из «Эн» измерений, им кокнуть, как кокал Никита Васильевич яйца – за завтраком; так вот из «Эн» теневых измерений и двух, подстановочных (как на подноси-ке, – расположились на плоскости мы) начинало вывариваться из большой знаменитости и из добрейшего пса – человек.

Раздорожьем все стало!

.....

Гнилая зима!

Но гнилая зима – просияла: теплейшим денечком; декабрь стал – апрелем; а он – собачевину вспомнил: уселся грустить, подбородок рукой подпираючи; в карем своем пиджачке, в желто-сером жилетике, под желто-карею шторой сидел, перерезанный желтым столбом копошившихся в солнце пылиночек:

– Томочка – умер!

А солнце слезилось сияющим и крупнопанельным дождем; солнечный дождь – это – праведник умер!

Но желтой жестокостью вечер означился; в зелено-серые сумерки сели предметы; их ночь черноротая – съела.

Над мутной Москвой неслись тучи.

Капель подсосулила улицу; все подсосала: пошли пережуй снегов в слюногонные лужи; уже обнаружились камни; уже начиналась разгранка камней о колеса; шныряли раздранцы, разбабы, подтрепы меж серых, зеленых и розовых домиков, перекаряченных, лупленных, каменных и деревянненьких, странно рябых.

Глазопялы – за всем, отовсюду следили: из окон, дверей, подворотен.

Заборик синявый, заборик лиловый, заборик замоклый: меж ними, раздрязнувши, лед ноздреватил; домок от домка защищался забориком; прояснь над ними: прозрачное место с фабричной трубой, выпускающей сизый дымок; пятибокая башня торчала: синяво; там издали высился многооконный завод: тряпковарня.

Завод подфабричивал дымом.

Какой-то сопливец тащился к кувалде в закрапленном ситце, с подолом подхлюпанном.

– Бабушка, правда ли, что в Табачихинском карла живет?

Кувердилась старуха:

– А ну!

Со двора, где бабьево тряпье ворошил ветерок на размоклых веревках, – ответили:

– Как же, – хандрит: ерундит.

– Щелк, – орехами щелкал какой-то с угла, – безалтынный
голыш: бескафтанник...

– Безносый, безбабый...

– Пархуч и пропойца он!

Кто-то бессмысленно молотом камень кувалдил: разлогий, кривой переулок размой тротуара показывал.

Сивобородый, одетый в самару торговец, заметил:

– Хвастель развели.

Тут мужик подошел: свой вихор скребенил:

– Я видал карличишку.

– Ну?

– Как?

– Скажу: сдохлик!

Загиркали.

Пéпиков как-то разгулисто свистнул:

– Эх ты, – раздудыньги развел: подновинский ты шут!

Перепротову просунулись пальцы:

– Мое вам: ну что? Как ползется?

И – кучка росла; подходили: Муяшев, Сиказин, Упакин, Ельчи́, Духовентов, «ура, дед Мордан» (так кого-то прозвали); в проулках соседних – безлюдие, тишь; а войдешь сюда – кажется: разбарабошилась улица: в крик, в раздергай; и карком кружились вороны над единоглавою церковкой с кубовым куполом; серое облако заулыбалось краешком цвета герани; и тучи сордели на рдяни заката.

Тут вышел Порфирий Петрович Парфеткин из первого номера, – да как подъедет (весьма любопытный мужчина):

– Вы мне объясните вот что, люди добрые: Грибиков таки пустил – говорю – карличишку?

– Не внюхаешь, – не распознаешь.

Обиделся Новодережкин:

– Весьма вам обязан: не нюхаю и не курю.

Наступило молчание:

– Грибиков этот сидит на своем достояньи.

– Сам – кость (в костоварку), а все ему мало...

– Так, так, – оживился Порфирий Петрович Парфеткин (весьма любопытный мужчина), – стал-быть – алчность? Стал-быть, полагаю, – мздолюбец?

– Трясыней сидит на своих сундуках.

– А за карлика кто ему платит?

– Мандро.

– А какая охота Мандре пархуча содержать?

– Как какая: съешь кукиш!

И – кукиш под нос:

– Хорошо еще, – есть подо что!

И – пошло, и – пошло: говорили с подшептами; тут же зевака такой суетглазый стоял; дроботала пролетка подгрохотом, – лбастым булыжником; крупной крупую засеяло в воздухе; скоро пошел снежный лепень; в разбег лошадей, в разнопляс пешеходов развеилась кучечка.

В черно-лиловые воздуха всяк побежал по нуждишкам.

И скоро уже, точно жужелицы, зажужукали, забаламутили в домиках; и заплеталась безглавая сплетня:

– Живет карличиска безносый: хандрит, ерундит.

В тот же вечер Порфирий Петрович Парфеткин пришел к Телефонову: так, мол, и так; Телефонов чикчйры носил – Телефонов, из номера двадцать восьмого, которого дочка гордилась: фамилия их-де старинная, стародворянская: при Алексее Михайловиче Телефоновы были подьячими. Он и заметил:

– Его бы держать на видках, – перещелкнувши палец о палец.

Парфеткин, – так даже в подпрыг!

– А, а, а?

Телефонов:

– Ведь вот как оно!

– Невдомек!

– Вы смекните!

– А?

– Что?

– Да – вот то!

Стало ясно:

– Хе-хэ... Чует мушка, где струп!

И – завторили: это вторье разнесли по домам.

Донесли до самой до Китайской княжны.

И здесь, – кстати заметить, – что дом заколоченный лет уже двадцать, в котором Юдиф Николаич Китайский, лет двадцать назад подавившийся костью, являлся ночами давиться, – тот самый, который от этих давлений пустел (обитала старуха с княжной Анастасьей Юдифовной в Сен-Труде-л’Эгле, – в нем ставни отснялись: сама Анастасья Юдифовна из Сен-Труде-л’Эгля вернулась; давно бы пора: заждались; а как вышла на улицу, – ахнули: Боже: угодников всех выноси, – в мужской шляпе, в штанах; в руке – палка с балдашкою; голос – как в бочке; и – пух над губою; и всем объявила, что, дескать, она не она, а – «он», что Анастасьей Юдифовной звали напрасно; что тут – как сказать? Игра в прятки природы; и стоит хирургам-де что-то над ней совершить – обернется она: Анастасьем Юдифовичем.

Вероятно, покойник весьма испугался явлением этим, – исчез: перестал появляться; зато появились – негодники.

Странно: княжна на вопрос «чем изволите, ваше сиятельство, вы заниматься», – ответила:

– Армией...

– Как-с?

– Просто так.

Пошли справки; потом разъяснилось просто, что армия эта совсем создана не для гибели, а для спасенья различных негодников (пьяниц и жуликов), что генерал ей командует «Ботс» или «Кот-с» (кто их знает): какой-то чудной генерал,

безобидный во всех отношеньях; в полиции долго косились; потом кое-как обошлось: раздавала листовки; негодников в дом свой тащила: угодников – вынесли.

Ей-то со всем уважением и донесли:

– Карличиска живет в Телепухинском доме: пархуч, сквернословец, безноска.

Княжна наострилась; себе записала там что-то; и скоро заметили: шел карличиска; за ним, растарачив глазищи, – княжна; в подворотне настигла:

– Пойдемте со мной.

Карличиска, превратно поняв, – от нее: наутек!

Все ж к себе, говорят, затащила, листовкой карманы набила; и петь заставляла:

К тебе, мой Спаситель,
Взываю, – внемли, —
Я – пакостный житель
Земли!

Так они меж собой распевают; у них, говорили, такое есть средство от носа; помажут, – и вырастет.

Пуще гуторили сплетницы: хлопоты с карликом; выйдет на улицу – смотрят, галдят, да плюются:

На улице нашей
Живет карлик Яша.
Гуляет с одною

Китайской княжною,
Ей под нос накурит
Да с нею амурит.

Он – вшами покрылся: и – запил.

15

Ведь вот!

Для чего это Грибиков всем разгласил на дворе:

– Да – живет у меня карличиска...

– Ах, что ты?

– Безносый.

– !?!

– Хандрит: ерундит.

Сам не знал, для чего, как не знал, для чего это он двадцать лет заседает в окне: примечать, что и как, и смекать, что к чему, коли связывать он не умеет: домекон и смеков.

С досугу?

Ему уж лет двадцать как нечего делать: подштопывать, или ведро выносить, да процент проживать надоело; при- том: любопытно весьма – насчет жизни других; тут зачешут- ся мысли: политика всякая; что, мол, там Митрий Иванович, – не книги ли тибрит? Варвара Платоновна, – уж не живет ли с Бобковым? И то – «дядя Коля», и се – «дядя Коля». Какой он ей дядя!

– А что, коли я им вот эдак и так, – гнида ешь их! Просу-

нется в жизнь из окошка: в чужую (своей-то ведь нет); а пожить – занимательно; только – неясно и боязно как-то.

Интриги водил: скуки ради:

– А сём-ка я, а сём-ка я... – прямо к профессору: так, мол, и так... Ваш-то Митрий Иваныч подколоколил книжонки-с!

Не вышло: взашиворот вывели.

Тоже: с каких таких видов себе карличешку на шею взвалил? Тьфу: совался к Мандро; сам едва понимал, для чего: этот самый Анкашин, Иван, – тот, который трубу починял (перепортились трубы мандровской квартиры), ему передал: так, мол, – барин Мандро, богатейший, желает призреть человека; и – комнату ищет. Что? Как? Кто такое Мандро? Как живут? Сколько средств? Где контора? Все – вынюхал, высмотрел; и – досмотрелся себе до хлопот: теперь карлик на шею сидит. Обсыпается вшами.

Про Грибикова Телефонов заметил раз как-то:

– Есть гадины; эти – вредят; он – воняет: и – только...
Какая же гадина он?

Телефонов при этом забыл: есть на свете такие вонючки, при виде которых бегут леопарды; вонючка – невинная, произвольная гадина; Грибиков – тоже.

.....

Таким мертвецом безвременствовал Грибиков; и – переживал ногу; курил, точно взáпуски; передымела вся комната; передымело в душе; в голове росла дичь; на столе перед ним – вы представьте – двуглазкой лежали очки (жестяная

оправа); он руку засунул за спину: дербил поясницу своим откаряченным пальцем (не комната, – просто блошница какая-то); встал; и, походкой валяся набок, потащился безбокою клячею, па́стень бросая; и глаз зацепился за полудырявую скатерть.

Убогая комната!

Мозгнуло – все; и – зажелкло; поблескивал очень огромных размеров сундук (добрину́ укрывал): белой жести; да фольговый Тихон Задонский отблещивал венчиком; туркался все тараканами угол стены; переклейны́е стены коптели, отвесивши за́дрань; и, точно гардины, висели везде паутины; копченый растреск потолка угрожал старопрежним упадом; замшелое место стелилось в углу.

И – паук там сидел, очень жирный.

В углу – этажерочка, с вязью салфеточки; дагерротипы желтели из рам; и коралл, мадрепор, весь в ноздринах, был двадцать лет сломан; вытарчивали пережелклые «Нивы» девяностых годов со стихами Куперник, Коринфского, с вечно залистанной повестью, вечно единственной, Ахшарумова и Желиховской – пожелклая «Нива» и стоптанный рыжий башмак: под постелью с полупуховою периной.

Провисли излезлые шторочки мутной китайки, покрытые мушым пятном; искрошилася связка из листьев табачных: папуха; курился, как видно, табак «сам-кроше́»; а искосины пола закрылись холстиной обшарканной.

Здесь, в комнате, десятилетия делалось страшное дело

Москвы: не профессорской, интеллигентской, дворянской, купеческой или пролетарской, а той, что, таясь от артерии уличной, вдруг разрасталась гигантски, сверни только с улицы: в сеть переулков, в скрещенье коленчатых их изворотов, в которых тонуло все то, что являлось: из гущи России, из гордых столиц европейских; все здесь – искажалось, смещалось, перекорячивалось, столбenea в глухом центровом тупике.

Вот «Москва» переулков! Она же – Москва, точно сеть паучиная; в центре паук повисающий, – Грибиков: жалким кощеem бессмертным; кругом – жужель мух из паучника; та паутина сплетений тишайшими сплетнями переплетала сеть нервов, и жутями, мглой, мараморохом в центре сознания являла одни лишь «пепешки» и «пшишки», которые очень наивно профессор себе объяснял утомленьем и шумом в ушах; ему стоило б выставить нос из-за форточки, чтобы понять, что сложенье домков Габачихинского переулка – сплошная «пепешка и пшишка», которая, нет, не в затылочной шишке, а – всюду.

Москва переулков, подобных описанному, в то недавнее время была воплощенной «пепешкою», опухолью, проплетенной сплошной переулочной сетью.

В затылочной шишке – затылочной шишкой – посиживал Грибиков: шишка Москвы!

.....

Отворил он притворочку: выдымить.

Бледно-синявое облако никло к закату; тянуло морозцем: отаи подмерзли; покрылися снегом; сосули не капали; кто-то у желтого домика остановился, увидевши: под голубым колпаком дозатор сидит, как всегда, – желто-карим карюзликом.

Вот и завьюжило: пырнуло с завизгом.

16

Слухи о карлике и Николай Николаевич Киерко выслушал; жил в белом каменном доме, которого первый этаж тараканил и гамил сплошной беднотой и который соседничал с желтым, торчавшим – оконцами, Грибиковым и городьбою забора: в проулочек; соединял же дома – общий двор, немощный, с пророиной.

Киерко вышел на двор и посипывал трубочкой в злой, мокро-сизый туманец, в мерлушьем тулупчике, молью потраченном, в клобуковатой шапчонке, – лихой, узкоглазый и узкобородый: да, подтепель; дни разливони пошли; он пристал к тарарыкавшей кучке, поднявшей галдан; тут стояли средь прочих: Анкашин, Иван, Псевдоподиев, семинарист переулочный (руки – виляи, к девицам – подлипа), и Клоповиченко, сторонник стремглавых решений (на трубопрокатном заводе работал и там, видно, куртку задряпал), стоял в своей куртке проплатанной (вся в переёрзах), горбастый и крепкий; Романычу что-то рукою махал.

Было видно, что ловко сбивает он бабки:

– Тетерья башка, ну чего ты стоял за свой угол, когда тебя гнали; содрал бы за угол с Мандры; теперь Грибиков карлу себе отхватил.

– И за карлу проценты стрижет, – довахлял кто-то.

Киерко, слушая, сел на бревно: подходили к нему на дворе, точно он держал двор; говорили ему с подмиганцами:

– Что ж, Николай Николаевич, – будем давить блоху миром?

И Киерко похнул дымком:

– Далека еще песня!

Двудымок пустил из ноздрей.

Говорили Романычу: Грибиков, черт его драл, набил нос табачищем и твердо копейку берет; ссудит с ноготь, процентом возьмет с раскулак.

– Обдерет.

– Ссужал летом, а осенью, брат, – гнал взашей из угла, – ужасался Романыч.

Сочувствовали:

– Драть-то не с чего...

– И за правду плати, за неправду плати.

Желоб капал.

– А нуте – пох, пох: да они ж – богатые!

И глаза Николай Николаича нарисовали двухвьюнную линию.

– Пох, – Николай Николаич посипывал трубочкой, – пох,

погоди: доживешь.

И напрасно профессор Коробкин рассказывал всем, что «Цецерко-Пукиерко» жизнь просыпал на диване; он – бегал; какие-то были дела; он частенько захаживал, – нет, вы представьте к кому – к Эвихкайтен: Эмилий Леонтьич Милейко, поляк, пе-пе-ес, там бывал; и бывал меньшевик Клевезаль; еще чаще он бегал в Ростовский шестой, на Плющиху, где жил большевик Переулкин, где те же решались вопросы с товарищами Канизаровым, Жиковой, Грокиной о понимании прибавочной ценности и о Бернштейне.

Еще: Николай Николаевич Киерко был двороброд; и пока представлялось, что – дрыхнет, он вертко являлся везде: на заводах, в рабочих кружках, в типографиях тайных, просовывал нос к комитетчикам, к земцам, к статистикам; Киерко можно бы было открыть в буржуазном салоне, приметить в «Свободной Эстетике», где еще? Он появлялся, подшучивал; и – исчезал; и о нем говорили так мало; он «киеркой» был (с малой буквы); в «Эсте-тике» даже не знали, что вхож он в профессорский дом; а в профессорском доме не знали, насколько оброс он рабочими: «Киерко», «Цер», «Пук», «Цецерко-Пукиерко», – кем же он был? Циркулировал слух, что – охранник, что – максималист; ни тому, ни другому – не верили.

Надо принять во внимание: он – кочевал по мозгам; и заклепывал в головы, где только мог, социальный вопрос; в «переулкинской» комнате сыпал словами «Рикардо», «Берн-

штейн», «Ортодокс», «Искра», «Ле-нин» и «Маркс»; на дворах – прибаутками; да, – веретенил словечками вертко; от слов оставались какие-то все уколупины; можно сказать, – ломал мыслями кости он; ставил остов воззрений для всех дворовородов.

– Квасильня серьезная!

Так говорили они.

.....

– Нагорстаем мы жизнь, – пустопопову бороду брей, – веселился глазенками Клоповиченко.

В Романыче болью проснулось тупой забиенное место в душе; и ногою он пса отопнул от канавины: пес медеянский откуда-то бегал сюда.

– Где уж.

– Нуте же вы – все с нюгандами, – выпохнул Киерко.

И – задождило пустым пустоплюем в лицо.

– Это разве же жизнь, – за свободу стоял Псевдоподидев, – аполитичность одна: правовая свобода нужна, брат Романыч.

А Клоповиченко ему:

– Так-растак!

– Так-растак!!

– Так-растак!!!

На него:

– Я уж знаю: тебе революцию – с барином? Сунет под нос тебе редьку.

Смеялись:

– Подохнешь от эдакой ты пережваки невкусной.

– Ужо вот покажет тебе Милюков: воля – ваша; а наше, брат, – поле.

– Уж ты извиранья оставь, – размахались жиливые руки, – с алтын обещает тебе Милюков; сам себе на рубли наступает.

А Киерко, высипнув сизый дымочек, – молчал.

– Он – грабазда!

– Чего вы, товарищ, вражбите, – боярился позой своей Псевдоподиев, – с миром?

– Растак! Пустопопову бороду брей!! Вот тебе елсят, а ты – веришь, распопа: а все оттого, что – распойный народ, – дояснил он.

И Киерко выкатил серый зрачок: дюже весело стало; доскоком пустил свой носок; глаз скосил на дымление трубки; другой глаз закрыл; и посиживал: единоголазиком.

– Галиматейное что-то такое...

Романыча ж дружески – в хвост и в загривок, и давом, и пихом: тот, этот:

– Скажи себе: «Надо бы нам единачиться».

– Где у тебя коллектив?

– Дармоглядом живешь!

– Слепендряй!

– Это ж разве за жизнь: это ж стойло кобылье!

– Сплотись!

– А то эдакий с пузом придет, – ракоед, жора, ёма; а ты

– пустопопову бороду брей – костогрызом уляжешься, кожа да кости, – усердствовал Клоповиченко.

– Сдерет с тебя кожу бессмертный кощей: подожди!

– Кожу, – слово ввернул тут кожевенный мастер из мало-сознательных, – мочат в квасу, а потом зарывают в навоз, чтоб сопрела; потом – сыромятят.

– А ты слышал звон, да – кто он? – оборвали его.

Слесарь слово ввернул:

– Гвоздь не входит, его – подотри ты напилком: так он и взойдет; так и жизнь трудовая; ее подотри, – заскрипит...

– Постепеновец!

– Он – меньшевик: клеветаль этот, враль этот, – ходит к нему...

– Заскрипишь, как раздавят.

– Взбунтуйся: в борьбе обретишь себе право; ступай одиначиться с классом рабочим.

И Клоповиченко свою укулачивал руку:

– Сади буржуазию в ухо и в ус: и враскрох, и враздрай!

– Нет, нельзя: не велят, – сомневался Романыч и голову отволосил пятернею, – что палец под палец, что палец на палец.

Отплюнулся.

– Лъзя ли, нельзя ли, – пришли да и взяли, – подфукнул всем Киерко (он на дворе говорил поговорками).

Так резюмировал дюже и весело он разговор; трубку вынул; докур опрокинул; и вертко в проулок пошел; вслед ему:

– Энтот, – да: оборотливый!

Тут мещанин в заворотье стоял; и жестоко глазами его проводил:

– Ужо будет тяпня!..

– За резак поди схватятся, – голос ответил.

И сумерки сдвинулись.

17

Жалко мокрели дома; и, оплаканный, встал тротуар из-под снега; и Киерко думал:

– Да, да!

– Передышанный воздух, негодный.

– Москва – под ударом: она – распадается.

Забочнем дома сугли́л он на площадь: в людскую дави́льню, – и в перы, и в пихи.

Лавчонки: пропучились злачности; промзглой капустой, рассолами, репой несло; снова забочень дома сугли́л в перекресток; и он – вместе с забочнем дома; и, двигатель улицы, двигался в улице; закосогорилось; на косолете – домишка; наткнулся на парня, который там пер, раздавая давочки, бросая плевочки, – под четверогорбок (направо, под горбку налево; гора Воронухина с горбками Мухиной, с новой церковью распрекрасных фасонов и с банями, старыми очень, «таковскими», прямо при Мухином горбке); там, далее – мост: самновейший амбир, где на серых столбах, так отчет-

ливо темный металл исцербился рельефами шлемов, мечей и щитов.

Николай Николаич смотрел с Воронухиной горки туда, где пространились далековатые домики, сжатые в двбенки, в трбенки, пером заборов с надскоком над ними вторых этажей и с протыками труб из-за виснущих сйзей фабричного дыма – за Брянским вокзалом; двухскатная крыша; под домом – к стене его церковка: жалась; и – дальняя лента лесов воробьевских над всем, с подприжавшейся береговой Потылихой.

Киерко все это взором окинул.

На все это двинулся полчищем мыслей своих головных, чтоб от каждой задвигались полчища кулаковатых мужчин.

– Пох-пох, – прыснули светом двудувные ноздри авто: – пах бензина, подпах керосина.

Парком подвоняв, устрельнул.

В недрах нового дома с огромными окнами – в небо, взлетев над землею под небо, жила Эвихкайтен.

И Киерко шел к ней.

.....

Мадам Эвихкайтен – зефирная барыня: деликатес, демитон, с интересами к демономании, и – парадоксы судьбы – к социальным вопросам: давала свое помещенье для двух разнородных кружков; в одном – действовал Пхач, демонист, розенкрейцер, католик, масон, что хотите (на всякие тайные вкусы!); и дока, и жрец, и священник по Мельхиседекову чи-

ну, и дам посвятитесь, сажающий при посвящении их в ванну; и – прочее; в этот кружок приходили Тер-Беков и Вошенко, очень почтенный работник на ниве различных кружков, занимающийся лет пятнадцать историей тайных учений и подготовляющий труд свой почтенный «Каталог каталогов».

Этот кружок собирался по вторникам.

По четвергам собирался кружок социальный; его собирал Клевезаль; в него хаживал Киерко, не соглашаться, а – слушать.

Мадам Эвихкайтен же, барыня деликатес, опустивши лазури очей, очень тихо вела себя в том и в другом; и ходила в компрессиках: барыня с тиками, барыня с дергами!

У Эвихкайтен застал Вулеву, экономку Мандро.

Вулеву говорила мадам Эвихкайтен:

– Представьте, мадам, же-ву-ди-ке – мое положение, как воспитательницы...

– Ах, ужасно!

– Лизаша...

– Ужасно...

– Мадам, – же-ву-ди-ке, – что девочка – нервная и извращенная...

– Не говорите...

– А он, – же-ву-ди-ке – с ней...

– Эротоман!

– Шу-шу-шу!..

– Негодяй!..

– Шу-шу-шу...

– Просто чудище!!

И Эвихкайтен бледнела.

И Киерко понял, что речь – о Мандро: серо-рябенький, – молча внимал.

Очень часто здесь речь заходила при нем о Мандро; и всегда, глаз скосивши на проверт носка, – улыбался вкривую: молчал, только раз прорвалось у него:

– Все Мандро да Мандро – нуте: чушь он. Я знаю его хорошо; мы ж в Полесье встречались; вчера он – Мандро, а сегодня – херр Дбрман; мосье Дромán – завтра; как Пхач ваш... Мандрашка он, – нуте... В него ж одевается всяк: маскарад-ная – нуте – тряпчонка; грошовое – нуте – инкогнито.

На приставанья сказать, что он знает, – смолчал; дергал плечиком; лишь уходя, четко выдохнул трубочкой:

– Жалко Мандрашку, как что, – его: хлоп! А паук, в нем сидевший, – сбежал... Пауки пауков пожирают «мандрашками» разными; нуте – заманка для мух; паутиночка он... Пауки ж наплели за последние годы мандрашины всякой и сами запутались в ней; вы же, – в корень глядите: падеж будет – нуте... Падеж – мировой!

И – ушел.

Эвихкайтен же – с тиками, с дергами – эти слова доложила Пхачу; Пхач с большим удовольствием мхакал и пхакал:

– Да, да – понимаю: вопрос объясняется своеобразием расположения токов астральных, не чистых, – и стал наме-

кать Эвихкайтен, что надо бы сесть ей с ним в ванну: очиститься!

И Эвихкайтен ответила, что «поняла»; ее мнения были тонки лишь в присутствии гостя; поступки с домашними – срам; все казалось зефиром – вдали; вблизи – бабища, прячущая под корсетом живот не зефирный; являлася в гости она с таким видом, как будто она – из Парижа; жила ж, как наверно уже не живут в Усть-Сысольске: невкусно!

А все говорила о вкусах.

.....

Зачем посещал ее Киерко! Кто его знает.

Ответит гранитным молчаньем: ночь.

18

И не шел снежный лепень; отаи – подмерзли; сосули не таяли; великомученица Катерина прошла снеговой заволокой; за нею, кряхтя, прониколит мороз; он – повел к Рождеству, вспыхнул елками, треснул Крещеньем, раскутался инем весь беспощадный январь, выюгой таял; и умер почти солнепечным февральским денечком.

Но их водоводие, Март Февралевиц, не капелькал по календарному способу, и Табачихинский переулок крепчал крупным настом; морозец, оживши, носы ущипнул; и носы стали ярко-брусничного цвета; согнулся под снегом заборик; стоял мещанин в заворотье; мирошничал нищий; увы: длин-

ноношая праздность таит любопытство; и Грибиков выглядел крысыим лицом из окна на проход многолицых людей.

И – показывал крюкиш: не палец:

– А вот, энта самая, – в шапочке в котиковой...

– С горностайной опушкой...

– Серебрецо подает: при деньгах.

С горностаевой муфточкой, к носику крепко прижатой, стояла Лизаша: прошли уже месяцы, – Митенька нос не казал и вестей не давал: посылала записочки; не отвечал на записочки; думала взять промореньем: молчала два месяца; и – побежала, не зная с чего, в Табачихинский: встретить.

Ждала тут не день и не два.

Были странны ее отношения к Мите.

Сказала б – «оттуда»; «оттуда» – ее состоянья сознания, граничащие с каталепсией; молча сидела ночами; и – видела образы, ясно слагавшие в жизни вторую какую-то жизнь, из которой тянулась к Митюше, сквозь все искаженья русаль-ных гримас; что же делать: «оттуда» жила.

«Здесь» влачила русалкой больною.

Немела порой; и – разыгрывалось, что идет коридором, во тьме; все скорее, скорее, скорее – спешила: летела; и чувствовала – коридор расширяется в ней, оказавшись распахнутым телом, вернее распахом сплошным ощущений телесных, как бы отстающих от мысли, как стены ее замыкающих комнат; и переживала мандровской квартирою тело.

Отсюда на мыслях – бежала, бежала, бежала, бежала.

И – знала: сидит; все ж – бежала: в прозáриванье, из которого били лучи; точно солнце всходило; спешила к восходу: понять, допонять; будто «Я» разрывалося, став сквозняками мандровской квартиры; «оттуда» блистало ей солнце, составленное из субстанции сплавленных «Я», обретающих óсмыслы в «Мы», составляющих солнечный шар.

Этот солнечный шар называла она своей родиной.

Да, вот!

– Лизаша, – вы здесь? – выходила из двери мадам Вулеву.

И огромная сфера сжималась до точки:

– Ну, ну – полно тóмничать.

И – снова пряталась.

Снова Лизаша – бежала, бежала, бежала, бежала; за нею ж – бежала, бежала, бежала, бежала: мадам Вулеву.

Так сознанием вывернуться из мандровской квартиры умела, которая – только аквариум с рыбками, или с русалками вроде Лизаши: «Лизаши» – нет вовсе; но стоило сделать движение – сфера сжималась до точки: до нового выпрыга; твердо стояли предметы; предметились люди и жизни: был складень тюков, свалень грузов.

Очнулась от мысли, а Мити все не было; твердо стояли дома: в каждом, – сколько люди себя запечáтали нáсмерть; Москва – склад тюков, свалень грузов; и – кто их протащит? Да время. Не вытащит ли оно всех их – в «туда»; и не бегают ли она в мыслях в далекое время, когда разорвется и «м», чтобы сплавиться в «Мы»?

Вот об этом и силилась Мите она рассказать, укопав мihnьятюрное тельце в мягчайших подушечках, вздернувши умницы бровки; ждала, что он скажет; ведь он только слушал ее без протеста; и силился высказать то, что не выскажешь:

– Нет, не умею...

– Попробуйте, Митенька, сделать, как я: посидимте, закроем глаза; и – «туда».

И – сидели: ковер кайруанский сплетал изузоры свои; по-пугайчик метался:

– Безбожники!

И появлялась мадам Вулеву:

– Эскюзе: я не знала; вы здесь – не одна...

И Лизаша сверкала от гнева глазенками.

Люди делились ею; одни не бывали «там», как Вулеву; а другие, как Митя, бывали: во сне; сон тот силилась выявить Мите, его сделать опытами молчаливых каких-то радений (игра в посиделки); а Митя, своим подсознанием тянувшийся к ней, преломленный «русалкой большою», в ней жившей, тогда становился уродцем: не мог ухватиться за то, чему не было форм; думал – хочет схватиться за ножку.

Лизаша же – щелк его:

– Митька, отстаньте!

И после – трепля по головке:

– Уродец!

Да, странно сложились ее отношения к Мите.

В Ликуй-Табачихе бил колокол – густо, с завоями; туча

разинулась красным ядром; искроигрием ледени бросилась улица; и позабыв, что дала уже, нищему – в руку монеткой она:

– Да воздаст тебе сторицей Бог!

Тут и Митю увидела.

Он крепышом, в карачае, в тулупчике черной овчины, нагнув на лоб малахай, разушастую шапку, спешил к себе.

– Митенька!

– Здравствуйте.

И показалось, что встреча ему неприятна.

Она объяснила по-своему это; и стала просить к ним вернуться:

– Вы «богушку» вовсе не знаете, Митенька: вспыльчивый он... Ну, ему показалось тогда, что вы... вы... – покраснела, – меня обижаете... Я уж ему объяснила все это.

Но Митя – заумничал: нет, нет, нет, нет!

– Понимаете сами... Бить...

– Митенька...

– Чёрт, – я не кто-нибудь!.. Я и отцу, – он схвастнул, – не позволю... Я... мы... веденяпинцы...

Крепко обиделся.

И – обнаружилось, что он имеет какое-то что-то: «свое»; о Мандро ему некогда думать; теперь он уж – сам; Веденяпина слушает он...

Перебила Лизаша его; стала спрашивать:

– Ну, а как с «этим»?

– О чем вы?

Она разумела – подлог.

Митя ей – с напускным равнодушием:

– Вздор: пустяки.

И опять принялся:

– Веденяпинцы... Нас Веденяпин... У нас Веденяпин...

Обсамкался видно: такой – самохвал, самоус, с «фу ты, ну ты»; еще удивило, что Митя попутно ей бросил: с нарочным небрежьем:

– Отец-то ваш: был у нас.

Будто хотел показать ей: у нас такой дом, что не «эдакие» еще будут в нем.

– Был?

– У отца.

И опять за свое:

– Веденяпинцы мы... Веденяпин у нас...

В разговоре он взлизывал воздух.

Опять непонятности: был у Коробкиных? Как непонятно и то, что вчера «о н» кричал в телефонную трубку: «Коробкин, Коробкин, Коробкин, Коробкин!». Да, мысли у «богушки», точно в коробке, – в коробкинском доме: что это?

Она посмотрела на Митю: он стал крепышом; он очистился даже лицом: прыщ сходил; да и взор в нем сыскался; – спешил.

– Вы побудьте со мною немного, Митюша.

– Нет, нет: мне – пора... Я ведь лынды оставил.

И вдруг с неожиданным пылом, которого не было в нем, он пальнул:

– Я хочу отличиться каким-нибудь доблестным подвигом. Юрк – под воротами!..

.....

Грустно стояла Лизаша; и – думала: Мити лишилась она; все ж, – они понимали друг друга; а вот с Переперзенко не представлялось возможности ей говорить: утверждал:

– Вы больны...

Ведь Лизаша жевала очищенный мел.

Только водопроводчик (полопались трубы в квартире) – сказал:

– Сицилисточка, милая барышня, вы.

И ей сунул брошюрку, в которой прочла она: жизнь ее в «здесь» – буржуазная; в «там» – жизнь грядущего строя; то – «царство свободы»; Лизашин прыжок из «отсюда в туда» был рассказан: прыжок – революция; странно: революционеркой себя ощутила в тот миг, как сейчас вот, когда показалось, что время, верблюд, став конем, будет рушить домовые комья: Москва – будет стаей развалин; когда это будет, когда?

Поскорее бы!

Перекривился в сознании ее социальный вопрос; все ж – он жил: очень остро; взволновывали отношения с людьми; особенно – с «богушкой»; с ним говорила лишь раз о своем царстве в «там», куда время – бежало, куда убегала она,

выбегая из времени; «богушка» – морщился; и в результате пришел доктор Дасс:

– Вы страдаете, барышня, – нервным расстройством.

Лизаша боялась улицы; ей – представлялось: она – из стекла; вот – прохожий толкнет; и она – разобьется.

Склонение дня исцветилось сиянством: отрадным, цветным сверкунцом веселилась улица; у приворотни стояла какая-то сбродня; понюхавши воздух, заметил какой-то:

– А завтрача – подтепель.

– Вы завсигда это: сбреху.

– А энти вон воздуха...

– То – быть кровям!

Уж сверкухой прошелся по окнам закат; и окарил все лица; уже многоперов облако вспыхнуло там многорозовым отблеском; город стал с искрой: лиловый; потом стал – черновый.

И Грибиков вышел: и – гадил глазами.

.....

Лизаша с недавнего времени «богушку» мыслью своей за собою тащила «туда»; упирался; и делался образ его в ней какой-то – не тот: дикозверский, ослабленный, странно-пленительный; демоном в мире ее он внимал ее «песне»; и – пелось ей все:

Я тот, которому внимаешь

Ты в полуночной тишине.

Так усилия мысли ее перешли в экзальтацию: солнечным шаром рвалось ее сердце; с тех пор началось – это все.

19

Эдуард Эдуардович раз ей сказал:

– Ты, русалочка, – хочешь, – китайской тафтой обобьем твою комнату?

Липкой губою полез на нее.

Но себя оборвал, отошел, потому что мадам Вулеву томашилась по комнатам только для виду; ее толчеи начинались всегда где-то рядом, когда Эдуард Эдуардович жутил с Лизашей один на один; меж гостиной и залом стремительно перевернулся; засклабился ртом; и прогиб бакенбарды, обтянутый торс, перегиб белой кисти руки, – все являло желание: поинтересничать.

Так постояли они друг пред другом, не зная, что делать друг с другом.

Казалось бы, – поцеловаться; Лизаше – похлопать в ладоши:

– Как папочка любит меня!

Но при мысли о том, что она поцелует отца, она вспыхнула густо; и туг же из двери просунулась флюсной щекою мадам Вулеву:

– Помешала я?

– Нет.

Поглядела и скрылась.

А он улыбнулся и быстро прошел сквозь проход; и проход выявляя, со столбиков статуи горестных жен устремляли глазные пустоты года пред собою, – не слыша, не видя, не зная, не глядя.

Лизаша прошла в длинный зал и открыла рояль, изукрашенный, белый и звонкий; бежали под пальцами клавиши – переговаривать с сердцем; зашпорило с ней ее сердце: откуда-то издали, вторя стремительным бегам Лизашиных гамм, поднимался порой бархатеющий голос: как будто там пел фисгармониум; то – подпевал перебегам Лизашиных гамм Эдуард Эдуардович, сидя в фисташковом кресле и руки свои распластавши на львиных, эолотеньких лапочках кресельных ручек: в тужурке бобрового цвета и в туфлях бобрового цвета.

Над ним с потолочной гирлянды, сбжавшейся кругом, спускался зеленый китайский фонарь.

Почему-то она снова вспомнила, как там линейка расшвиствовала воздух; и свистом упала – на Митины пальцы; зачем это сделал он? Митю искала вернуть.

Все о Мите болела душою: и солнечным шаром рвалось ее сердце.

Штиблеты защелкали.

Викторчик, перебегая по залу таким щеголочком с портфелем из кожи змеиной, Лизаше отчетливо бросил, Лизашу

минуя глазами:

– Бехштейн – превосходный: тон – полный, густой!
Усмехнулся в передней себе самому.

Оборвавши игру, подняла свои глазки туда, где двенадцать излепленных старцев, разлив рококо бороды, поднимали двенадцать голов пред собою в пространство; тогда оборвался и голос, откуда-то ей подпевавший: Мандро, Эдуард Эдуардович, – шел в белый зал; и сказал, наклоняясь:

– Сыграй мне Шопена.

И пальцы (большой с указательным) соединил на губах:

– Ты мне, Ляля, сыграешь?

Помазались пальцы.

Глаза разрастались на ней.

Все в ней вспыхнуло.

Тут появилась мадам Вулеву из дверей с неприятной ужимочкой, с эквилибристикой мимо Лизаши летающих глазок, всегда выражающих то же (я вам – не мешаю?); и видом две точки поставила; будто хотела сказать;

– Мэзами¹³, обратите вниманье свое!

Эдуард Эдуардович очень любезно ослабился, будто просил ее взором;

– Простите!

Мадам Вулеву отвечала без слов очень сдержанно, с подчерком, что она, право, не знает, о чем это он вопрошает и в чем извиненья приносит; и сухо строчила словами.

¹³ Друзья мои (фр.).

Он – бурно любезен с ней был; он недавно еще подарил ей топазовый перстень.

Лизаша же съежилась, встала, пошла, – узкотазая, с малым открытым роточком. Лизаша дивилася:

Что ж это, что ж?

И казалось бы, – ясен ответ: просто ласка отцовская; все-таки – странная; взор его в ней прорастал чем-то жуткопреступным.

Но – чем?

Будто взор свой взлил в душу; и взлив этот жизнь возмутил; с той поры началось это; будто ее облекали в чужое и ей неприсущее платье; ходила – как в платье, в себе: в «мадемуазель фон Мандро», у которой означились вдруг крупнодырые ноздри.

Весь день пробродила Лизаша походкой своей лунатической; и – разжемалась; с киськой играла: курнявка раздряпала носик; а глаз разгоранье стояло; меж всеми предметами комнат твердела кремнистая ночь; и – замучили: неголюбивые помыслы:

– Полно вам томничать, – ей мимоходом сказала мадам Вулеву.

И слышался в ночь отщелк ручки дверной: Эдуард Эдуардович шел – коридором, столовой, гостиной, кружа по квартире, подняв свою руку с украшенным шандалом, путь освещая себе; открывалась за комнатой комната выблеском золота рам (не квартира – картинница); дамаскировка тон-

чайшая стали, фарфоры и набронзировка настенников, – свивы змеи, разевающей пасть, – выступали в круг света.

Круг – двигался.

В центре его проходил не Мандро: на стене отражались не бакенбарды, а – дьявольщина.

20

Фон Мандро обнаруживал очень кипучую деятельность.

Посещал заседания акционерной компании; здесь председательствовал; Соломон Самуилович Кавалевер просматривал счетные книги; а Панский, Жан Панский, которого в Стрельне прозвали Шампанским, Шантанским, а в прочих местах Шантажанским, подписывал чеки на крупные суммы; присутствовали: Преполодзе, Иван, грек Пустаки, Кадмиций Евгеньевич Капитулевич, француз Дюпердри, англичанин Дегурри (с таким медно-цветным лицом), чех Пукэшкэ; все люди с практическим нюхом.

И слышалось:

– В штабе...

– Известно, что...

– Главное интендантство спешит.

– Установлена с Константинополем связь.

Секретарствовал Викторчик, – так: «пустячок», как о нем отозвался, играя морщиной надбровья, Мандро.

«Пустячок» прилетал впопыхах с очень туго набитым

портфелем: шушукаться; сортировали бумаги покипно; нумерационную книгу рассматривали; после Викторчик вез вороха документов, скрепленных печатью «Компании», на Якиманку, к Картойфелю, родом из Риги, имеющему отношение вовсе не к фирме «Мандро», а к – представьте же – к фон Торфендорфу, которому он, поднося вороха документов, коверкая русский язык, говорил с непонятным смешком:

– От Мандор: К^о Мандор.

«К^о» – «Компания»: странно, – зачем переделал Мандро он в «Мандора» какого-то; для каламбурика? Ведь называли же члены «Компании» – Капитулевиц, Пукэшкэ, Пустаки – Мандро: «Ко-Мандором».

– Вы – наш Командор, – извивается Викторчик, шаркает и выбегает с портфелем бывало.

Да, Викторчик!

Перебитной человек, с миганцем, весь ползкий, тончливый, еще молодой, а уж гологоловый; моклявое что-то в нем было; но взгляд – с покусительством; в доме лакеи любили его; не любил лишь Василий Дергушин, лакей молодой, человек положительный, очень хорошего тона; гостей обнося редерером однажды, услышал кусок разговора: с захлебамми Викторчик тихо шептал Безинову, скосив на Лизашу глаза:

– Экстатичка, чуть-чуть идиотка: как раз ему пара.

– Она ж еще девочка... Он же ведь...

– Эротоман! Ну и много ж вы смыслите?

И – гигигигиги!

– Эротоманы – несчастные люди, – вздохнул Безицов.

И – стакан свой подставил.

Василий Дергушин, налив редерсру обоим, пошел с редерером к Луи Дюпердри, к Мердицевичу, к Поку; гостей обойдя, – к Вулеву:

– Так и так-с!

Вулеву же, – Лизаше прислала портниха в тот день ее первое, длинное платье, – Лизаше сказала:

– Мон Дье!¹⁴ Я же вам говорила: узехонько... Ах, Дье де дье!¹⁵

И пошла к Эвихкайтен, которая тщетно Лизашиной матери место занять собиралась; мадам Эвихкайтен бывать перестала; о ней говорили:

– Мадам Эвихкайтен – мадам с язычищем!

В коммерческом круге с тех пор домножались какие-то темные слухи.

Лизаша, Лизаша!

.....

В последние дни, возвращаясь домой, Эдуард Эдуардович был озабочен; и все ж, несмотря на рои неприятностей, он молодился своим перетянутым торсом, представ пред Лизашею; ей улыбался, на ней разрастаясь глазами, пытался неж-

¹⁴ Боже мой! (*фр.*)

¹⁵ Бог богов! (*фр.*)

ничать с ней – на отцовских правах:

– Подойди ко мне, Ляля моя...

И как будто нарочно, когда подходила Лизаша к нему, опускал он глаза в бакенбарды, скромнея лицом; но в глазах сверкачевки стояли у ней; и мадам Вулеву говорила:

– Вам нужно бы сверстниц; мы – что; старики... Мы – не пара вам, – нет...

Эдуард Эдуардович, тупясь, молчал; был отменно любезен с мадам Вулеву: подарил ей подвесочки.

.....

Раз услышала Лизаша конец разговора между Преполодзе и Викторчиком; выходило, что есть с Кавалевером ссора; ну что ж? Промелькнули словечки:

– По собранным сведениям: в шляпе...

– Старик вычисляет и ночи, и дни...

– Он кончает работу...

– Теперь – заработаем...

– Сын...

Стало ясно, что «сын» это – Митенька, что «вычи-сляет», «старик» – отношенье имеет к бумажке, которую подобрала в кабинете, которая выпала после пред Митенькой в тот многопамятный день; ту бумажку она продолжала таить у себя из каприза, хотя она знала, что «богушка» тотчас бумажки хватился; и рылся в портфелях.

И – спрашивал:

– Вы не видали бумажки, Дергушин?

– Какой, я осмелюсь спросить?

– Да – такой, – показал он «какой», – мелкий почерк; на ней – вычисления: буковки.

– Нет-с...

– Не видала, Лизаша?..

Смолчала: бумажка осталась (каприз!).

Ей казалось неясным: при чем тут профессор Коробкин? Зачем имена Кавалевера, Викторчика, Торфендорфа, Коробкина перекрещались: Коробкин, Коробкин, Коробкин!

Коробкин!

Не нравился Викторчик; а Торфендорфа боялась: с Берлином и с Мюнхеном сносятся; о Лерхенфельде каком-то, с которым дружит, – говорит; тут вскрывалась невнятность; стояла над ней безответно; и – знала: ответит гранитным молчанием: ночь!

21

Как прекрасен был выезд Мандро, облеченного в мех голубого песка, или в черный, в соболий (такая же шапка), влекомого розовым мерином, или караковым: в масляных яблоках; несся сквозь дымку метелей, сквозь подтепель марта.

А вслед – раздавалось:

– Мандро!

– Какой выезд!

– Какие меха!

– Какой конь!

Домножались какие-то темные слухи.

Росли неприятности: и, задержавшись в конторе, когда разъезжались Иван Преполодзе, Пустаки, Дегурри, Кадмиций Евгеньевич Капитулевич, француз Дюпердри, – с Кавалевером пикировались:

– Таки Торфендорфу открытие это обязаны сдать.

– Чем обязан?..

– Как чем?

– Мой почин: если б я не открыл...

– И не вы...

– Все равно, если б я не напал на открытие...

– Сами же вы обещали...

– Но я исполняю ведь, кажется, что обещал: человек мой сидит же...

– Баклушничает...

Замолкал, прикусивши губу.

Открывалось, что сила компании есть Торфендорф, – не Жан Панский, Шантанский; и – явствовало: Кавалевер – не звездочка в громком созвездьи: созвездие, перед которым поставили декоративный экран с нарисованными бакенбардами, с огромной рекламой: «Мандро». Нелады с Кавалевером – разогорчали; ведь ставился даже вопрос в очень вежливой форме: в витрине «Компании» не заменить ли модель восковую – моделью; а именно: фиксатурные баки не снять ли, чтоб выставить вместе с помадой губной завитую бород-

ку Луи Дюпердри.

Торфендорфу понравится эта французская вывеска.

После таких разговоров Мандро затворялся; нахмуривал срослые брови меж синими стенами очень гнетущего тона – в своем кабинете; пав в кресло, – в огромное, прочное, выбитое ярко-красным сафьяном, – чесал бакенбарду, немой, кровогубый и злой: от досады, от сдержанной ярости.

Вставши из красного кресла, хватал телефонную трубку: и позой заверчивость выразив, трубке показывал зубы:

– Алло!

– Сорок пять, двадцать восемь...

– Курт Вальтерович?

– Попросите, пожалуйста, фон Торфендорфа.

– Курт Вальтерович, – зубил он, – все – прекрасно...

Но в ухо царапались злые расхрипы далекого медного горла.

– Да...

– Даа...

– Ну, конечно.

– Наладим...

– Да, да...

– Будет сделано...

Бросивши трубку, сосал он губу озабоченно; и пососавши, – за трубку хватался, вторично:

– Пожалуйста, барышня: пять, восемнадцать... Спасибо...

– Алло!

– Это – Викторчик?

– Слушайте, Викторчик: я говорил с Торфендорфом...

– Ну?

– Я – успокаивал...

– Все же, поймите – нельзя так, нельзя: нет, нет, нет... – на столе он в кулак зажимал шерстяную, струистую ткань. –

Вы спешите: давите... Вы – жмите...

– Не хочет? – над носом сбежался трезубец морщин.

– Заболел? Пьет?

– Что ж Грибиков, старая крыса?

– Претензия?.. Черт!..

Рука с трубкой рвалась:

– Хорошо же...

И трубку бросал.

И, возлегши локтями на кресло, висок прилагал он к согнутому пальцу; насупясь, помалкивал, взористый и густобровый, бросаясь от дел, волновавших его, к иным мыслям, – каким-то своим; и отваливался отверделым лицом; поворачивал ухо, прислушивался; и со странными скосами глаз поднимался, на цыпочках шел к коридорной двери, чтобы высунуться на отчетливое потопатывание удалявшихся, маленьких ножек.

Она проходила походкой своей лунатической.

Он же – вперялся, на ней разрастаясь глазами; и вновь возвращался, вздыхая, к столу; и бросался в сафьянное кресло;

задумчиво в воздухе взвесивши руку, другою финифтевый перстень на пальце вертел; и соленный, и злой, – точно сам себе ставил вопрос:

– Что же далее?

Пальцы дрожавшей руки отвечали прерывистой дробью...

– Ну да... Тратата!.. Остается одно, остается одно...

Но взволнованный этим, ему самому еще страшным решением, он, топая, вскакивал; и – перетрепетом звякали искрени люстры.

22

С докладом шел строгий лакей в кабинет фон Мандро:

– Кто?

– Какой-то...

Какой-то просунулся в двери взъерошкой, в широковоротном своем сюртуке долгополом, с широко расставленным носом: прекрасные комнаты; кресла и лоск; тут заметил – стоит плоскогрудая девочка и, распутивши юбчонки, такую плутовочкой кажет ему свои мелкие зубы; и – делает книксены.

Носом ей сделал кувырк он:

– Мое вам почтенье-с!

Ногою о ногу тарахнул; с промашкой сказал:

– Как вас звать, говоря рационально?

– Лизашею.

Набок склонила головку.

– Лизашею?

– Да!

И – пьяниссимэ глазки.

– А смею спросить, – почему не Сосашею?

– Что?

Передернуло.

– Вы, полагаю я, лижете что-нибудь?

Вспыхнула:

– Я ничего не лижу.

И проснулось дичливое что-то в глазах.

– Вот и кошечка лижет, – там, сливки... А Томочка – песик такой жил у нас – тот лизал у себя, в корне взять, под хвостом.

– Фи!

Как будто – клопа раздавили под носом:

– Вот глупости!

Но – баламутили с ним, балагурили с ним ее глазки.

– Вы сколько же лет, как...

– Шестнадцать...

– Нет, – я говорю: сколько лет, в корне взять, вы в «лизашах»?

– Вздор!

Глазками смерила.

– Прежде вы были «сосашей», – свирепо отрывкал с подшарком, – мамашу сосали!

Юбчонкой вильнула презрительно: ну, – и пускают же дрянь!

Тут и «богушка», – подобострастный, пленительный, – выскочил с видом таким нарочито простецким; рукою за руку схватившись, к груди прижимал две руки, свою голову набок склонив:

– Как я счастлив, профессор!

Профессор?

Лизаша стояла с открывшимся ротиком:

– Вот он какой?

А «такой» повторил, пальцем тыкнув в Лизашу, а носом – в Мандро:

– Говорю вашей дочери, – нос свой на палец наставил и пальцу кивнул, – что – сосашей была; а потом уже кашку лизала.

И с грохотом маршировал вокруг Мандро: руки – за спину; нос – на Мандро; а Мандро из почтения, сиреневый, сентиментальный, – глядел по-совиному (томно и вишнево) – в светло-коричневой кафеолейной визитке и в вычищенных крембрюлейных штанах; галстух бледно-небесного цвета счернял ему волосы.

Точно окончил он курс костюмерии.

Он показал на гостиную:

– Милости просим!

И стан изогнул, точно кончил танцклассы.

Прикосый профессор прошел перед ним пахорукой по-

ходкой: на две головы ниже ростом; но черепом – черепа в два; головою зашлепнулся в кресло, рукою схватившись за пепельницу черной яшмы (лидийского камня); Лизаша за ними прошла и уселась на канапе, укопавшись подушками, ножки свои под себя подкарачавши; пересыпала рукою горсть матовых камушков; и – наблюдала.

Профессор подбрасывал пепельницу, выжимая какую-то странную дичь из себя и смеясь: он вменял себе в долг каламбуричь во время визитов; у «богушки» в хохоте дергались уши, а пальцы хватались за губы: всем прочим владел, а с ушами не справился:

– Ну, и какой же вы милый, – помазались пальцы, – шутник. Жест невкусный!

Лизаша глядела вполне удивленными глазками, всунула в рот папиросочку, соображала: «старик вычисляет», «кончает работу», «теперь заработаем» вытянув шею, стрельнула дымочком; и слушала, что говорит «вычислявший» пузанчик:

– Не любо – не слушай, а врать – не мешай... Есть такая пословица, в корне взять: да-с!

Поднесла папироску к губам: закрыв глазки, пустила кудрявый дымочек; и, бросивши ручки от ротика вверх, быстро стала вертеть папироской своей.

Фон Мандро закурил, отваясь, положила ногу на ногу, локоть руки уронивши на столик, а локоть другой уронивши на львиную лапочку кресельной ручки; сигарой чертил полуэл-

липсис в воздухе: дым от сигары, взвиваясь синявою лентой, нетлился узорами, перерезая экран, на котором пласталася черная, золотокрылая птица.

Лизаша дивилася, выпучив глазки: бумажку, которую «богушка»... крик в телефонную трубку: Коробкин, Коробкин, Коробкин, Коробкин!

– Так вот он профессор Коробкин какой?

Митя вспомнился:

– И не такие бывают у нас.

«Не такие» же – «богушка»; «богушка» виделся ею строителем Сольнесом; так почему ж он – «Коробкин, Коробкин»; ведь с теми ж правами могли бы твердить: фон Мандро, фон Мандро, фон Мандро; но... но... но: домножились какие-то темные слухи; быть может... и – тут разверзалась невнятица; видела – бездну.

Сидела – над бездной.

А «богушка» точно разыгрывал фарс в постановке К. С. Станиславского: «Скромный делец и великий ученый» (был в сущности фарс – интермедией к драме: «Удав перед птичкою»).

Костюмировщик!

Профессор, рукою кругля золоченые лапочки кресельных ручек, затылком прижался к сквозной позолоте раскрещенных кресельных крыл:

– Дело ясное, что устаешь от занятий, а хочется очень смеяться: смех – да-с – дело доброе; я вот в театр не хожу; ну и

вот: сочиняю стишки – так, на разные случаи жизни; так, – вроде прутковских.

И вдруг оживился:

– Вот Аннушка, Анна Ивановна – ясное дело – прислугой служила у нас: из купчих разорившихся...

Очень забавно рукой подмахнул он; Лизаша, лисенком та-ась и немного дичась, от души подхихикнула.

– Аннушка... Ну, так я ей...

Он со взлаем прочел:

И у меня была когда-то ванна, —
Сказала наша горничная Анна, —
Но, отдаваясь року злomu,
Я ванну отдала городовому!..

Зачем он рассказывал это, придя к фон Мандро в первый раз?

– Очень, знаете, скучно без смеха: комиссии, лекции – гм – заседанья: совета, правленья; и – да-с!

Эдуард Эдуардович только что вновь собрался закурить; но, услышав о тяжких трудах, из почтения вынул сигару из губ, не поджегши, хотя уже спичкой он чиркнул; когда ж разговор перешел на житейские темы, – в рот сунул сигару: и чиркнул, смеясь и трясясь животом; и Лизаше вдруг стало понятно, зачем порет дичь знаменитый профессор, а «богушка» пляшет пред ним простеца.

Они оба следят друг за другом.

Действительно: старый профессор, бросая гротеск за гротеском, все будто Мандро надбуравливал глазками:

– Где-то его я уж видел: не то фармазон, а не то миродер, черт дери: да-с – есть сметка и нюх.

Все как будто хотел навести фон Мандро на предмет для него интересный; Мандро же, почуявши что-то, – надал простеца; дескать: это – напрасно; я – так себе: просто; стараясь избегнуть стаккато, он бархатным басом легато наигрывал, заговоривши об экспорте масла сибирского в Англию:

– Мы бы... «Вагон-ледник» сделают быстро. Железнодорожные сети, пути сообщенья...

Взглянул гробовыми глазами, вторыми, – сквозь первые, глупо совиные; и, поперхнувшись дымком, клокотал горловым, изнурительным кашлем:

– Кха-кхо!

Отразилось в лице что-то горклое; и – показалось, что в дряхлости он превратится в гориллу.

Профессор подумал:

«Да, да-с: человек с изворотливой совестью он».

И – испытывал страх; между нами сказать, – наводил уже справки о нем: вспоминалися толки о том, что Мандро позволяет себе слишком много с одной гимназисточкой, даже – причастен к содомским грехам; разогнать подозренья – итоги бессонных ночей и, быть может, кошмаров – пришел он.

Они укрепились, когда за спиной у Мандро, из открытых дверей, сквозь диванную он заприметил кусок кабинета, –

глубокого, синего, очень гнетущего тона, какой он уж видел; но – где? В подсознании, где желклые, желтые краски обыденной жизни съедались пламенем?

И – пламенело пустое, кричавшее, красное кресло оттуда.

.....

Уж подали чай и ликер на золотенький столик с фестонами; чашечку тихо поставил лакей перед ним (на фарфоровой чашечке – розы бледно-брусничного цвета); Мандро предлагал «пралине».

– Благодарствуйте!

– Нет? я – возьму: я – такой сластоежка!

Боднулся отчетливо вычерченными серебристыми прядями, точно рогами; профессор, при этом движеньи, которое вспомнил, схватяся за львиные лапочки кресла, почти прирвскочил, чтоб бежать: будто тут перед ним не Мандро, а горилла сидела.

Все – вспомнилось!

– Что с вами?

– Так-с – ничего-с!

.....

Вот что – вспомнилось: утро – холодное, первое после жаров (это было полгода назад); в желтом доме, напротив, в окне, вместо Грибикова, – черно-синие баки торчали такие вот точно!!

.....

– Я думал, что вы...

– Мне – пора-с!..

Тут профессор, вскочив с быстротой подозрительной, шаркнул, ткнув пальцы: Мандро тоже встал, изгибаясь затаенной позою, найденной в зеркале: и с перекошенной злою гримасой склонил седорогую голову, сжав крепко пальцы и склабясь над ними: как будто кусал эти пальцы; профессор же коротышом: не в ту дверь!

– Не сюда: вот – сюда!

Эдуард Эдуардович жест пригласительный вычертил длинной рукою (он был долгорукий): массивный, финифтевый перстень рубином стрельнул.

И втроем – побежали: втроем очутились – в передней, в коврах, заглушавших пришлепочки эхо к отдельным хлопочкам шагов; уж профессор просунулся в шубу; неясно он видел (очки запотели): лежит размаханистая круглая шапка его.

Цап ее на себя!

В тот же миг оцарапало голову что-то: из схваченной шапки над ярким мохром головы опустились четыре ноги и пушистый развеялся хвост; этой шапкой взмахнувши, – ей в землю!

Пред нею раскланялся он:

– Извините-с – пожалуйста-с!

Шапка же стала...

– Ах черт дери: Васенька!

Стала котом!

Изогнув свою спину дугой, она бросилась в глубь коридора; кота вместо шапки надел!

Подбегающий с шапкой лакей, фон Мандро и Лизаша, стоявшие с ртами раскрытыми, чтобы не лопнуть от хохота, остолбенели, когда, не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах, громко вскрикнул:

– Забавная-с штука: да, – да-с!

И, схвативши коричневокожий портфель, побежал катышом прямо в дверь.

23

Плевком, стертым прохожими, пал из подъезда и быстро пустился бежать, волоча свою шубу в прохожих; да – подтепель; да, косохлесты дождя: полуталый ледок, слюнотеки – какая-то каша, какая-то няша; размокропогодилось и распространилось лужами, заволдырились пузырьки; да, – пережуй снегов.

Дроботала пролетка.

– Тарáрое... рбе-рбе... старáрое-стáрое... Тár-тартар!

Тартары!

.....

– Как-с?

– Что-с?

Да, да – в подсознании стояло: еще накануне тот сон, будто Грибиков фукнул из форточки, – пырснули прахом го-

да многолобых усилий; и вот через день – в этой форточке встал: фон Мандро...

И сейчас же ответил себе он, что – дичь: поглядел чернобакий какой-нибудь; ведь не один фон Мандро носил баки; окошко захлопнулось; был – листочес, сукодрал, древоломные скрипы.

Тогда начинался холодный обвой городов.

.....

Вот и площадь: лавчонки, кирпичный чай в плитках, и – вывеска «Белоцерковский-Гусятинский – Овощи».

Моську едва не зашиб; тут какая-то дама обиделась:

– Экий нахал: куда прете?

Хотя и надел он кота, над собой подшутивши, – какие там шутки; и шел с разгромленьем во взгляде, с разгрязом в сознании среди течи людской, многорылой, ошибшись одним переулком и думая, что – Табачихинский (шел Гнилозубовым); дом шоколадный, лицеванный плитами, с глянцем, с подъездом из тесаных серых камней и с абаками желтых колонн; да и – дворик квадратный; квадратные стены; квадратны пространства сознания; как их осознать? Ведь сознание – круг; квадратура – поверхность фигуры, в квадрат обращенной; задача, увы! – нерешенная; да-с: осознать обстоянье – решить нерешенное; и – в квадратурах запутался; не осознал обстоянья.

– Кого вам?

И дворник с метлой – перед ним; не на тот двор попал,

хотя то же проделал он: по переулочку счетом пятьсот сорок девять шагов; лишь одно – в переулок не тот он свернул; тут – чужое; у тумб разыгрались мальчишки; потаск между ними веселый пошел; ворошился людьми переулок; дождало пустым пустоплюем кропившего желоба; клок из тумана висел в нависающем исчерна-сизом и исчерна-синем прихмурьи, откуда рвануло струей ледяною.

В чем дело?

Мандро!

.....

Если б мог осознать впечатленье от звука «Мандро», то увидел бы: в «ман» было – синее; в «др» – было черное, будто хотевшее вспомнить когда-то увиденный сон; «ман» – манило; а «др» – ? Наносило удар.

.....

– Да, удар – над Москвой!

Что такое сказал он, совсем неожиданно; и – осмотрелся: проперли составы фасадов: уроды природы; дом – каменный ком; дом за домом – ком комом; фасад за фасадом – ад адом; а двери, – как трещины.

Страшно!

Свисает фасад за фасадом под бременем времени; время, удав, – душит; бремя – обрушится: рушатся старым составом и он, и Москва, провисая над Тартаром.

– Рое-рой... Рбется... Старое-стáрое... тáр-тарарáровое...

Тарта-мантор... мандор... Командор... – грохотала пролетка.

А все выходило:

– Мандро!

.....

Вдруг припомнился случай с ним бывший, когда он звонился, забыв, что звонится к себе; и на голос прислуги, кто там, отозвался вопросом, к себе самому обращенным:

– А что, барин дома?

Услышав, что «барина» нет, он куда-то пошел: очевидно, домой; и тогда только понял, что был уже он у себя и что нечего было ему вопрошать «барин – дома», когда этот «барин», – он сам (между нами, – какой же он «б а р и н»; смотрите, пожалуйста, – «барин»: ха-ха! Так – какое-то, старое: роется в шубе под собственной дверью).

– Рой-рбе-ро-ро, – дроботала пролетка.

Звонился.

Играло вверху морозяной гирляндой созвездий; посмотришь – покажется: звездочка катится светленьким следиком; падает над головою; так небо овчинкой падет; так падет под ударом.

– Др-дрб!

Черноротый подъезд съел его.

– Вы бы, Дарюшка, – знаете ли – не снимали б цепочки, а то, говоря рационально, – там всякие, воры шатаются...

– Слушаюсь!

– С фомками...

– Да-с.

– Без цепочки пропустите, «о н» – дело ясное – цап-царап:

по голове.

И – прошел в кабинет.

Надел шлёпы: стал шлёпой; и вздевичным взором глядел
в потолок не обрушится ль; все – под ударом!

.....

Да, да!

Переставить тома, переспрятать бумажки, следы замести;
он над сваленем книг призадумался горько. Как муха в сетях
паука, зажундел сам с собою, устроил пихели бумажек в на-
битые ящики; снова их вывалил, затрескотал дверцей шка-
фа.

Кой-как распихал по томам.

Быстроное время совалось во все, точно Томочка-пё-
сик; теперь собиралось просунуться резким звоночком во
входную дверь.

Что-то – будет!.. Наверное – что-то огромное, – вот-вот-
вот-вот: подошло!

.....

Он надел на себя не кота, а – терновый венец.

Конец первой части

Москва под ударом

Часть II

Москва под ударом

Вместо предисловия

Роман «Москва» задуман в двух томах, из которых каждый – законченное целое; но оба лишь создают целое – «Москву», как мировой центр.

В первом томе, состоящем из двух частей, показано разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний, – в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигентском кругу.

Во втором томе я постараюсь дать картину восстания новой «Москвы», не татарской; и по существу уже не «Москвы», а мирового центра.

Лишь в обоих томах очертится тема моего романа.

Автор

Сентябрь 1925 года.

Кучино.

Глава первая

Свалень событий

1

Вы представьте, – однажды под вечер Мандро – фон Мандро – пробирался по неосвещенным покоям, таясь от лакеев, не в шубе собольей, а в драном пальтишке, подняв воротник; проюркнул, точно ворик, в подъездную дверь и на дрянненьких саночках, точно какой неимущий, поехал куда-то; стрельнул сверкунцами Кузнецкий, Тверская; Никитская сбавила свету; замеркли уже переулочки.

Над многоверхой Москвой неслись тучи.

Поземица снежная перевивала волокна под ноги; расстались два дома; меж ними писались замахи метели; мутнел переклик расстояний; кривой переулок разглазил фонариком; вот – и заборик: с примётами снега.

Мандро расплатился.

Безверхий домишка желтел перед ним из теней; в приказиток прошел; серопузая психа попалась под ноги.

И голос сказал:

– Не споткнулись бы вы о карбасину.

Там из окошечка под голубым колпаком дозиратель смотрел неживым и каким-то калелым лицом.

Позвонился.

В окне дозатор вскочил, прилипая к стеклу старобабьим своим подбородком; взял лампу: пошел отворять; прокощеила пёстень в окне световом, переломанная на гнилявом заборике; два растрепанца в тени приворотенки ляды точили:

– Смотри-ка...

– Догжий какой...

– Долгорожий...

– И с баками...

Дверь тарарыкнула (домик был с по́скрипом); и на пороге, ладонями стиснувши ворот расстегнутый, шеи своей художину показывал Грибиков, руку простерши (живот с подтягухой); глаза – с прихиреньем; в старышке, в исплатанных, серо-кофейных штанах; как-то косо взглянул на пальтишко (зачем не в песцах), подал плоскую руку; сказал – с хрипотцой:

– Вы и есть.

Не смутило его посетительство это; строптивил всем видом своим; он пошел дергоногом, валяся на бок и едва волоча свои кости в прожелклую комнатку, где охватил запах каши и клея; Мандро, не снимая пальто, шел за ним, замрачая, и, будто с пригрбзою, вымедлив:

– Что постоялец?

Он – дельтообразным казался; и Грибиков – «кси» – вдруг пропсел как-то ртом; и рукой гребанул раздражительно:

– Сутормы строит: плохонек, – овшивел...

Коснулся своей бородавки, закеркал и сплюнул:

– Никóлил неделю: пококал посуду мою; а теперь – занутрил; не выходит из комнаты: стонет ночь-но́ченски.

Косо на палец взглянул:

– И пося́пору пьет.

Палец вынюхал:

– Да, я могу сказать: впустопорожне живет у меня. – за-дербил спину он откоряченным пальцем; на дверь показал:

– Полюбуйтесь сами: устроил из комнаты мне мухин сын этот мшарник.

И – дверь он открыл.

И с пожесклым лицом Эдуард Эдуардович шел в эту дверь; затворил ее; Грибиков заколтыхался к столу; и, дву-глазку надевши на нос, продолжал себе что-то подшепты-вать, тихо мурлыча, как будто его не касается вовсе пребы-тье Мандро; но в глазах подымался сплошной муший зуд: любопытство сплошное.

И – мешень из мыслей.

2

Ну, ну, – и закута ж!

Муругие стены с придухою, плесенный запах; какая-то па-рина, прель; не постель – просто козлы; на них – растряпья промесилица грязная; стульчик порожний (зачем-то сушил-

ся подштанник на нем); на полу и расплюй, и мокрель; на постели лежал заварызганный карлик в кофтенке кирпичной скорей, впрочем, серой от грязи, трухлея своей передряблой и струпистой кожей; под глазом вскочил неприличный пупырь; еле дергались ноги его в потрясухе; изветошил платье. какой-то бахромыш додирывал; с сипом дышал, что-то мумлил.

Как видно, – был пьян.

Эдуард Эдуардович, чуть не заткнув нос от вони, всем видом безгливость показывал; жесткнул глазами на карлика:

– Что – насандалились? – зубил он.

И отвечало безгласие.

– Что ж вы молчите?

Постель разбарахталась; что-то прокеркало:

– Лучше оставьте казенье...

Мандро измертвил его взглядом:

– Вы бьете баклуши: вы пьете.

И карлик поднялся своим пролежалым лицом, пожелтелым, как старый лимон:

– Что ж, прикажете жить водохлебом?

Чернела заклея дыры носовой.

– Нет, не жить водохлебом, а, взявши солиднейший куш, двинуть дело скорей.

Карлик сел:

– Вот они, – получайте обратно.

– Что?

– Деньги: пожалуйста... Мне их не надо: довольно с меня...

Мандро вздрогнул; не без удивленья взглянул, но – сдержался; развивши стратегию взглядов и позы, пожескнул лицом:

– Нате... – карлик затрясся. – Пожалуйте... Там вот – там, там: под периной... Своими руками берите обратно... Не я ли следил, как умел? Завел связи с прислугою... Все разузнал: и про письменный стол, и про... Что?.. Вам все мало: я знаю, чего вы хотите... Чтоб я ж и украл их?

Мандро столпенел.

– А вы знаете, что говорится в Писании? Там говорится: «Тебе говорю, Кавалькас, – не укради!»

Стащился с постели; стал рыться в разгрязах; и, вытащив старый заматыш, потряс им над лобиком:

– Вот они, сребреники!

И на кривеньких ножках приклюкал к Мандро, под микитки:

– Смотрите же...

Поднял свое желто-алое глазье: и лютою злобой резнуло оттуда:

– Вот.

Брошенный мотыш, ударив Мандро прямо в лоб, шлепнул в пол; и Мандро его поднял: и – бросил обратно в лоскутную рвань:

– Ну-ну-ну...

Зашептал примирительно, злобу сдавив, и руками схватясь за бока:

– Походите на кухню, скрепите сношенье с прислугою: понаблюдайте... Вот – все...

Карлик стул подтащил, встал на стул; шею вытянул; руками – в боки, нос – в нос (или лучше сказать, в нос – отсутствие носа).

– А?..

– Что же еще?

Ткнулся пальцем в дыру:

– А за нос?

Тут Мандро, изо лба сделав морщ, прошипел, задыхаясь от злобы:

– Напрасно вы: старая песня...

– Но я докажу...

– Вы ничем не докажете...

Карлик ощерился: в горле его, клокоча, – засипело:

– Ссс...

– Полноте!..

– сссиффилиссс...

– ссам...

– !!

– заразили...

– И!

– Всс...

А со двора заглянули в окно:

- Кто такой?
- Густобровый...
- Вот. – баки расправил...
- Мандрá...
- Он и есть...

.....

Но Мандро, помолчав, пересилил себя:

– Обойдется.

Усевшись на стуле верхом, к спинке стула прижавшись морщавеньким лобиком, карлик рыдал: безутешно: под бакой Мандро:

– Людвиг Августович, – успокойтесь: ну – полноте, ну, – Людвиг же Августович!..

– Ах, оставьте меня, сатана!

– Пустяки.

– Одолели сомнения, – глазье поднял желто-алое, – религиозные...

Снюхался, видно, с княжною в штанах:

– Чем я был?.. Чем я стал?..

– Чем вы были?.. Припомните лучше «Панопти-кум» на Фридрихштрассе... Вот чем были вы... Чем вы стали? Что ж, – вы человек обеспеченный...

– Уж разрушается нёбо... О, о!

– Там подлечат.

– О, о... О, майн Готт!.. Кавалькас, Людвиг Августович, чем ты стал? О! О! О!.. Ты – убил... Ты – украл... Ты – не

чтил отца с матерью... Ты – любодействовал... Ты... Ты...
О, вэ, – перешел на немецкий язык он, – Марихен, Марихен,
майн швестер: их бин онэ назэ!..

Мандро, не решайся сесть из брезгливости, стиснувши губы, с досадою ждал окончанья припадка; порыв безутешного горя сменился порывом больной экзальтации:

– Не отвернись от меня, ду, майн Готт, я постиг теперь свет, – перешел он на русский язык, – ты послал мне одну свою добрую душу, которая...

Вот так княжна!..

– О, я буду лечиться... Я...

Все еще плача, привстал и пропел он:

В иную обитель
Пути я вознес, —
Сладчайший вкуститель
Сладчайшей из роз.

Мандро это слушал: и – ждал; карлик сел на перину, шурша ею громко; за стенкой послышалось – прохиком злобным:

– Перину-то ты обдави: растарашил перину, – шаршун!
Беспокоился Грибиков.

Более часу возился Мандро; наконец, кое в чем он успел; кое в чем – успокоился; вышел с пожелклыми взорами, с позеленевшим лицом в переулок: в разглазые искорки вспыхнувших домиков!

Карлик, достав из-под козел бутылку, с ней лег; и просу-

нулся Грибиков:

– Вшивец ты, вшивец!

3

Лизаша стояла перед зеркалом в люстровом свете такой вертишейкою, вертиголовкою, делая в зеркале глазки себе и юродствуя жестами, детски не детскими, а за спиною ее, из-за складок портьеры, выглядывала густобровая, густоволосая голова: Эдуард Эдуардович, в позе, с ослабленным ртом, как-то свински глядел на нее; эти взгляды ложились слишком уж пристально; липли к коленям, к груди; и, казалось, хватались за руки, за ноги, за груди, стремясь обездушить.

Ей стало неловко (а сердце в межреберьи билось).

Ему папиросный дымочек пустивши под нос, подобравшись, пошла прочь от зеркала с твердыми, сжатыми бровками; нервно бахромилла пальцами краюшек белого шарфа; сегодня надела она свое первое длинное платье, – легчайшее, белое: юбка с оборкой плиссе.

Они ехали с «богушкой» на заседание «Эстетики».

Он над зеленой доской диабаза глаза опустил и рукой гребанул бакенбарду; оправил вишневый свой галстух, прекрасно повязанный:

– Едем!

Ему «мадемуазель фон Мандро» показала вдруг ставшие

лунками глазки, взяла его под руку, чтобы пройти с ним в проход, где со столбиков статуи горестных жен устремляли глазные пустоты года пред собою, – не видя, не слыша, не зная, не глядя.

Прошли мимо их не увидевших, горестных жен.

.....

Уж в передней на руки прислуги валились ротонды; пропирка и подпихи локтя, защемы калошею тренов; снимались шапки собольи, барашковые, чернополые шляпы (был март); в отдалении стоял муший зуд голосов; кто-то хмуро пенсне протирает; кто-то палку с балдашкой бросил служителю в люстровом свете; мужчины несли свои плечи по лестнице; дамы – прически, вуали и трены.

Аизаша с отцом поднималась по лестнице, устланной сине-зеленым ковром, проходя в сине-серые, тонные стены.

– Bonjour...¹⁶

Эдуард Эдуардович замодулировал голосом, миной и позой с зеленоволосой русалкой, которая с ним заструилась с подплеском «бо мо»¹⁷; вот она, подрусаливши взглядом, прошла в кругопляс сюртуков и визиток; в дыхание шарфов, в груди раздвоенья, прикрытых чуть-чуть, в передерги плечей оголенных, в проборов и лысин душистых подкив, в экивоки расчесов, улыбок, настоянных слов (на вине и на рифме), в свободные галстухи, в матовый рык голосов, переска-

¹⁶ Здравствуйте... (фр.)

¹⁷ Красное словцо (фр.).

зывающих распикуантнейшие баламутни Москвы.

– Пукин стены гостиной своей заказал расписать Пикассо!

Пикассо приезжает в Москву...

– Нет, вы знаете, чч-то есть Сезанн?.. Это кк... орочки... чч... ерного хлеба... пп... пп... пп... пп... после обеда пп... пп... – заикался в другом углу Пукин.

– Сс... сс... Сергей Пп... оликарпыч... ггурман... В «Метрополе» ему пп... одают за обедом не сс... уп... – кк... еросинчик, а вместо бб... бри... кк... кк... кк... кк... усочек кк... азанского мм... мм... мм... мыла... – рассказывал Пукин, известнейший коллекционер, миллионер, скупщик ситцев, бросающий в Персию и Туркестан производство московских станков. Этим летом, себе заказав караван, на ослах и верблюдах он съездил к Синаю, взглянув предварительно в очи каирского сфинкса:

– В гг... гг... гг... глаза бб... бб... бб... божества!

Про своих конкурентов по экспорту ситцев он так отзывался:

– Давить их, – дд... дд... дд... давить!

– Я в салоне мадам Мевуаля встретил Додю Блистейко... Он мне: «Поздравляю: война»... – «Но позвольте – ему – я ведь только что с князем Грибушинским, венским посланцем; он меня уверял, будто все обстоит превосходно у нас и с Берлином, и с Венной», – «Оставьте – смеется мне Додя – ведь сам же я видел новейшую карту Европы, где вместо империи Габсбургов – красною краской пятно: Юго-Славия... А?

Э вуалья¹⁸?» – «Ну и что ж, говорю?» – «Ле партаж де л'Аллемань¹⁹ – бросил Додя – в Париже задумано...» – «Кем же?»... Смеется: «Спросите же в Гранд-Ориан».

– У Вибустиной было премило: Балк вместо «петиже»²⁰ предложил всем мистерию...

– Ну?

– Вы – прозаик там – с «ну». Ну, – кололи булавкой Исай Исааковича Розмарина и кровь его пили, смешавши с бордо; ну, – ходили вокруг него, взявшись за руки.

– Дезинфицировали?

– Что?

– Булавку.

– Конечно... Фи донк!²¹

.....

Эдуард Эдуардович ослабился: остановился, косясь и щурясь на гениев вкуса; пластал перед зеркалом холеной кистью руки бакенбарду, подняв над Лизашею свой подбородок; средь блеска и плеска робела Лизаша под ним растеряхою; ротик открыв, дербя белый шарф ледяными и тонкими пальчиками; Эдуард Эдуардович, видя такую ее, растарашил глаза; и – нагнулся; и – лепкой губою полез; и почмокал губою:

¹⁸ Ну и вот (*фр.*).

¹⁹ Раздел Германии (*фр.*).

²⁰ Шарады, буриме, экспромты (*фр.*).

²¹ Фи, некрасиво! (*фр.*)

– Идем же, – любимочка!

Выблеснул темно-зеленый агат из ресниц на него.

Он ей руку под локоть просунул; и – дальше повел; и влек-
лася походкой своей лунатической; вся занялась нападаю-
щим жаром; глаза углубились.

Но их разделили.

К Лизаше в визитке коричневой, цвета «маррон»: в се-
рых брюках, полосками, шел Боттичелли Иванович; он ей
представил ледащего и ляжкононого супрематиста, которо-
го в прошлом году в баре «Эль» бил в скулу краснощекий
«бубновый валет» Трерицович за пошлый экспромтик:

Угодил он даме, —
Написал портрет:
И не скажешь сразу,
Сколько даме лет.

Ледащий художник с Лизашей приятничать стал, полагая
усилия к ней присестриться: был нем, был поклонен; покор
выражал его взгляд; Эдуард Эдуардович, взором вцепясь, на-
блюдал, как Лизаша уже вертопрашила шарфом и бантами,
все же лучася глазами – ему, одному: там за стайей визиток
и шарфиков ей молодился изогнутым торсом, глаза опустив
в загустелость своей бакенбарды; стоял, перетянутый чер-
ной визиткой, в разглаженных брюках, подтянутых, с четкою
штрипкой, в лиловых, таких безупречных носках из круче-
ного шелка; фарфоровый профиль подняв и заплававши ба-

ками, планировал свои позы с таким поэтическим видом, как будто он ими привык торговать.

И – шептались:

– Он – Дориан Грей...

– Он живет по Уайльду...

– Он... с дочерью...

Но – поразительно: стал кровогубый и кислый, когда подошел Торфендорф, седогривый, двубакий старик, полнотелый; свое равновесие выразив словом и взглядом, старался он что-то такое внушить, силясь быть равнодушным; однако Мандро понимал, что в безгрозице этой гроза собиралась; растерянно зарукодействовал над бакенбардами.

– Вы согласитесь со мною, – сказал Торфендорф очень строго, – что время не терпит, майн Готт! Сами знаете, что «приближается» и...

– Планы посланы.

– Кое-что, – сухо отрезал старик, – я согласен: вы дали; но – мало, но – мало: Берлин, – сбавил голос на шепот он, – три уж запроса прислал.

Эдуард Эдуардович ласково выюркнул взглядом и зубы пустил самопросверком: немец глазами поставил преграду меж ним и собой:

– Он открытие должен нам сдать...

– Тут есть...

– Должен он!

– Затрудненье.

– Живой или мертвый!

Мандро так и выпоркнул:

– Все будет сделано: все!

Торфендорф, став багровым, вскричал:

– Либер Готт, поступайте, как знаете: я умываю, вы знаете,

руки...

И, круто подставивши спину, пошел.

У Мандро на лице проступил зеленоц лихорадки.

Закупились щеголи в длинных, цветных пиджаках, с перехватами, – бритые, чистые, перемудряющие друг друга приемом подделаться к даме, к купцу, к миллионеру, к Мандро, к Миндалянкой и к Пушкину, от мановения пальца которого взвеивались репутации, точно ракеты под небо, не только в Москве, но в Париже: он, взвеив Матисса до гения, выпи-сал «гения» в Пушкинский дом, делал ванну ему из пенящегося редерера и рыбой расстроил желудок; и в это же время рассказывал всем:

– Пп... пп... пп... проживает Матисс у меня: зажился, пп... пп... пп... просто даже не знаю, кк... кк... как спровадить.

Спровадивши, из озорства, он, не бравший в течение жизни своей в руку кисть, подмалевывал в доме своем самый главный Матиссов шедевр «Гризетку в кро-вавом».

Его облепили: пред ним щегольнуть анекдотиком, покрасоваться фигурами и вольноплясом словес: декаденты, доценты, эстеты, поэты; недавно еще Пушкин куш отвалил на со-

здание «Психологического Института»; ему развивали воззрения свои на Когена и Гуссерля приват-доценты, являя собою картину на крыше оравших котов – перед кошкой: весною.

Как кошка, он щурился:

– Пп... пп... кк... кк... пп... пп... пп...

И к нему подскочил репортерик: обнюхать; он крючничал здесь; свой товар продавал в фельетончиках.

Он наживался на этом.

4

Лизашу уже занимала беседой своей мотылястая барышня; что-то ожгло спину ей; обернулась; и – видела; там Эдуард Эдуардыч стоял; через головы всех он возлег на ней взглядом.

Они забарахтались: взглядами.

Вдруг!

Пред Мандро слишком быстро раздвинулась кучка; из центра ее вышел где-то таившийся – маленький, рябеный – Киерко: крепкий и верткий; Мандро, заметив его, раскрыл рот, став таким угловатым, рукастым (манжетка казалась промятою), галстух же – скошенный; он, было, – в сторону, да опоздал, потому что уже Николай Николаевич – заготовушил (с «подчёрком»), засунувши руки в карманы и дергая плечиком:

– Ну те?

– Мандрашка!..

– Что, брат?..

– И ты тут?

На лице у Мандро проступил зеленоец сероватый; глаза стали рысьи, а ноздри расширились; он уже виделв чьем-то внимательном взоре лица, призакрытого взмахами зеленоватого веера, злость и гнушенье: мадам Эвихкайтен! А Киерко, прорисовав треугольник – Лизаша, Мандро, Торфендорф, – ухватившись руками обеими за край жилета, в подмышках, по краю жилета награнивал пальцами дроби:

– А я, брат, признаться, не знал, что ты стал гогель-могелем, – ну те.

Я думал по-прежнему в Киверцах бегаешь ты голоштанником.

Был гоготок из угла.

– А ты, – вот как: «Подпукиным» ходишь!

И, вдруг оборвавши себя, Николай Николаевич Киерко, дернув плечом, отступил: с изумленьем вперившись в к нему подступившую девочку в белом во всем с точно вытертым мелом лицом (до того побелевшим), с кругами огромными вокруг – не двух глаз: бриллиантов, стреляющих молньей; иль – нет: Николай Николаевичу, если бы он пожелал себе дать беспристрастный отчет, показалось бы, что соблеснулись звезды – в Плеяды; Плеяды – вы помните?

Летом поднимутся в небе: пора!

Что пора?

А Лизаше казалось, что вот, – побежала: бежала, бежала, бежала, – куда? Но бежала, чтоб – выпрыгнуть, чтобы разбить это все: тут, сейчас же (революционеркой считала себя); уничтожить – вот этого, маленького господинчика, оклеветавшего «б о г у ш к у», но с таким ей приснившимся взглядом; в ней сердце рванулось – в «пора»!

Если б им здесь сказать, что они убудут оба в годах вспоминать этот миг, прозвучавший обоим настойчивой властью: «пора!».

Что?

То – длилось мгновение.

В следующее – сердце ножиком острым разрежала боль, потому что слепивший ей «богушка» фразой о Киверцах (он не оспаривал Киерко) рушился с башни, как Сольнес; и рушилось что-то в Лизаше: ведь «о н» говорил ей, что детство провел в Самарканде, а юность – в Москве; и – белела: добел – прочернел.

В горле ком появился глотательный.

Киерко же стушевался, вкрутую спиной повернувшись к Мандро, заматававшемуся, потому что его поедали глазами.

И кто-то сказал, точно в рупор: десятками ртов:

– Не Мандро: Дюпердри!

А Луи Дюпердри в своей темно-зеленой визитке с растягом, оглаженный, зеленоногий, на дам загляденье, с румянчиком нежным искусственных, кремовых щек, уж не вблос

– руно завитое, руно золотое крутил, вздернув кончик такой завитой эспаньолки; и губки слагал он, как будто целуя продошенный воздух «Свободной эсте-тики».

Кто-то при нем, рукотер и шаркун, представлял его дамам; и Пукин, сияя, щютягивал руку:

– Рр...рад дд...давно пп... пп... пп... пп... пора так!

Входили все новые гости.

Казалось, что каждый мужчина – срыватель устоев; и каждая дама – модель из Парижа; и все здесь – любовники всех; и казалось, что все здесь любовницы; точно купчихи, парчовые трены развеяв и перья своих вееров, здесь показывали свое глупо одетое чванство; пронес свои лысищи чех, Перешёш, откровенно живущий с мадам Жевудике, – в сплошной кругопляс, в ясный завертень барышень; томный дантист Розмарин ловил ляпис-лазули (не взгляды) мадам Эвихкайтен.

Из облачка кружев пропудрились голые руки и плечики Теклы Матвевны Феклушиной (кто же не нежился в мраморах черных огромных «Феклушинских бань», с металлическим, темным, литым Посейдоном?).

Шутила с мадам Индианц (вот так нос – ушла в нос!).

Индианц, Мариэтта Евгеньевна, – стиль «сапри-сти», кабинэ-де-ботэ²²; брошь с агатами; платье из желтого канфа; глаза, налитые экстазом (ресницы же с прочернью); губы – с подкрасом; вплела себе в волосы целый бирюзник; виляя

²² Косметический кабинет (фр.).

боками, покачиваясь вывертной своей тальей, неслась в карусели из кружев, в волчок из визиток за Ольгою Львовной Яволь: белоснежные руки ее, как в слезах, в бриллиантах; казалось, что плачут слезой; платье – ясное, с блесочью, из серебра из живого, с изысканной выточью и перехватами: юбка из кружев, со свистами шелка под ними; и – трепетень, веер, ветрящий ей грудь; говорили друг другу:

– Луи Дюпердри!

– Он – француз!

– Ведь мы любим французов.

– Вильдрак, Малларме, Мореас, Дюпердри!

– Они – наши союзники... Да?

.....

Эдуард Эдуардович понял, что руль всей карьеры его – не рулит уже; к Капитулевичу он подошел; явно пахнувший крем-ж е-ву-зэмом Кадмиций Евгеньевич Капитулевич – любитель, ценитель, поклонник, – такой полнотелый мужчина, – пленительный, плотолюбивый, – в муругой визитке стоял; и сказал Неручайтису, сухо подавши Мандро кончик пальца и тотчас же ставши спиною:

– Он – деньги растратил.

Кто «он»?

Эдуард Эдуардович – прямо к Губонько.

Аггей Елисеич Губонько, соленопромышленник, шукался с толстым главой фирмы «Пепс»; Эдуард Эдуардович – позеленел:

– Иахим Иахимович!

Но Иахим Иахимович Вуд, Попурчóвич (его свечносаль-
ный завод процветал) – не откликнулись; и, пропустивши
его, пожимали плечами:

– Его поведенье – растленье...

– Он – дам...

– Даже девочек...

Им подкаблучивал толстый, проседый Пукэшкэ, болтаясь
брелоками:

– Даже... мальчишек...

Берлунзила с пузика цепь от часов.

И стояли: доцент Роденталов, Буддяев, Бергаков и Штин-
кина (все, что хотите, и, в частности, если хотите, с аж-
фамм²³), облеченная в ткани тигриные, с пальца лучащая яс-
ный, индийский топаз; композитор Июличев им объяснял:

– Дюпердри!

– Понимает Равеля!

– Знаком с Дебюсси!

– Даже... даже: с Матиссом на «ты»!

О Мандро позабыли, стояло кругом: Дюпердри, Дюпер-
дри. Дюпердри! Уже всех пересек заостренной бородкою
Брюсов; и – замер один у стола, постаментом фигуры явив
монумент своей собственной жизни: автобиографию.

²³ Акушерка (фр.).

Где же они, – среброусые и седоусые дни?

Далеки!

Солнопечное время; снежишки сбежали в два дня; уже отмазались двери; профессор, надев плоскополую шляпу, террасою в садик ходил: пошуршать прошлогодним проробством, листвой перепрелой и серой, которая в солнце казалась серебряной, где уже полный пенечек промшел, где уже обнаружилась сохлины над водороиной, еще сыревшей промоем дождя и пятном снеголеплин, пускающих из-под себя лепетавшие, полные отблесков, струи – под склон; где лежала дровина, – полено к полену – с корою сырой и отставшей: узор обнаружить (в ней червь, древоточец, знать, жил).

На дровину вскарабкался, как показалось профессору издали, малый глупыш в неприятной, кровавого цвета кофтенке, кричавшей под солнцем; под ним, подобравши рукой свою юбку, в подол набирая дрова, загаганила Дарьюшка; там, за забориком, мимо него промелькала весенняя, голубо-перая шляпка (весной появлялись двуперые шляпы); по небу летели сквозные раздымки; и небо просинилось там сквозь раздымки.

Профессор подставил свой лоб под припек; он припеки любил без затины; зноистое место себе выбирал; и сидел, из лица сделав морщ.

Тут окликнули.

Он сиганул через комнаты и очутился в передней: прищурил глаза; и – увидел: стоит долгоухий японец, задохлец лимонно-оливковый, в черном во всем, выдается плечом надставным, черным стриженным волосом усиков и волосятами вместо бородки под очень сухою губою, промаслившись жестковолосым прочесом прически, рукой поправляя очки, сквозь которые черные пуговицы сосредоточенно смотрят, как будто они пред собой увидали священнейший лозунг.

Профессор, как Томочка-пес, сделал стойку – с готовностью кинуться: взлаем; японец присел, чтобы пасть.

– Чем могу я служить?

Мелкоглазый японец засикал, как будто слова подавал он с подливкой – «сиси́» да «сиси́»; он страдальчески так выговаривал русские буквы; напряжилась шея; и не выговаривал «ер»:

– Я из Жа́пан плисол!

– ?

– Я писал с Нагасаки, цто сколо плиду к фам: из Жа́пан.

– А с кем же имею честь я? – не бросал своей стойки профессор.

– Я есть Исси-Нисси.

Вот кто!

Теперь знал, что оливковый этот задóхлец, стоявший пред ним, – разворотчик вопросов огромнейшей математической важности, двигатель мысли, которого имя гремело во всех

частях света (в кругу математиков): имя громчей Ишикавы²⁴; профессор стал вдруг просиявшим морщаном, блеснувши, как молньей, очками, – ну, точно стоял он в лучах восходящего солнца:

– Как-с?.. Право, – считаю за честь... Из Японии?.. К нам?.. – протопырил японцу он обе ладони.

Японец, припав к ним, нырнул перегибчивой шеей под носом профессора, руку взял с задержью, точно реликвию; дернул и твердо, и четко; подшаркнул: отшарком отнесся к стене, оторвавши ладонь; ведь понятно: профессор, который ему представлялся в стране Восходящего Солнца литым изваянием Будды, стоял перед ним, не как лозунг «Колбб-кин», – стоял как «Ван-Ваныч»; «Ван-Ваныча» он и разглядывал – с пристальной радостью.

Да, – глядя в корень: в груди – разворох; галстух – набок; манишка – пропячена; выскочил – черт дери – хлястик сорочки; жилет – не застегнут; уже из последней брошюры он понял: открытие близится в мир через этот пропяченный хлястик.

И – набок все галстухи!

Да, – в Нагасаки еще раскурял фимиам Исси-Нисси Ивану Иванычу: три панегирика тиснул ему в нагасакском научном журнале; себя же считал он вполне неуверенно шествующим за Иваном Иванычем – той же научной стезею.

«Ван-Ваныч» подшаркивал:

²⁴ Известный японский биолог. – *Примеч. А. Белого.*

– Как же-с, – читал с удивлением, читал-с, – в «Конфёрешен» – о ваших трудах... Удивлялся... Пожалуйте-с!

Жестом руки распахнул недра дома, введя в кабинетик, откуда он тотчас же выскочил.

– Знаешь ли, Вассочка, – там Исси-Нисси стоит, – дело ясное: из Нагасаки. Так нам бы ты чаю – ну там... В корне взять, – знаменитость!

Любил, побратавшись с учеными Запада, он прихвастнуть русской статью:

– Мы – да... Мы – у нас: в корне взять, – русаки!..

Приглашал отобедывать их он русацкими блюдами: квасом, ботвиньями и поросятами с кашей; когда-то дружил он с Лежé, как потом приударил за Полем Буайе, в его бытность в Москве. И теперь предстояло все это: братанье, турнир математики и, наконец, громкий спор: о Японии и о России:

– Вы – да: вы – япошки... Мы, черт побери, – русаки!

Предстояло: нагрев тумаками японца, торжественно мир заключить:

– Впрочем, светоч науки – один, так сказать!

Ветерок потянул из открывшейся фортки; и слышался: тонкий, щеглячий напев.

– Азиатский ученый!

6

Прищелились в двери: Надюша и Дарьюшка.

– Вот он...

– Японец.

– Сюсюка, картава...

– Ледащий какой.

– Недорóсток.

Японец с лицом цвета мебельной ручки (олифой прошли-ся) сидел, наготове вскочить; и вскочивши, – пасть ниц, точно в идольском капище – перед литым изваянием Будды; профессор же носом развешивал мненья, щекою гасился, ключил волоса, из них строя ерши; и, бросаясь от шкапчика к полке, выщипывал он за брошюркой брошюрочку: «О наибольшем делителе», «Об инварь-янтах», «О символе «е» в «I» и в «фи».

Подносил Исси-Нисси:

– Вот-с: я написал...

– Вот-с...

– И вот-с, вот-с...

Японец привскакивал: благодарил:

– Я ус это цитал...

А профессор, довольный, охлопывал вздошье свое:

– Есть у вас аритмологи?

– Есть!

Нисси спрашивал тоже:

– А есть ли тлуды по истолихи мацемацически знáни?

– А как же-с, – Бобынин почтеннейший труд написал!

И блаженствовал носом с японцем: вот, черт побери, – не

японец, а – клад; безоглядно летели в страну математики: мохрый профессор с безмохрым японцем:

– Да, да-с, – математика, в корне взять, вся есть наука о функциях, но, что бы там ни сказали, – прерывных: прерывных-с! А... а... сударь мой, непрерывные, то есть такие, в которых прерыв совершается в равные, так сказать, черт дери, промежутки – прерывны: прерывны-с! Они – частный случай...

– Как фи плопласали в блосюле о метод...

Профессор подумал:

– И это он знает: и вовсе пустяк, что словами ошибся.

«Япошку», смеясь, трепанул по плечу:

– Вы хотели сказать «написали»; «плошать» – «фэлер ма́хен»²⁵.

Япошка, конфузясь, краснел.

– Ничего-с, ничего-с...

Подбодривши надглядом, приподнял, стал взбочь и подвел его к полочкам:

– Есть у меня тут... – совсем мимоходом расшлепнул брошюрочкой он паучишку (таскались к нему из угла)... – Вот вам Поссе...

Японец разглядывал Поссе.

– А вот вам Лагранж...

– Вот Коши, Миттаг Леффлер, – расфыркался в пыльниках, – Клейн.

²⁵ Ошибаться (*нем*).

И японец уже веселился глазами над Клейном: сиси да сиси!

– Дело ясное, – да-с – он добряш: зуб со свистом...

И нате: наткнулись на спорный вопрос!

Вейерштрассе профессор назвал декадентом; японец – уперся: он чтит Вейерштрассе; профессор поднялся нагрубнущим носом, с тяжелым раздолбом пройдясь; он – сердился; он – фыркался; не понимает японец:

– Вы, батюшка, порете чушь: эти, как их, – модели пяти измерений, они – шарлатанство-с! Еще с Ковалевского, Софьей Васильевной, спорили мы: вы – туда же-с...

То было назад – сорок лет: Исси-Нисси в то время еще голоногим мальчоночком ползал вокруг Фузи-Ямы: что, право!..

Японец, продряхнув веками, – кощем сидел: и молчал.

Василиса Сергевна вошла – оторвать друг от друга:

– Пожалуйте: чай пить.

– Пожалуйте, милости просим, – опять суетился профессор, забыв Вейерштрассе. – А после мы, батюшка, с вами посмотрим Москву; да, – я вас поведу; для нас, русских, Москва, – так сказать...

Тут – представьте – японец не вспыхнул от радости: он – потемнел; он, признаться, едва лишь ввалился в Москву, предварительно ровно четырнадцать суток промчавшись в экспрессе; едва он стоял на ногах; а тут – с места в карьер!

А профессор с пропиркой тащил его к чаю; ведь случай

– единственный; поговорить-то ведь не́ с кем; из всех математиков разве десяток, рассеянный в мире, мог быть ему в уровень; Нисси – включался в десяток; и – вот он; профессор же был говорун.

Пролетели в столовую – лбами в косяк: бум, бух, бряк!

Карандашик упал.

Друг пред другом стремительно снизились на подкараушки, чуть не ударившись: лбами о лбы; и сидели, ловя карандашик: профессор – орлом; Исси-Нисси – корякой такой сухоякой (дощечкою задница); он и схватил: будто это был нежный цветок, подносимый стыдливой невесте, стыдливо поднес карандашик профессору:

– Не ожидал-с!

Не японец, а – мед!

7

Исси-Нисси уселся за стол: с дикой скромностью; он приналадился к слову и с завизгом им говорил про Японию; в звуке словесном был прбгнус; сидел, наготове вскочить перед каждым, а был знаменитым: гремел на весь мир.

– Вы скажите нам – что, как: какие там люди?

– Жапáны.

– Какие там моды?

– С Амелики.

– Что вы!

– И с Лондон...

– Какие дома?

– В Жапан... – длил он словами, ища выраженья.

И – прытко запрыгал словами, найдя выраженье:

– Нельзя констлуи́л, как в Москва...

– Констлуи́л – что такое?

– Да строить, маман, – конструир: совершенно же ясно.

– Ну да – почему ж?

Искал выраженья:

– Там элда: тлясётся.

– Что?

– Элда: на цто все стояйт, – сказал с задержью, свесив беспомощно руки (на сгибени пальцев – предлинные, желтые, свежепромытые ногти, не наши, а – дальневосточные).

– Что это «элда»? – мизюрилась Наденька, шелкая празднично фисташками. – А, да – поняла: «элда» значит – земля: это он о земле...

Азиат!

– Да, вы – бедный народ!

– Ну-с, – поднялся профессор, – сидите, а я пойду, в корне взять, перед прогулкой соснуть – минут на́ десять... Нет-с, вы сидите, – почти что прикрикнул на Нисси, увидев, что тот поднялся. – Я вас, батюшка, не отпущу: покажу вам Москву-с...

Бедный: эти последние дни так замучили мысли, что он за японца схватился, чтоб с ним подрастаться; он – заслужен-

ный профессор, «пшеспольный» там член, академик, почетный член обществ и прочая, прочая, прочая – он был подпуган; гремел на весь мир, а боялся – Мандро.

Где закон, охраняющий ценную жизнь замечательной этой машинки природы? И есть ли закон, если жизнь этой личности определяется сетью ничтожных по ценности, страшных по цели интриг: ведь Ивана Иваныча, как национальную, даже как сверхнациональную ценность, должны заключить в семибашенный замок из кости слоновой, таскать на слонах, окружив самураями: математический богдыхан, далай-лама, микадо!

Так думаем вовсе не мы, – Исси-Нисси...

А он, между нами сказать, – под оглоблями бегал: дела-с!

.....

Василиса Сергеевна скрылась.

– Хотите, пройдемте-с по садику?

Наденька с Нисси – прошли; над просохом серебряным встали:

– Здесь Томочка-песик наш: похоронили его...

Колебались причудливым вычертнем тени от сучьев; и первая, желто-зеленая бабочка перемелькнулась с другою – под солнцем: припóдпере-пóдпере-пéре – пошли перемельками; быстрым винтом опустились, листом свои крылья сложили.

И листьями стали средь листьев.

– Вам папочка нравится? – Надя спросила.

Японец, добряш, – просиял:

– Осень, осень!

Профессор Коробкин был идиолом для Исси-Нисси: приехал устроить ему превосходное капище он; в этом капище видел Ивана Иваныча твердо на камне сидящим, на корточках, твердо литые два пальца поставившим перед литой, златой мордой: в халате златом!

Азиат!

Щебетливые скворчки вдруг обозначились: в кустиках; а сквозь орнамент суков прогрустило апрельское небо: в распёрушках белых.

8

Профессор схватил плоскополоую шляпу и в шубу медвежью впихнулся (зачем не в пальто?) с рукавом перепродранным (что ж не подшили?); под руку подцапнул японца; из двери с ним выскочил взбочь; тартарыкнув по скользким ступенькам, почти что свалился с японцем на полупроталый ледок.

Здесь опять отвлекусь рассуждением.

Катаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним младенцем, под цоканье очень опасных копыт, – как-то зря; в заседаниях, на кафедрах, – рыба в воде: все движенья – ловки, своевременны, стильны, изящны; а здесь, среди прохожих, кубарики эти – нелепейше вертятся: только одно

поврежденье – себе и другим.

И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слон на спине, – примененье предметов, полезнейших в сфере одной, – бесполезное к сфере, ну, скажем, гулянья: такой точно вид, как, опять-таки скажем, термометра, употребленного при ковырянии носа орудием расковырянья: термометр – сломается; нос – окровавится колким осколком стекла; ртуть – просыплется; ни – ковыряния носа, ни – температуры! А впрочем, коль нос ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и термометр.

Можно, с большой осторожностью... – даже с ученым пойти: прогуляться.

.....

Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспевал; в его жестах была непонятная задержь: наверное, двигался так манекен.

За забориком – *издали* – пели:

На улице нашей
Живет карлик Яша.

Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг просочилось солнце сияющим и крупнокапельным дождеком; и обозначился: мокрый булыжник.

– Арбат-с!

– По Арбату проехался Наполеон, да – бежал, черт дер...

– Мы Москву ему в нос подпалили! – показывал он своеумие русского духа.

Таким разгуляем шагал, молодясь всем видом:

– Артур бы не сдали-с: извольте видеть, – тут Стессель... Один Кондратенко русак, да его разорвали гранатой... А то бы – он вас...

– У нас тозе золдат: холосо...

Но профессор нахмурился: не понимает японец!

Последний поглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.

Постояли под Гоголем: свесился носом; прошлись по Воздвиженке; тут, подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профессор сказал с наслаждением:

– Кремль-с!

– Кремлевские стены...

Не видя, что Нисси оливковым стал и давно уже пот отирал, он тащил его дальше:

– Музей Исторический: великолепное зданье!

Японец чеснул загогулиной тросточки в Думу.

– Не это-с, а – то-с... Не туда-с... Как же это вы, батюшка: это же – Дума; музей Исторический – то-с!

Но японцу не нравился стиль; и профессор сердился:

– Япошка!

– Завидует!

Был Исси-Нисси в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке; готический стиль ему нравился; русский – не нравился.

Встала слепительность: в синеполосую твердь:

– Храм Спаситель!

Не видел он в жестах умеренных поползновенье на что-то японца:

– Зайдем?

И – зашли:

– Это вот Богоматерь, – с младенцем: картина прекрасная, очень...

– Видал Лафаэль...

– Верещагин писал...

И, не давши опомниться, – в купол: перстом:

– Саваоф!.. Потрясающий нос – в три аршина, а кажется маленьким...

Головы оба задрали: и долго смотрели – молчком:

– Нос – с профессора Усова списан; не с Павла Сергеича списан, а – дело ясное: списан с Сергей Алексеича, автора – да-с – монографии «Единорог: носорог»...

А на скверике кустики вспучились, бледные, – добелу: перепушились чуть желтизною; там – зелени из бледно-розовых, бледно-сиреневых почек.

Прошлись вдоль реки.

На реке появились весной рыболовы с закинутой удочкой; вот прогоркнет рыботек, – поплавок сребродрогнет, взлетит: только червь извивается; отлепетнула струей сребробобая рыба; юркнула и – взвесилась темной спиною в зеленой водице; а наискось, над рябо-розово-серой, зубчатой стеною

Кремлевскую – башни: прохожее облако, белый главач, зацепилось за цапкую башню; и, став брадачом, отцепилось, теряясь краями.

Профессор увидел: вот – Федор Иванович Пяткин сидит, как и в прошлом году, – тот, который простуживает, тот, который с Надюшей встретясь, поставил ее на сквозняк и рассказывал что-то, предлинное очень, до... флюса, – тот самый, который, зимой позапрошлой с Иваном Иванычем встретившись, за руки взял, с ним уселся на лавочку, в снег, и рассказывал что-то, предлинное очень; и после подвел его под лошадиную морду, взмахнул в разговор; лошадь – вскинулась; в глаз просверкала подкова; и все – испугались; а Федор Иванович, – тот еще более; Федор Иванович Пяткин, дендролог, профессор в отставке, – у Храма Спасителя жил: и – под мост ходил рыбу удить.

Надо правду сказать, что профессор забыл про японца; устал, призамолк: отбратался!

– Ну – вот-с и Москва: город древний...

– Мое вам почтенье...

– Пожалуйста как-нибудь запросто к нам...

И пошел себе прочь: с помаханием рук.

И стремительно прочь от профессора ноги несли самодергом японца – в «Отель-Националь», чтоб пасть замертво: в сон.

Вот мораль: не ходите осматривать с крупным ученым достопримечательностей городских; Москва – древний, весьма

замечательный город.

А – что же в итоге? Кубарики...

.....

Вечер стеклил.

И по небу неслися ветрянки: разорвинки облак; и – чуть прокололись звездинки, чтоб к ночи разинуться; был на реке – светоход; воды – дернулись ветром; на них испорчалось вдруг отражение месяца; после мелькая иссиявшихся бабочек ясно сбежался.

И вот: отражением месяца сделался вновь.

9

Василиса Сергеевна барышней долго страдала припадками, криком и корчею, после которых она повторяла без смысла такие пустые слова; а вокруг становилось все мнимо и мляво.

И вот повторился припадок.

Узоры обой, остриями спиралясь, мозжили висок: растиралась уксусом, – все оттого, что за твердой стеной она слышала:

– Хо!

Собственно – ророро-ро: грохотала пролетка.

Сидела она у себя, выясняясь в бледнявое поле узоров лимонного цвета; такая же мебель из репса; такой туалет; сверху, с зеркала, – кружево; кружева – много: везде; и везде –

несессерики; все здесь казалось весьма «не-сессер», – все, что нужно для дамы культурной, себя уважающей: том Задопятова с вышитой гладью закладкою; можно сказать, что и комната есть несессер; «несессер» и сама Василиса Сергеевна с тем, что она представляла собой – для себя и для зрения, вкуса и слуха: до... до обоняния (если принять во внимание сухость и запах из рта, то – таранью ее было б можно назвать).

Нет, откуда ж «волнения», «страсти». И —
– Хо!

И не «хо», а «роро»: грохотала пролетка.

Робея, глядела в окно; подойди к подоконнику: стань-ка ты взбочь; и – увидишь: стоит!

Кто?..

Идем к подоконнику, станем-ка взбочь; и – увидим мы: дворик; стоит мокрорукая прачка; мужик с жиловатой рукою засученной моет колеса; и – более нет: никого; из окна кабинета видно другое: дома и заборы; и мимо – пролетки и люди; иной человек, проходя, невзначай заглядится в окно; и, пожалуй, покажется, что этот взгляд, полный смысла, такой пронизательный, вещий, – к тебе относился; напрасно так думать; прошел этот «кто-то» с особенной думой, не видя ни домика, ни занавесок, ни тех, кто за ними отнес к себе то, что совсем не относится к ним.

Но, взглянув на все это, стремительно шла к себе в спальню (здесь окна – на дворик и в сад); на все доводы разума, –

только:

– Мерзавка какая!

Иван же Иваныч наставился:

– Что с тобой, Вассочка?

– Как-то мне...

– Ты бы на воздух пошла: все сидишь; так – нельзя же; без солнца – бактерии всякие, Василисёнок, заводятся: ползают, – знаешь ли.

– Что вы за вздор говорите; я моюсь, – на мне нет бактерий.

– Ан нет: состояние духа, мой друг, – от бактерий; если неможется, значит – бактерии. Ты бы откушала вечером, друг мой, – «лактобацилин»: убивает бактерии.

– Всякую дрянь выливают на улицу дворники!

.....

Дней уже десять назад, приблизительно в дни появления японца, профессорша вышла себе за перчатками – в центр: что ж такого? В иных бы условиях, если б во все не вмешалась бактерия, – встреча, в обычном порядке, как в прошлом году у Лоньони.

У тумбы, с угла, среди претыка прохожих, ждала ее дама, в пушащейся шапке, подвязанной под подбородком, в очках, стекляневших двумя черно-синими дисками; тут Василиса Сергеевна стала бледнухою, похолодев, засмирнев; все ж сказала она:

– Анна Павловна, здравствуйте!

Думала: случай с ее псевдонимом, открывшимся, с «Сильфой», весьма неприятен; но к случаю надо иметь отношение такое ж, какое имел ее муж лет шестнадцать; анализ конкретностей «данного случая», очень мучительный, производили Никита Васильевич с Анною Павловной дома: «ан де»²⁶; «ан труа»²⁷ этот случай – предмет игнорации:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте!

Или:

– Прощайте?

– Прощайте!

Она, руководствуясь мыслью такою, хотя и робея, но все ж – подошла:

– Анна Павловна, – здравствуйте!

Анна же Павловна, – ей не откликнулась; и Василиса Сергеевна с взвешенной в воздух рукою, потупясь, – прошла: и казалось, что будет крутое падение тела ей в спину.

Удалилось в спину ей:

– Хо!

Препротивное «хо» (ну бы «ха»)²⁸; это «хо» будто мазало

²⁶ Вдвоем (*фр.*).

²⁷ Втроем (*фр.*).

²⁸ Не советую «хокать» я в письмах, которые после печатают; это пишу под живым впечатленьем обмена любезностями в письмах писательницы Крандиевской с «писателем» (или – «ницею») Миртовым: Миртов в письме своем «хокает» на Крандиевскую; как дочитаешь до «хо», – на душе – отвратительно гадко и как-то паскудно: не следует «хокать» писателям («ницам»). – *Примеч. А. Белого.*

грязью; она – быстро за угол в жимы локтей и в пропихи плечей под пестрявою лентою вывесок: —

– «Каж. Трикотаж. Покупайте у Каж»; по черному – красное с золотом: «Все – офицерам. Магазин военных вещей Солиграбова-Пенского»; «Улкин. Чу-лочно-вязательное» – синим: под ним – «Заведение». «Здесь покупаю случайные вещи: фарфоры и бронзы». —

– Она – обернулась: старуха хромала за нею; и – за угол, чтобы не видеть и чтобы не слышать (осмыслится – после); теперь же – в давёж и в раскрику из букв: —

– «Биллиарды. Шары». – «Зонты, трости». – «Тюль. Кружево» – рыже-ореховым – «Павла Негросова» – темно-зеленое. – «С. Самоварчик. Друг школ (бывший Тюшина)». – «С миру по нитке». Редакция. Еженедельник». —

– И бегала здесь, задыхайся, – в сопровождении толстой старухи в очках, припадавшей на трость; наконец, она бросилась в грохи пролетов, авто и трамваев, чтоб в смене прохожих укрыться на той стороне; и уж с той стороны промаячило: —

– «Колчан Амура. Под-вал» – темно-синее с белыми гроздьми; «Вино-торговля Левкова». – «Матвеева. Прачка». И – «Бар-Пеар. С неграми». —

– Двигались мысли в недвижимом мире; и двигались ноги – в подвижной мысли:

– Извозчик, скорей! —

Замаячили издали, бредом сплошным догорая в закат: —

– «Золотых дел...

Щупак!»

– Табачихинский, шесть!

И – с пролеткою: за угол!

Пусто: вразрядку пошли; зарябили заборики, домики, домы, литые решеточки с кустиком, вскрывшим распуколки в зелень вечера; зрел уж разрывчатый лист.

И – стучало разрывчато сердце; за ней – никого; обернулась с второго угла – убедиться, что пуст переулок; но там прогрохатывать стала пролеточка; точно свалилась в подъезд, бросив Дарьюшке:

– Если звонить будут, – дома нет.

В спину же грохало; но – не звонили.

С тех пор и болела; лечилась декоктами; званый обед с математиками, с Исси-Нисси, с квасами, с двумя кулебяками и с поросятами с кашей – пришлось отменить.

10

Неприятно почувствовать, что ты – мишень отливаемой пули; «та женщина» лет двадцать пять разрешалась в сознании удобнейшим способом; «та» – Анна Павловна; долго ли думать, – известна была: у Ключевских бывала, у Усовых, у Звенифазовых: Павел Сергеич, Сергей Алексеич, и кто еще там – про нее; и стишок был, известный в Москве: «Анна Павловна» – как это?

Анна Павловна – строга:
Кто наставит ей рога?

Вдруг же: стала – «энигмом», хромым и седым, – там на улице, с палкою.

У Василисы Сергеевны сознания не было: Анна-то Павловна с правом могла то же самое думать о ней: что – вот двадцать пять лет Василиса Сергеевна, дама известная, всюду была принята: у Ключевских, у Усовых, у Звенифазовых: Павел Сергеич, Сергей Алексеич, кто еще там – про нее...

И в стихах, кем-то писанных в восьмидесятых годах, где шел перечень, что у кого, между прочим, о ней говорилось:

У Николай Ильича Стороженко —
Ольга Ивановна: а у
Дмитрия Карпыча женка
Едет на лето в Прерáу;
У Ермолая Иваныча
Кушает Петя лимоны;
А у Ивана Иваныча —
Василисёнок ученый.

Все ясно: у этого – то; у той – это; но Василиса Сергеевна, «Василисёнок ученый», отмеченный, как принадлежность Ивана Иваныча, вдруг оказался чужой принадлежностью: можно бы было ведь в стиле отрывочка восьмидесятых

ГОДОВ написать, что —

У Василисы Сергевны Коробкиной
Нет уж Ивана Ивановича!

Или же:

У Анны Павловны —
Нет принадлежности!

Словом: хочу я сказать, что разыгрывалось одно содержанье душевное в двух оболочках; и — стало миазменно как-то; на улице ж встал сплошной бред: «Золотых дел... Щупак», или «Бар-Пеар — с неграми»; в грохе пролеток сплошное: «хо-хо»!

Ядовитая женщина проядовитила стены; и многоголовчатую представлялась: одной головою торчала в дверях, головою другой караулила с улицы; третьей — вставала в окошке (кивать там насмешливо).

Вечером, в садик пройдясь, из ворот поглядела она в переулок; пропятилось там очертание женщины, — с палкой, под рыжею тучей: на фоне глухой желто-сизой стены; и ворона кружилась над ней, как над падалью.

Вдруг дерева забессмыслились в шепотах: завертопрашило в окна.

Порыв налетел.

Десять дней уж прошло: написала Никите Васильевичу

обо всем; от него она знала о «краже со взломом» в столе; он ей пхакался, что уж три месяца с Анною Павловной во-все не видится (кушает, трудится и отдыхает один), что она, оградившись стеной от него, за стеною сидит; и сопит там ужасно; ночами его настигает порой в коридоре, со свечкой в руках.

Погрозится; и – скроется.

Да, Василиса Сергеевна в длинном письме в первый раз от Никиты Васильевича в резкой форме потребовала: уговорить Анну Павловну!

Странно: сперва промолчал; и молчанием этим предательски он поступил с беззащитною женщиной; после уже получила письмо от него; написал – невпрочет, невразгреб: темновато и витиевато.

И – рожилось: дни с подмиганцами!

Шторы в гостиной ложились лиловоатласными складками.

Из-за гардин, ставши взбочь, поглядела: с угла переулка старуха, сжав трость, упиралась к ним в окна двумя темно-синими стеклами, чтоб, став в дверях, наградить их ударами; темные горькие тени от тучи прошли.

Василиса Сергеевна, ахнув, – к себе: запереться; смирилась в тених, потрясухою дергаясь; там, из окна – вид на дворик: росла молодятина, сохло белье на веревках; и желто-песочный просох исклобочился травкой под блестяшки дождя, в косом солнышке; разворочился людьми этот дворик: просу-

нуться б, воздушшек нюхать.

Она же, – смирнела в тенях, уже зная, что... что...: как река льет струи свои в море, так точно со всех направлений лилась Анна Павловна к ним в переулочок: с Телячьей Площадки.

А дни подсыхали; и радостно так дроботали пролетки; уже обозначилась леторосль отпрысков, веточек, жердочек, шелкнуло в воздухе птицею; даже был раз теплооблачный, голубо-пепельный день.

И потом все свернулось в дожди; и дожди обернулись в снежинки.

.....

«Она», – не сошла ли с ума?

Потому что, – стояла литым изваяньем в угле переулочка, застынув составом весьма разнородных веществ; подойди к подоконнику, – в окна просунется; выйди из двери, – и следом пойдет: исковеркать ей жизнь.

То – часами бродила кругом переулочка; но день изо дня уменьшались круги; приближались; и – снова: часами стояла там, наискось; и – было странно стояние толстой старухи в очках, с перевязанной черным платком головою, с увесистой палкой, которую твердо держала она, на которую твердо она опиралась; ее – заносили снежинки; и – перегревали лучи; но – стояла.

Стояла все ближе.

Профессорша чувствовала, что – пойдет: станет прямо под окнами; будет кивать им оттуда и будет стучать им оттуда, – обславит; старуху и так уже видели.

Первой увидела Наденька:

– Я Анну Павловну увидела...

И через день повторила – с тревожным вопросом во взгляде:

– Стоит Анна Павловна там.

В тот же день за обедом с дрожащим и с тихим мяуканьем, точно пожаловалась над тарелкою супу:

– Она... еще... там.

И – как вспыхнет!

Иван же Иваныч, – представьте, – взмигнул; и – отрезал:

– И я – ее видел уже.

Вопросительно обе взглянули, но он будоражил буфет перепрыгом под стулом; он знал, кто – «она»: тарарахал по скатерти, очень значительно чмыхнувши носом; что думал о «казусе» он? Ведь – слепец, ведь – ребенок, а – высмотрел. Может, он там, на углу, объяснялся?

Всем стало тут вдвое стыднее.

Иван же Иваныч с подгрозом встал: Василису Сергевну похлопывать:

– Ну – ничего-с...

– Обойдется, дружок мой, Вассочка...

Сел и – рука заходила мясистой ладонью, которою крался он к мухе: схватить; Василиса Сергеевна, перемогая себя,

заминала «вмешательство»:

– Вам, говорят, бенефис приготовили?

Схватил муху; и пойманной мухою – шваркнул о стол:

– И не мне, в корне взять: двадцатипятилетие празднует «Математический Сборник»... Я тут ни при чем...

Наступило молчание: снова уткнулись носами в тарелки; и будто в ответ на все то, что сейчас проходило меж ними, в пустом кабинетике встал мелодический звук, – еле слышный и жалобный:

– Дзан.

Кто-то сделал тут вид, что не слышит.

– В Москву возвратился Млипазов...

Тогда совершенно отчетливо, нетерпеливо, настойчиво – дзакнуло; бросив ножи, повернулись; профессор разинулся ухом.

И – грянуло громко в окне.

Анна Павловна!

Страшно!

Иван же Иваныч, как впрыгнет, да как кубариком – в дверь: в кабинетик!

11

И в сумерках синих оконного выреза видел – отчетливо: рожа прилипла; казалось, что – желтая.

Рожа в окошке исчезла.

Иван же Иваныч, шарахнувшись, влип – в желто-сизые стены; и – замер: подьюрк под окно́ несомненный! Схвативши фонарик, случайно (случайно ль?) просунутый между томами ван Агнуса и Карла Вранца («Геші́хте дер Математі́к» и «Проблеме́н»), – вприсядку: к окну: заседать и молчать, чтобы – высмотреть.

Сел там орлом; осторожно подъерзывал носом; и ждал, как с фундамента выглянет; да – очевидно, что кто-то там влез на фундамент, таясь в застенном простенке, стененный, прилипнув руками, ногами и телом к стене; представлялся удобнейший случай поймать: того самого; или – то самое, что не давало покою, решив навсегда...

Потому что, – мелькания, тени и рожа в окне (оставалась такая возможность) могли оказаться «пепешками», «пшишками», то есть приливом кровей к голове.

Но звук «дзан», всеми ими услышанный, – вовсе не призрак!

Сидел на карачках, выерзывал носом; и слышал, что там, за дверями, сначала шушукались, плакались и, наконец, закричали, – Надюша и Вассочка:

– Папочка...

– Ах, да пусти меня...

В дверь застучали.

Иван же Иваныч – дверь запер; теперь, из засады своей он не мог подать голоса.

– Вот еще дура – кричит: эдак можно спугнуть!

И, в засаде засев, видел: небо; вдруг – ти-ти-ти-ти-ти. И с ти-ти-ти-ти-ти (подшептывал в миг напряжения он) – подкарабкался.

Там же, в стекле стал картузик, – подвыюркнув: перепрыгнул с молниеносною скоростью; и, убедившись, что нет никого, – ну к стеклу прилипать: чуткий пес за юлящую мышкою носом юлит – вверх-вниз-наискось – так, чтоб, уткнувшись в норку, где скрылась она, присмиреть, выжидая.

Профессор Коробкин таким неожиданным, притким и вертким, упругим, как мячик, летком быстрее молнии: с карачек – на стол; и оттуда (одною ногой – на столе, а другой – на окне; он двудырчатым носом – к окошку и выстрелил наискось сверху в окно электрическим белым лучом потайного фонарика. В белом луче оказалась накрытая рожа – без носа: бульдожья, в картузике!

– Есть! – вскричал громко, слетевши (оттуда – сюда) с подоконника.

В то же мгновенье, с ним вместе отсюда туда (разделяло стекло), чье-то тельце, присосанное к камню стен, – отвалилось: и – шмякнуло наземь. Профессор Коробкин бежал от окна: законное тельце бежало в противную сторону; вот перебросилось через литую решеточку, дом отделявшую от тротуара; и вот перебросилось – вдоль переулка; профессор же, дверь распахнув, мимо плачущих Наденьки и Василисы Сергевны, – в переднюю; цепи сорвавши, на улицу – с кри-

КОМ:

– Ловите, держите, – за юрким мальчишкой, улепетнувшим в пустой переулочек: бесследно!

За ним же, стремительно выскочив с черной метлой из ворот, бежал дворник Попакин:

– Да – барин, да – что вы?

Забороздили заборики – мимо.

Неслись из соседних дворов, кто без шапки, кто в туфлях: бежал генерал Ореал (отставной, опустившийся) – за проживателями домов Янцева и Щукеракина; все собрались под кривым фонарем, окружив запыхавшихся и растаращив друг перед другом стоящих – Ивана Иваныча и Тимофея Попакина.

– Видел-с!

– А я говорю – никошошеньки!

– Вот в окно лез!

Так кричали они.

Генерал Ореал и все прочие – слушали; кто-то, одетый в пестрявые брюки и в пестрый пиджак, проходя, обернулся; и – дальше пошел.

– Говорю вам, что видел!

– Помилуйте, я по сию пору тут в приворотне сидел!

– Он уж видел бы, – Щохин сказал.

– Да-с, морщинистый, – да-с – с черным носом, – упорствовал громко профессор.

– Морщинистый!..

– Слышь?..

– Говорит, – с черным носом он...

Не удивился один генерал Ореал:

– Я всегда говорил... С этим людом... Позвольте по-
жать... Генерал Ореал...

Возвращались кучей к подъезду, откуда выглядывали уже Дарьюшка с Марьей, кухаркою.

Щохин сказал:

– А я знаю – кто...

– Кто?

– Это – Яша.

– Как-с?

– Так, очень просто, – настаивал Щохин.

– Я – не понимаю вас, – остановился профессор: и очень тревожно моргал.

– В Телепухинском доме живет карлик Яша: блажной и безносый: так – он.

Раскрывались окошечки: слушали; и – соглашались:

– Он... он... он и есть!

Обозначалась новая стека людей; и тут Дарьюшка, вспыхнувши, – носом в передничек: фырк!

Потому что раздался из стеки насмешливый голос:

– Он ефта за Дарьей, курчонкин сын, лазат: надысь в саду лапались! Марьюшка, Дарья, профессор – стояли в передней; все прочие же гоготали на улице; лишь генерал Ореал – собирался, да Марьюшка – дверь затворила: ему прямо под

НОСОМ:

– Яша и есть.

– Просто, барин, нет мочи: таскаться стал в кухню: его я – взашей; а все Дарья... Вы не сумлевайтесь... Какой это вор... Лез за Дарьей: подглядывать... Как тебе, право, не стыдно... Нашла обважателя!..

Фырк!

Успокоились: все разъяснилось:

– Энтот же самый карлишка, – вполне безобидный: с аму-ром в мозгах!

– С перетрясом!

– Пархуч.

Как-то радостно стало: не вор.

– Это он.

– Он...

– Карлишка!..

Профессор вполне раздобрел: объяснялось, что «это» – не «это»; а просто – карлишка!

И, ткнувшись в Марью, кухарку, пожвакал губами, слагая в уме каламбурик:

– Вы, в корне взять, – Маша?

– А как же-с!

– Вы варите кашу нам?

– Кашу варю, – ну?

– Он – Яша?

– Ну, – Яша... А что?

– Он – без каши?

Фырк, фырк!

– Ну – так вот-с!

И – прочел:

Прекрасная Даша, —

Без каши ваш Яша...

А каша-то – наша!

А варит-то – Маша!

Пошел пир горой!

Позабыли: за дверью все ждали, бледнея, не смея просунуться; и, уж услышав стишок, они поняли: нет, – не «она»;

Василиса Сергеевна – в слезы; Надюша – салфеточкой в пол:

– Как не стыдно вам, папочка: мамочка – в горе, а вы...

Присмирел.

12

День дню – рознь.

И зигзаг от испуга к нечаянной радости, не разрешаясь ничем, разрешился часов через двадцать.

Раздался звоночек.

Просунулась в двери большая толстуха, какая-то вся отверделая черно-лиловым лицом и в больших, черно-синих очках:

– Вам кого?

– !

– Может, барина?

– !

– Барышню?

– !

– Может, барчонка?

– !!

.....

– Кто там?

– Да какая-то барыня – за подаяньем, должно быть: молчит, не в себе.

Все вскочили.

– Пойду!

– Нет, голубчик мой Вассочка... Боже тебя упаси...

Предоставь это мне...

– Мама, мамочка, – спрячьтесь.

Но знала: пороги сознания сняты; стоящее надо принять: и, шатаясь, – пошла, меловая, немая; профессор рванул прочь от двери ее; сам же – в дверь; как барбос, защищающий дом свой от вора, к старухе он ринулся; пальца подставивши два под очки, – стрельнул стеклами: в стекла очков.

– Анна Павловна, вы бы оставили, знаете, да-с, – эти штуки... Зажутил.

– !

Ударило кровищей в голову:

– Письма, которые, в корне взять, – он загремел, – вы при-

слали, они-с адресованы вовсе не мне-с, в корне взять, а – Никите Васильи... – вскричал оглушительно, – ...чу.

– !

Пуще злился: стояла – пепешкой; два круга очковых – не двинулись:

– !

– Я Никите Васильевичу возвратил, – дело ясное, их!

– !

У него за спиной с громким плачем пошла; оказались «они» друг пред другом; казалось, – один только миг, и – повалятся друг перед другом: в глубокую падину.

– Анн... Анна Павловна!

– !

– Анн...

Хоть бы что! Василисе Сергевне осталось одно: простоять под ударом стеклянного синего выблиска – в тысячелетях.

– Никита Васильевич...

– !!

И старуха схватилась рукою за шею; и – голову – набок, скривив все лицо:

– !?!?

Протопыривши руки вперед, уронила тяжелую трость с перегрохотом; грянула склянка о пол из руки, пырснув едкою жидкостью, звоном и градом осколочков – в стену; одна только капля попала на Надино платьице.

– Что?

– Кислота!..

– Помогите ей, разве не видите вы, что она...

– Анна Павловна!..

– Что с вами?

Анна же Павловна, толстой рукою схватывая за толстую шею, дрожала и силилась высвистнуть что-то, как автомобильная шина, когда ее палкой проткнут:

– Пшш... Выссс... Вд...

Догадались:

– Воды!

– Пшш... Пшш... Пшш!..

Неожиданно села на корточки, с грохотом вправо и влево колена расставив, и свесив меж ними живот; все сказали б – пустилась впрысядку (на миг обнаружили толстые икры в суровых кастровых носках); и потом это все грохотнуло, – лиловым лицом о косяк, от губы протянувши слюну, – промычало; и – пало стремительно.

Разорвалася артерия!

13

Бросились: к колким осколкам разбившейся склянки и к павшему телу; среди них – Надя, Митя (он выскочил), Дарюшка, Марюшка; вот хорошо: кислота, прожигая обои, безвредно стекла со стены: лужей в угол; Иван же Иваныч не видел, как толстое тело тащили, как толстое тело сложили со

свисшей рукой; туматошил над бившейся в спальне женою;
Надюша – над телом глаза растарашила.

Кто-то, догадливый, бросил; прислугу – к врачу, а Митюшу – к Никите Васильевичу.

Врач, Георгий Григорьевич Грѳхотко – мигом примчался, потискавши тело и что-то проделав над ним, он отрезывал.

– Апоплексия?

– Инсульт!

– Что такое инсульт?

– Апоплексия.

Ткнулся в раздутые ноги;

– А, а, а; не действует!

В правую руку;

– Не действует тоже!

– Конец?

– Нет, – пожал он плечами, вертя стетоскопом, – протянет год, два, – до второго удара.

Ткнул пальцем:

– Комплексия: штука обычная.

И – бросил он тело:

– Дела... А Коковский, Коковский-то!..

– Что?

– Трепанация!..

– Черепа?

– Опухоль мозга.

– Да что вы!

– Ну, – я проколол позвоночник: – подвысосать жидкости; воздухом столб позвоночный надул... Обнаружилось... – и завертел стетоскопом...

– Ну? И?

– Обнаружилась опухоль мозга... Да, да: пол-Москвы в инфлуэнце... Ну – вот: мне пора...

И Георгий Григорьевич – в дверь: лбом о лоб с Задопятовым.

Бедный старик прибежал растарашею, в плещущей крыльями, клетчатой, серо-кофейной крылатке, с полураспущенным зонтиком в левой руке; был он бел, как паяц, и морщинист, как гриб, выдаваясь ужаснейшей сизостью очень опухшего носа (как будто он пил эти дни); он плясал неприятно пропяченной челюстью; зонтик ходил ходуном в его левой руке, когда, правой рукою схватясь за Надюшу, он выдохнул с громким усилием:

– Где?

– Дз-дз, – кокнул осколок стекла у него под калошею.

– Вы осторожнее: тут...

Спohватилась:

– Тут... тут... вот сюда...

И потупилась:

– Тут – кислота...

– Где она? – ничего он не понял; и так, не снимая крылатки, в калошах ввалился в гостиную с полураспущенным зонтиком; сел пред запученным телом, схвативши за ногу его:

– Анна!..

– Аннушка!..

Не было «Аннушки»: пучилось мыком – большое, багровое «О»!

Тут профессор Коробкин подкрался к плечу его теплой ладонью, как... к... мухе:

– Никита Васильевич, вы, – трепанул по плечу, – ты мужайся, брат, – взлаял он.

«Ты» проскочило вполне неожиданно: точно он вспомнил совместные годы гимназии, угол в клопах, куда хаживал часто со Смайльсом в руках «Задопятов», сокласник, – к «Коробкину», к «Ване»:

– Еще, чего доброго, брат, – Анна Павловна: встанет!

14

И дождь, Сверкунчишко Терентьевич, затеньтеренькал по крыше; и стал переулочек не Табачихинским, а Сверкунчихинским; Камень Петрович стал Камнем Перловичем; камни и крыши испрыскались дождичком.

Забирюзовились воздуха.

Желтый просох исклокочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зеленые сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудяся, взвизгнула: взвесилась

в воздухе.

Стало тепло и пленительно.

Но безобразней валили бульваром безрылые толпы; из желтого гарева бухали меди оркестра. И кто-то, одевшись в летнепикейные брюки и в пестрый пиджак, с белоснежной панамой, зажатой в руке, подмахнув камышовой тросткою, неся – и неся и неся – в открытые дали сквозных переулков и улиц за «нею».

«Ее» – нигде не было.

Федор Иванович Пяткин, надев парусинный картузик, бродил, как и в прошлом году, и выискивал случай: напасть на знакомого.

Словом – весна!

И – Москва!

И Москва развалилась в весну, растарашась кварталами, – этим, сплошь сложенным из серо-желтых и серо-сиреневых кубов, с пролетом ландо, лихачей и трамваев под ними – в Сокольники, в парк (под открытые сцены), и с этим – вразброску: пяти-, одно-, снова пяти-, снова одноэтажных и двух-трехэтажных домов: вот и с э т и м, которого цвет – белый с пагрязцею и которого дом – двухэтажный, без лепки, украшенный синею вывеской, с очень невзрачным проглядом подвальных окошек, откуда виднелся проход сапога пешехода (не сам пешеход), изнуряемый сыпью известки, разложенной аспидно-сереньким, серо-сиреневым, серо-песочным, желточным и розовым колером, только кой-где моло-

девший подцветом: морковным, кисельным, зеленым.

Дома деревянные, колером серо-кофейным, кофейно-коричневым, – разнообразили улицы; а переулки кривели живую раскрикой цветов: синегрифельных, аспидно-розовых, где из двора проросла молодятина, где и забор прозвучал спевом ветра с гармоникой, а подзаборье рябило расплюями семечек, павертнем мух, улетающих в открытые знои; под грохот пролетов рычал оглушительней лбастым булыжником в этом квартале; а тумбы – кривее здесь были; серей – мимоходы людей; когда небо – взадуй, здесь – сильней вертопрашило: и открывались везде сухоплясы; и дом здесь стоял, точно каменный ком.

Дом за домом – ком комом!

Там вечером кто-то садился и видеть, и нюхать: желчь пламени, павшего четко на стену глухую; и коврика дух завонялый в окошко.

Вот улица с рядом фасадов (фасад за фасадом – ад адом); и вдруг – переулок тишайший.

Там дом деревянный, с дубово-оливковым колером и с полукругом резьбы надоконной надстройкой, – стоял, украшаясь и ниже резьбою: Пегас, конь крылатый, припавший и справа, и слева к Горгоне (копытом и гривой – под змеи), был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф; здесь, в прощеле ворот, и глубоком, и узком, вытарчивал угол сарая, качалась веревка с просушиной тряпок лимонных и синих, белела глухая стена трехэтажного дома, глядев-

шего в Пашенков глухо заросший листвою большого зелено-го сада тупик, обливавший Москву соловьиным отщёлком, – с сидящею девушкой в серо-сиреновом платье и в пляшущей ветром юбчонке.

Над ней – белилэй лепестков загроздившей сирени в глубоком и синем Васильевском небе, где облако, прѳдувень, тая, терялось клоками.

Все это – Москва!

И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными; там – в переулках, дома, отойдя с тротуара в глубь сада, скрывали свои и колонны, и окна: листвою.

Свернем...

Вот – тот дом!

Пять жерельчатых, белых колонн, – без дантиклов; к абакам принизился розовым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в голубо-пепельный и в теплооблачный день; он тишал, отступя от колонн розоватой стеною с гирляндами белых венков над промытыми стеклами окон и чуть выдавайся выступом низа: сложенъем квадратов; в подъезде – два льва, к тротуару слагающих продолговатые морды; и легкая арка ворот: в теплооблачный воздух; литою решеткой, скрещеньем гермесовых жезликов, – отгородился от улицы; дворик асфальтовый, камень конюшни, кусты, – те, которые после дождя сребродроги: дотронешься, – и оборвутся потоками капель в тот час, когда кто-то у окон при-

сядет покуривать в бисерный воздух, когда на обтесанных плитах подъезда детва плюет семечком в вечер, а вечер, уже отстекливши окошком, является облачком цвета вишневого.

Рядом – пальметты, дантиклы, гирлянды оливково-темных колонн дома бледно-фисташковых колеров, где из гирлянд отовсюду просунулся мордой профессорский фавн овнорогий, затмившийся в зеленоватые сумерки, в шум от деревьев за домом живевшего сада; над купами месяц, свое новолуние sprыснув, твердится сквозным халцедоном из мутно-сиреневой тверди.

Москва!

Да, – она!

.....

А уж парит!

И – загрозарело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шепотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятяся лапой – когтистою, черной – подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и в желто-черные клочья; над ней, за трубой дымовой, – черно-желто-зеленая пасть: уже жутя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом – ад адом.

И двери, как трещины.

Загрозарело: ругается где-то прохожая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо – взадуй: сухоплясами в окна; и – молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув

в выжелчень пламени, смерк; и на нем кто-то, дряхлый, на белой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, – смерк.

15

Положа руку на сердце, – там, на эстраде, в проходах, – стояли, сидели, обменивались впечатленьем, поклонами, иль протирали пенсне, Айвазулина, Бабзе, Ветмашко, Глистірченко-Тырчин, Икавшев, Капустин-Копанчик, Нахрай-Харкалёв, Ослаббнев, Олябыш, Олэссерер, Плárченко, Плачэй-Пепёрчик, Шлюпуй, Убавлягин, Уппло, Фердерпёрцер и прочие, прочие – вплоть до Боговича: свора имен! Из них каждое – «имя», согбенное бременем лет, многотомных трудов, орденов и ученых дипломов, уже заключенное заживо в «Энциклопедию»; хоть бы – Пластальцев, лет десять сидящий в «Гранате» (такой есть словарь) меж «пластрон» и меж «Плантаге-неты».

Хотя б – Айвазулина: женщина-стереохимик, взошедшая на Титикаку, сказавшая спич в Санта-Фе-де-Боготе, надевшая около острова Пасхи скафандру и после едва не бежавшая с дон Бордигере-Хуан-де-Петёлло, министром бразильским; Глистірченко-Тырчин, прорезавший опухоль горла у вдовствующей кронпринцессы австрийской; Нахрай-Харкалёв, путешественник, автор двухтомья «Цвай ярен мит

антропофа́ген»²⁹, дружив-ший с Ньям-Ньямами, съевший в Уганде засохшие уши убитых врагов негра Мбэ́бвы, ошибочно думая, что то – сухие грибы; а Капустин-Копáнчик (вот он – челюсть пятит к мадам де-Моргáсько), он – автор работы «Отчет по окраске плазмодиев осмиевым препаратом» (три тома); Шлюпуй – не «шлюпяк» (в словаре у «Граната» они оказались рядом), а (явствует все из «Граната») профессор и автор работы «О действии Леонтодо́н-Таракса́котум на сокращенье кишечника Лу́тра Вульга́рис»; а Плачей-Пепе́рчик, известный в Германии, в Льеже. Досель в гейдельбергском химическом техникуме стоит крик о «Пепертшик, с титри́руйтен»³⁰.

Все появились они, чтоб отчествовать «Математи-ческий Сборник»; и – да-с – вот так фунт: основателя «Сборников» этих, Ивана Ивановича, ждал бенефис, да – какой еще!

Фунт с полуфунтом!

Ивану Ивановичу было невтолк и невэсть, – что же, собственно, будет; обычно он вел заседания: он – был заседанием: решал, открывал, заседал, сообщал – только он; все иные, присутствующие в «Математическом Обществе», – только молчали; сегодня он был отстранен от всего (Млодзиевский взял в руки его); дело ясное, – да-с, – что предмет заседания – он; в этом случае сам соблюдал отстраненье; держался «предметом»; и тупил глазенки, когда заводили бесе-

²⁹ Два года с людоедами (нем.).

³⁰ Обкладки для тетрирования Пеперчика (нем.).

ду об этом; сегодня бодрился с утра; перетрусил к обеду.

Теперь – дободрился; и – выглядел доблестно.

Попричесался, загладил мохры; и казался, представьте, курчавиком; щелкал крахмалом пропяченной грудью; во фраке кургузом – курбатином выглядел; с ним обходились внимательно; как показался в профессорскую, – резбежки, подбежки; Млодзиевский, и тот – бегушком: петушком! Члены Общества и делегации были во фраках смешных, белогорлые и белогрудые; туго зафраченный Умов подкрался на цыпочках – с ласкововещим, искательным голосом; все вокруг сгрудились, друг другу внушая очками: быть легкими, ясными; слышался шепот:

– Как!

– Не принесли?

– Депутация от...

– Депутация...

– Тсс!

– Ай, ай, ай, – что вы, батюшка! Вы бы...

И «батюшка» спешно куда-то летел.

Физиолог растений Люстáченко (гербаризировал двадцать пять лет) с Щебрецовым шептался в углу: говорил, что хотели – ей-ей – в гидравлическом прессе системы Дави́ назвать винтик ответственный – «винтик Коробки-на»; и утверждалось, что Павлов, геолог, в штрихе «ги- перстена» найдя что-то новое, новое это принес, чтоб отметить «Коробкинский день»; на Коробкина нежно косились очка-

ми, как бы приглашая друг друга вполне восхититься: единственным зрелищем; он, повздыхав, покорился тому, чтобы «чох» его каждый возглавил там что-нибудь; фрак же на нем был кургузый немного: с промятою фалдою.

Фалдами мягко юлили вокруг.

Гоготёнь доносился из зала.

Студенты ломились толпами там, заполняя проходы и хоры; прилипли к стене; был галдеж под колоннами: распорядитель в лилейной перчатке, в зеленом мундирчике, с воротником золотым, – прижимая шпажонку, показывал, где кому сесть; порасселись седые профессорши в первых рядах, в платьях скромных фасонов и колеров (с рябью) – тетеркиных, коростелиных и рябчиковых: все – такие индюшки, такие цесарки; ряды – лепетливые; дамы – почтенные; кто-то, кряхтя, костылял; поздоровался с Сүперцевым, с Тарасевичем, Львом Александрычем, с Узвисом; маленький ростом Анучин с лицом лисовато-простецким, с лисичьими глазками, морща свой лобик, хватался за нос, проходя на эстраду, где груди крахмалом пропятились; но задержался с Олессерером.

И Олессерер важно лицо оквадратил.

Олессерер площадь сознания разбил на квадраты наук, иль – кварталы; и в каждом поставил квартального: здесь стоял Дарвин; там – Кант; и – показывал палочкою: «От сих пор – до сих пор»; умерял циркуляцию мысли квартальным законом («от сих» и – «до сих»); когда мыслил Олессерер, –

переменял он кварталы: здесь – звездное небо; там – максима долга; его мирозрение не было, собственно, «мировоззрением», – адресной книгой участка, где каждый прописку имел; здесь прописан был Дарвин; там – Кант; на вопрос, что есть истина, он отвечал себе: «Мысля в таком направлении – то; мысля в эдаком – это!» Был враг прагматизма; боролся с Бергсоном и Джемсом: «Помилуйте, – хаос сплошной!» Все ж, – Бергсон мыслил хаос, пускай хаотически; Гитман Исаич Олэссерер люто боролся с прочтеньем чего бы там ни было, с уразуменьем чего бы там ни было; читывал он лишь прописки в участки того или этого факта, в принципе невнятного; строгость логических функций его был отказ от попытки: помыслить.

Женат был на дочери брата Кассирера³¹.

Передрябевший щеками и носом провисшим, с прискорбнейшим драматургическим видом, во фраке, сжимая в руке шапокляк, – одиноко прошел в первый ряд Задопятов; осунулся; на Задопятова как-то дрязгливо глядели:

– Вы знаете, что – Анна Павловна?..

– Что с Анной Павловной?..

– Да апоплексия!

– Бедная!..

– Не говорит, а – мычит...

В узком фраке, прилизанном к узкому телу, летком пробежал Исси-Нисси, застрял под эстрадою в первых рядах и,

³¹ Германский философ.

бочком проюркнувши, исчез в центре их; вновь привыюкнул; и – на эстраду взвился, точно ласточка, взвев развилочки фалд; и – шептались:

– Вот...

– Где?..

– Исси-Нисси.

– Японский ученый!

– Известный ученый!

А Исси уже на эстраде сисикал:

– Си – си... С Нагаса́ка плисла телеграмм...

– Си-си-си...

– С Нагасака плофэссолы все...

– Ишикава, Конисси!.. Си-си... Катаками!..

Сплошной риторический тропик: с гиперболой – в пуговках глаз, с очень явной метафорой – в мине.

Уже на эстраде сидели, – отделами и подотделами: геогенический, геогнозический, географический, геодезический, геологический; далее, далее, – хоть до «фиты»; среди «точных» ученых терялись «неточные»: Л. М. Лопатин и Г. И. Олессерер; диалектолог почтенный пропятился челюстью; старый гидрограф, сердись, устанавливал запись приветствий.

Да, да, – над зеленым столом поднимался изящный ландшафт из крахмалов, пропяченных докторских знаков и беленьких бантиков; просто не стол, а – престол; не графин, а – блисталище; не колокольчик, серебряный – «гралик»; все

ясно вещало о том, что уж близится время, когда прикоснется рука, прощелясь из манжетки, – к звонку, – огласить:
– Совершилось!

И станет Коробкин, – здесь скажем, вперед забегая, – совсем не Коробкин, а «Ка́ппа-Коробкин»!

16

– Ну что ж, Болеслав Корни́евич, пора?

Млодзиевский же нежно взглянул на Ивана Ивановича, точно он был белым лебедем: кренделем руку подставил:

– Пора-с!

С ним – летунчиком: к двери!

У двери – всемерная бежность: проход на эстраду, где, к стенке прижавшись, стояли магистрики; профессора выплывали квадратами: Суперцев, Видитев, Ябов, Крометов, Мермалкин, Орпкб, фон Зо́альзо; и – прочие; приват-доценты летели, меж ними построив косые углы.

Из-за всех прокурносился он, ими всеми ведомый, как козлице.

Шествие было скорее введением, – внесением: почти – вознесением; и справа, и слева – бежали за ним; и – бежали пред ним; в спину – пхали; старался степениться; и – выступал, сжавши руку в руке; так был пригнан к столу, обнаружился, с задержью, голову набок склонил; и стоял, озираясь какой-то газелью (сказать между нами, – стоял лепешом).

Поднялись в громозвучном плескании, в единожизненном трепете; кланялся; прямо, налево, направо (одним наклонением вихрастой своей головы); среди плеска бодрился; боялся, что будут, схвативши, подбрасывать в воздух. И – скажем мы здесь от себя – что за вид! Что за пес? Что за куча волос: в чесрасчэс! Нос – вразнос!

Курбышом в кресло пал; Млодзиевский, пропятясь крахмалом и докторским знаком, таким перевертышем сел рядом с ним в белоцвет из груди, обрамленных блистательно фраками; в натиске взглядов вскочил.

И рукой со звонком произвел он курбет, приглашая к вниманию зал: он приветствовал «Сборник» в лице основателя сборника.

Тотчас же встал с очень нервным закидом свисающей пряди волос Тимирязев; держался за палку (удар был полгода назад); его встретили: гаки и бешеный плеск; стеганул, раздаваясь прыжком звонковатого голоса, – ярким приветствием, быстро бросаясь бородкой, рукою и грудью, как некогда ловкий танцор перед «п а»; говорил он от «Общества естествоведенья»; сзади топтались с адресом в папке, – Крометов и Сүперцев; «Общество антропологии и этнографии» было представлено носом Анучина; «Общество распространенья технических знаний» дуоко стояло профессором Умовым, а «Инженерное Общество» нудилось где-то Жуковским; все три делегации плачем, дуочиём, носа защемом хотели почтить.

Кто-то тщился вторые очки нацепить; кто-то, глохлый, пропячивал ухо; внимала семья математиков: жмурились, точно коты, кто – с надглядом, кто – сам себе под нос; и – взглядывали на Ивана Ивановича; в центре сидел он, такой косокой, такой кособокой собакой.

Батвечев докладывал:

– Доблестно вы послужили науке!

За адресом – адрес: слагались грудами; в этом с размаху рубило увесистое слово Мельтотова контур его устремлений, а в этом Мермалкин уже выщелачивал мелочи завоеваний, им сделанных, – жестким отрезываньем:

– Вы очистили метод!..

– Вы высказали в «Инварьянтах» огромную мысль!

– Вы в брошюре «О чистой науке» на двадцатилетие опередили...

Восстал Шепепёнев – с большим кулаком; он ругательским лаем грозил юбиляру:

– Ты поднял, – зашваркал рукою он, – нас.

– Ты... ты... ты... – водопрядил периодами, – был опорой.

Манжеткою в воздух:

– Товарищ, друг, брат!

Показалось, что бросится бить; он – расплакался.

Шел, отирая испарину, – ежеголовый, с промокшей манишкой, совсем без манжета (последний, наверное, вылетел).

Веер приветствий!

Казалось, что жизнь всех внимающих руководилась правилом жизни Ивана Ивановича и что брошюрочка «Метод», в которой профессор едва обронил две-три шаткие мысли, есть вклад в философию.

Если б так было!

Но было – не так.

Эти люди не жили заветами Дарвина, Маркса, Коробкина, Канта, Толстого, но жили заветом – начхать и наврать; юбиляр быстро понял: рассказывать будут теперь они нёбыли; и – захотелось сказаться; еглил он под пристальным взглядом двух тысяч пар диких, расплавленных и протаращенных глаз.

Болеслав Корниелевич встать не позволил ему:

– Это – после.

Осекся: глаза ж, егозушки, плутливо метались, когда он выслушивал, что он наделал.

Никита Васильевич встал.

Своей левой рукой, залитою в перчатку, держа шапо-кляк, пальцем правой, опухшей, наматывал и перематывал ленту пенсне:

– Друг и брат, – провещал не глазами, а – бельмами, – в этот торжественный... – замер рукою: и кистью, зажавшей пенсне, иль, вернее, пенснейным очком он надрубливал тот же пункт в воздухе: но поперхнулся, платочек достал, зазвездя глазами; уставил глаза в шапокляк, куда воткнуты были с перчаткою, с палевой, – листики.

Считывал с них он:

Ты помнишь ли, – под бедной занавеской
Глядели мы на мир?..
Ты истину искал под занавеской;
И – Смайльс был твой кумир!

Разумелася драная та занавесочка повара, – в пятнах, в клопах, – под которой сидели сокласники: «Ваня» и «Кита»; и всем показалось, – Никита Васильич всплакнет; он – всплакнул, защемяв двумя пальцами нос посиневший и делая вид, что сморкается; слезы платочком смахнул, и – устал в клак:

Прошли года... И тот же ты поборник —
И правды, и добра!
И вот тебя сегодня мы – во вторник —
Приветствуем: ура!

Жидко хлопали.

Встал Исси-Нисси с приветствием от нагасакских ученых; и раз-из-изысканно – из-из-из-из – выводил тонким голосом, точно смычком; и казалось – стоит перед Распрокоробкиным, как – Невознисси; студентам же – мало: невсыть и невтерпеть! Ненаградным казался любимый профессор: палили глазами; но, неопалимый, – сидел.

Млодзиевский хотел исчерпать бесконечный поток теле-

грамм (после каждой – шлеп, гавк):

– «Поздравляю. Делассиас». «В радостный день юбилея приветствуют – Ложечкин, Блошкин». «В высокоторжественный день шлю привет с пожеланием многих трудов юбиляру. Махориер-Порцес». «Луганск. Гаудеамус. Ивотев». «Влоградец. Коробкину – слава! От брат, славянин, Ярошилль». «Париж. Десять. Фелиситатион. Панлевэ» (гром приветствий). «Калуга. Веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал. Инженер Куроводов».

Прочли от сенатора Кони, Веснулли, от Артура Вхорчера, от Мака-Драйда, от Поля Буайе, Ильи Мечникова, Николая Морозова; не перечислишь; среди прочих пришла телеграмма в стихах – из Сарепты; но – спрятали: не огласили:

Виват, Н. Коробкин!

Ты – наш «вадемекум».

Ипат Двуутробкин.

Феона Бромекум.

Не «И» – «Э н» Коробкин стояло; в «С аратовской Жизни» написано было: «Наука российская будет цвести, пока в ней будет действовать стая орлов: Ильи Мечниковы, Николаи Коробкины». Верно, с Коперником спутал газетчик; отсюда – мораль: проживая в Сарепте, в приветствиях должно себя ограничить фамилиями.

Увенчали приветствием бактериолог Бубонев и Штернберг: или, астроном; последний поднес юбиляру открытое

только пред этим светило, – не «альфу», не «бету», не «дельту» и даже не «эпсилон»: звездочку «кап-па», которой и дали название «Каппа – Коробкин»; а бактериолог Бубонев поднес юбиляру бактерию «Нинам Коробкиниензис»; она представляла собой разновидность известного вида уже «Нина Грацилис»; химик хотел поднести изомер производного ряда «гептана». Ну, словом, – Коробкин вознесся, распластанный, в космос.

Сиял в отстоянии тысячи солнечных лет; это значит, что надо умножить число триста тысяч на сумму секунд в круглом годе, на, скажем мы, три миллиона секунд (счет весьма приблизительный); эту же цифру помножив на тысячу, мы и получаем – вот черт подери – десять тысяч сплошных и пустых биллионов: то – счет километрам меж брэнной землей и меж «Каппа – Коробкинским» миром.

С другой стороны, надо было суметь ограничить себя тараканьим кишечником, чтоб оценить обладание «Нина Коробкиниэнзис», водящейся в оном; профессор не мог проживать в тараканьей кишке; и не мог ничего предпринять в своем «Каппа-Коробкинском» мире; владения эти висели над ним; все ж «ин спэ»³² оказался он газовым шаром, бросающим протуберанцы на двадцать пять тысяч (и – более) верст от себя.

Нет, недаром японец воздвиг ему капище!

Вот он смотрел, умиленный, на всех просиявшей, тяже-

³² Букв.: «в надежде»; в будущем (лат.).

лой, какой-то золотой своей мордой из фраков, его окружавших, поставив два пальца своих пред собою; казалось, хотел теперь дать он завет всеми признанной «Каппа-Коробкинской» жизни.

Откуда-то издали, фраком виляя, пропятысь доцентским значком, Лентельпель Эраст Карлыч – старался протиснуться.

17

Фраком вильнув и схватясь за звонок, Млодзиевский закрыл заседание.

Пошло беснование, гавк голосов, щелк ладоней, протоп каблуков, разрыв глаз; все – вскочили: букет (просто куст) – красный, пряный гвоздичник, – тащили к столу два студента; из красных гвоздик он привстал и раскланялся: в лёты фуражек, прицеленных в нос и в очки; кто-то лез его лапить; кто-то уже обслюнявил.

Стоял – краснорылый, испуганный: схватят, подкидывать будут, уронят; и руку сломают.

Бежал с Млодзиевским.

Какой-то желвастый профессор дорогу ему пересек, взликовав юбилеем; какая-то плотная и сладкоротая дама, участница всех юбилеев, вполне прощелилась сквозь фраки – себя приобщить очень явным желаньем елепомазаться им; он конфузливо прикосновеньем руки – освятил. Потащили об-

ратно: раскланяться.

Полная там, желтожирая дама, начальница частной гимназии, тщетно душая жирами, кричала «гип-гип»; и махала платочком; уже наблюдалось в задних рядах разжиднение людское; в передних же – гуща; здесь сдвинулись стулья: трещали и лопались; сивый студент через спинки из задних рядов махал в гущу, под кафедру, громко приветствуя:

– Каппа-Коробкин!

Двубакий старик, ухвативши за фалду, его усадил, чтоб обнять; с ним запел:

– Гаудеамус!

Откуда-то встал еретический вопль (отдавили мозоль); кто-то плакался с хоров:

– Вы жертвою пали!

Совались в углу прокламации.

Передавали Ивана Иваныча, взявши под локоть: Окло-чьев – Шахлушину; этот последний – Оршарьеву, Щерьченко, Орбко, мадам Копросюнэ; из кучи, в которой давился он, крикнули:

– Гип-гип, – ура!

Невдоглядь подпустили студентов; и те – на шарап! Со всех ног полетели, как будто с дреколем.

Его окружили, притиснулись; он, непокорный, зажал кулаки посредине кольца его больно давивших людей; деры рук, перетоп каблуков: уйти – некуда (приват-доценты – бежали!); испугом сотрясся.

Подкидывать будут.

Схватили за правую ногу; но он – откаблучился; кто-то – неплошь; ухватился – за левую; больно о дверь егарнули; тащили по лестнице, вниз – на руках, перебрасывая в руки с рук: с непочетом; он, дико вращая глазами, с промятой манишкой, мотаясь вихрами, с усилием выпростал ногу (за левую крепко держали); и ей опираясь в ступени, – преглупо скакал: на одной ноге – вниз, отбиваясь другою (носком и коленом).

Скакание «Каппы-Коробкина» в сопровождении больно его наделявших пинками и даже щипками, оравших и вспотевших людей походило на бред в стиле Брегеля, нарисовавший скорей бичевание, чем прославление в мистерии «Страсти Коробкина»; припоминалось с такой неуместной подробностью, как он был бит надзирателем: в ухо и в рыло; хотелось расплакаться.

.....

В белой прилестничной, под эпистилем колонным, был крупный давеж, ералаш голосов; защемили мадам де Моргасько; вдруг – сверху, на лестнице – куча; под нею, над нею, ее обгоняя, неслись, перепрыгивали через ступеньки; вдруг кто-то стрельнул сверху вниз; приподпрыгнул, перéприподпрыгнул, стуча –

– при-под-прыг-пере, под-при-под-прыг-пере, при-пере, при-пере-
– прé

– каб

– луками!

И – прыгнул.

Все рты разодрали:

– Несут!

И хотелось увидеть, как мимо протащат; и... и..; где, где, где?

– Не толкайтесь, коллега!

– И я хочу видеть!..

– Позвольте же!

– Где?

Гагага́гага, га́гага, га!

– Что?

– Как?

– Где?

Протащили!

Никто не увидел: тащившие спинами загородили; увидели лишь, – среди тел кто-то взъерзнул; и – пал; болтыхнулся каблук; голенище нечищенное с неприятно засученной черной штаниной торчало из спин – не лицо юбиляра!

Так тащат ересеучителя: свергнуть со скал.

.....

Опускалися вниз, расходясь: Айвазу́лина, Ба́бзе, Ветма́шко, Глисти́рченко-Тырчин, Ика́вшев, Капустин-Копáнчик, Нахрай-Харкале́в, Ослаба́бнев, Олябыш, Олэссерер, Пла́рченко, Плачэ́й-Пепе́рчик, Шлюпу́й, Убавля́гин, Уппло́, Фер-

дерпёрцер; доцент Лентельпéль, Эраст Карлыч, с профессором Узвисом уговорились: катнуть в летний сад.

Уже белым деньком дошутили они юбилей.

.....

Бирюзовились воздуха; ласточка забелогрудилась, взвизгнула, взвесься в воздухе; крылышками поморгала на месте, – под белой абакой столба тупо тукнулась носиком в мушку; и – визглыми вертами дико расстригла бирюзенький мир; и за нею другая пошла; там – мельканье, визжанье; и – лопнул стеклянный колпак небосвода разблесканным залпом лучей; и полезло надутое солнце: кричащими жарами; день утомительно вспыхивал: пламенем!

Улица бросилась в выжелтень пламени.

Глава вторая

Негодяй

1

Переулочек жаром горел; вонький дворик подпахивал краской: маляр облиловил фасад; затрухлели, лущась, щербневатые почвы, желтевшие дикою редькой; Дряхлена Ягинична вешала рвани и драни; в заборный пролом, над которым зацвикала птичка, открылись вторые дворы – с провисением стен, с перекривами крыш, с дымоходами, с ямой;

свинья, задрав визглное рыло, там чвакала в мякоти; прела конюшня под ласткой, откуда торчали по-прежнему: кузов рыдвана, пролетка с протертым крылом, сани, ящик кареты; висели – постромки, провiток кнута, перетертая в деле шлея.

Все – по-прежнему.

Спрашивали:

– Где же чертова курица?

Грибиков больше не тыкался старым егнушым лицом с протабаченной истиной; может быть, – всюду он выступил: летнее время; и всюду росли теперь грибики; даже – на пнях: род поганок.

Не сядешь на пень.

Паутина рвалась, на которой висел годов двести из сплетен – лихих, переулочных, цапких, московских, – кощем: над жузелем мух, – тех, которых посасывал; охая, слег, неплезных грибочков откушавши; и – шебуршал с простыней под лоскутным своим одеяльцем безруким таким червяком, искривленным и перекоряченным: в свойствах тряпьевых.

Стал бабою.

Сети рвались.

И все, скрытое имя, являлось наружу: гаганило; гики пошли по московским трактирам; галданы – по чайным; уже салотопный завод бастовал; волновались у Цинделя; на мыловаренном переставали работать; выскакивали в переулок; устраивали под заборами – сбродни и сходни.

В портках айдаком оттопатывал кто-то под вечер:

Летят ягоды, лимоны —
Поднимают Харитоны.

Какой-то дворыш из Китайского дома, куда собирались по мнению Парфеткина только уроды природы, — дворыш, проглаголив три дня, предвещал — глады, моры и труссы; по небу летала звезда; объяснили: с метеорологической станции шарик — с привязанным факелом; мальчик родился с главой петуха: кукарéкнул и умер; а трупик не похоронили, но в банку со спиртом закупурили, — показать: вот какие младенцы пойдут.

Меньшевик Клевезаль перестал появляться.

Зато Николай Николаевич Киерко, верткий и легкий, порхал в переулках; «пох-пох» — отлетала дымочками через плечо его за спину трубочка: в нос и в глаза за ним шедшим; казалось, что палочка Киерки, — жезлик Гермесов, — крыльями бьется, неся в легком верте танцующем: из дому — вдоль по районам Плющихи, Пречистенки, Дорогомилова, Пресни.

Казалось, что Киерко — серенький вихорек.

На Телепухинский двор приходил очень дельный портной, Вишняков, — горбозадый, тщедушный уродец; прибиривал задницей; был — цветолюб, детовод, обнаруживая щечечи: девчат и мальчат; все-то ёрзает задницей с ними,

поднявши шпинечек бородки; визгун добродушный, – на цветики щурится:

– Эй, егоза, посмотри-ка, – и лик изможденный болезненный, – призрачным, светопримчивым станет.

– Какой дворик вонький, а – фролки цветут.

Вокруг – цвикают пташки.

Когда задирали его, становился весьма щепетильным; дул губы колечком; и щеки подса́сывал; точно гусак, щипаком наступал он; и, вытянув шею, словами ущипывал: очень занятно и очень разумно; совсем ничего, что по звуку весьма неприятно дрезжал.

Он ходил к Тимофею – в конюшню.

Под фырки и чавк лошадей заводил разговоры о том, что спастись себе надо от жизни зловердной:

– Спасайся, – спасая.

Поднявши оглобли, внимал Тимофей; и – дыр-ды́р – шарабан он выкатывал с полу бревенчатого в раската́й предко-нюшенной пыли: отмыть колесо от присохи:

– Так точно.

– Отсюда – что следует? – чтеческим голосом воздух разделявал. Точно дрезжал Псалтирем Вишняков: лик, похожий на «ижицу с ухами», – у ха́ми дергался.

– Черт его знает!

– Спасая, – спасайся! – бывало, уставится носом, как мышечкой, он.

– Образовывать можно, к примеру, – отряды для этого:

армией двинемся.

И доставал табаковку; ущипывал крепкий табак; наставлялся лицом (приходилось лицо по живот) в Тимофеев живот; ему женщина в белой рубахе, но с красно-кумачным оплечьем, бывало, внимает:

– О, Господи!

А Тимофей приподымет оглоблю и катит в конюшню – дыр-дыр – шарабан; там – подскоки подкованных ног и помахивание хвостов (оттого, что летают кусливые длинные мухи, паутки); и – ластка под небо испуганно дернет.

Портной завелся на дворе оттого, что он хаживал к Яше: он снюхался, видно, с княжною в штанах.

.....

В эти дни задувал тепелок.

И над крышами дергались змеи; от дворика вихорек пыли вывинчивал, чтобы свинтиться с пылями, которые вздул Гнилозубов Второй, потому что район переулочный – вихорел; то есть: квартиры подпыливали; заходявши винтами, заползав ужами, – они выволакивались из окошек на улицу; столб пылевой над Москвою бросался под небо, став хмурью и гарью; за тридцать пять верст извещались окрестности: вихрище – близится.

Вот отчего порвалась паутина, а Грибиков – слег.

Накануне еще неполезных вкушений своих он пытался просунуться в спор: под окошко; стояли там – Клоповиченко, печник и рылястый мужик; топорищем с размаху прикряхтывал он по тесине; печник лякал пальцами глину.

И – слышалось:

– Долго ли будем хворать – от свооо от хвоста?

Это выслушав, Грибиков – дергом: за форточку:

– Ладно, – ужо тебе будет, – сказал он себе.

И подвыставил ухо; к нему приложился, чтобы голос услышать.

– Полено к полену...

Рылястый мужик положил свой тяпок топором на тесину.

– И будет...

Нос выставил Грибиков:

– Кто бы?..

– Костер тебе!..

Старую шамою он – к мужичку: сверху вниз:

– Ты что знаешь?

Поскрёб безволосье куриною лапой:

– Я?

– Ты!..

– Я... которое – знаю, которое – нет...

Кекал Грибиков:

– Вот и не знаешь.

И сфукнул в кулак.

– Я то знаю, что валяются, точно в помойную яму, в нас всякие дряни...

Шипнул, как на печке кусочек коровьего масла:

– В большую, брат, яму, – побольше и хламу...

Ответил плёвом.

.....

Подпахивал ямник, к которому шла в подчепёчнике старая: с грязным ведром; раздавалось:

– Буржуй шеголял лошадьми!..

– В щеку бил!

– Чертопханил.

– Кокошил...

– Куражился.

Грибиков лез из окошка глистой.

Агитировал Клоповиченко:

– Когда забастовка, то липнет буржуй с поцелуями; ты его в губы, он – щеку, не губы, подставит.

Не выдержал Грибиков:

– Умокичение!

Гадил глазами.

Печник остроумничал и лякал пальцами с мокрою глиной:

– Буржуй из яйца, из печёного, высидит цыпу: зажарит – да сам же и слопает.

Грибиков – дернулся:

– Мир сотворили, да вас не спросили.

Отплюнулись; и – продолжали свое; меж собой.

– Цыпу лопаешь?

– Хворостом брюхо напхай, – такой урч!

– Едим с урчами!

Грибиков сверху рукой гребанул;

– Оттого ты урчишь, что горшок каши слопал, – роташку

поджал: стал роташка полоской.

Не слушали.

– Евдак восстанешь.

– Давайте же вместе урчать: урч подыдем такой, от которого город провалится.

Грибиков трясся костлявым составом, свой палец в них тыкая:

– Можно сказать, – он шипел, как вода, пролитая на печь, – из болота вольно орать черту.

– Сам черт!

– Против явности спорите.

– Сам против явности сел: с сундучищами.

Грибиков тут поперхнулся простуженным кашлем, схватясь за грудашку; и – сплюнул.

– Не плюйся!

– Ты что?

– А ты что?

– Я-то – то... Ты-то – что?

– Ты не чтокай!

– Шаров на меня не выкатывай.

Сверху грозил им рукою:

– Трень-брень, – молододшлый работник, а – тоже вот...

Чуть он не выскочил из-за окошка:

– С подшипником сделал – что?.. А?

Ему – взлаем:

– Рабочий закон защищаю от хапов.

– Правое не имеешь!

– Сын курицын: шкуру содрать!

– С самого-то уж содрана: ходишь без шкуры.

Два пальца поставил:

– Моя шкура, – пальцы согнул, – хоть не черного соболя.

Третий свой палец просунул меж ними:

– А все же, – своя она.

Кукиш показывал:

– На!

И захлопнул окошко.

Ушел к Телефонову: вместе ходили куда-то.

.....

Наутро шпичок появился; в Бутырках уселся Анкашин Иван; Николай Николаевич Киерко лихо обмолвился – в жу-желжень муший.

– Павко³³ – давит мух.

И понесся летком в тепелке налетевшем, рванувши белье

³³ «Павко» – южнорусское – паук. – *Примеч. А. Белого.*

на веревках; столб пыли – за ним; был – во всюдах: Парфен Переулкин, Ивавина, Пэс, Твердисвечкин, Сергей Свистолозов, Денис Котлубанин, – с ним вместе. Затылки чесали на дворике:

– Явный донос!

– Кто бы мог?

– Не Попакин ли?

– Он – и не нашинский; он – и не вашинский.

– Пашинский он: Пашин-прачкин.

– Его бы и сфукнуть.

А Грибиков кушал грибочки; и – охал, должно быть, от боли: на дворик – не шел; занавесил окошко; стал – шамой; стал – бабой.

Рвалась паутина над злой моркотой переулочной.

3

Фольговый Тихон Задонский – отблещивал: венчиком; Грибиков зло одеяло откинул:

– Мой чашки!

– Поставь самовар!

Переклейные стены отвесили задрани.

– Не шабалдашничай!

– Гнид не дави.

Потащился по комнате чертовой курицей – в тени: изъять лицом; сел – на кобанец, в угол: выглядывать в кухню-

ку, взором следя, чтоб хозяйство держалось в исправности карликом Яшей, который треньбренькал лоханями грязными, или, раструживая свою руку, приклепистый гвоздь забивал, или громко лучиной дрезжал, или, в угол забившись, в дыре носовой ковырялся спринцовкою.

Дни-денски слышалось:

– Живо!

– Не спи!

– Не скули!

– Не вихляйся!

Висел над ним Грибиков, дергаясь грызиной:

– Черта пусти себе в дом, – так не вышибешь лбом.

И куриною лапою скреб безволосье, роташку поджавши: в подштанниках серых.

– Живешь – шаром-даром.

Попреком укалывал.

– Деньги – плачу.

– А чьи деньги?

– Не ваши!

На это – не знал, чем ответить (действительно, – карлик исправно платил); и, схватись за спадавший подштанник, некстати язвил он:

– На шее-то – жабры.

Не жабры, а – железы шейные: вспухли!

– Вздуд жабры!

Как будто со зла это карлик вздуд жабры: болезнь разду-

вала.

– Ты чашку, смотри, не разбей: я целкач заплатил.

– Разобью, – заплачу.

– Какой ферт: деньги счетом, не чохом даются.

Таскался за карликом.

– Я – не чихаю...

– Еще бы чихал: небось – нечем чихать... Возьми швабру...

А то, отозвав к подоконнику, где в паутине повесился жирный паук, заставлял с ним играть в свои козыри, чтобы обыгрывать; если увидит мастичную карту у карлика, то – гонит в кухню; а сам принимается в тених изъяснить лицом, фукать в руки, на палец смотреть, его нюхать.

Честит Вишнякова:

– Чего финтифантит!

– Зафокусил!

– С чертом дерется за грешников!..

– Тьфу.

– Вот как черти его, шелкопёренку этого, проволокут ко-чергами...

– Лоскутник!

Раз карлик обиделся:

– Что вам такого лоскутник наделал? Он мухи не тронет.

– Чай мои пьет!

– Вы же сами поите его.

За глаза – то и се; а завидит под окнами юрк Вишнякова, –

так:

– Ставь самовар.

– За баранками сбегай-ка!

Сообразивши все это, потрогает пальцем подпёк бородавки, на палец посмотрит, понюхает палец; и – лезет в постель: шебуршать с простыней.

4

К Вишнякову нельзя подойти со словесными едами: шею протянет; и – бросится, точно гусак, – под животики – ижицей, ликом своим – продрезжать вразумительно; и – оставалось: подслушивать около двери, – о чем бишь.

О жизни полезной.

Притом: видно сразу, что – швец очень дельный; словами строчит, точно шапкой двоих накрывает; за словом не лезет: словами, как спичкою, – шаркает, чиркает.

Свет высекается!

Этот тщедушный уродец, бывало, появится, юркая вздергом горба; и – картузик долой; кресты – в угол: Задонскому; прыгает глазками:

– Силе Мосеичу, яко достойному...

Два свои пальца – в кармашечек: за табаковкою:

– Честь и хваление.

Нюхает, сделавшись морщиком:

– Пчх!

– Будьте здоровы.

– Спасибо!

И нос очищает платком своим красным; а «ижицу» – прямо в живот: с табаковкой:

– Чихните-с!

Прочоха – дождется: с прочохом – поздравит.

Потом уж затворятся.

Грибиков – к двери:

– Не пейте, – чтеческим голосом громко дрезжит Вишняков.

– Этим чертовым зельем спалите утробу.

На блюдечко дуются губы, означив над скулами всосы.

– Бог шлет вам денъжат, – ерзнет задом, – черт – дырку.

И чешет по воздуху чтеческим голосом:

– В чертову дырку денъжата профукнете.

Будто читает Псалтирь.

И – просунется Грибиков:

– Верно!

На карлу рукой гребанет:

– Ты-то!

Жалится едко на карлика:

– Якает целыми днями про нос.

И – под двери.

Портной заюрзикает задом; глазами добреет:

– Про нос вы оставьте, пожалуйста: зря... Оно – верно: со свищиком ходите.

Дует на блюще:

– Кого черт рогами под бок, – чашку доньшком вверх, – не пырлял? И на блюще поставит.

– А нос, – ну, конечно: пером его тронешь, – щекотно; а вы, можно прямо заметить, бабацали носом по жизни; и вы же остались без носа...

Юродит словами с болезненным, строгим лицом:

– А вы так не горюйте: кто – ходит без носа, кому – послан горбик. Задумается:

– Еще хуже пред райскою дверью при носе остаться!

Моргнет:

– Коль душа уцелела, так нос еще вырастет, может, с аршин у нее: во какой!

Он покажет рукой.

– Вы без носа, а «он» – без души.

– Это кто же за «он»? – беспокоится Грибиков.

– «Он» потащил вас на дело – срамное, кровавое: руки в крови у «него»; вы ж болезнью своей мыли кровь... Даже, можно заметить, – душа у вас есть... Кто же с прибылью?

Дернет рукою шпинечек бородки:

– Я так полагаю, что – вы!

– Не пойму я, – о чем они это, – понюхает Грибиков.

Пахнет придухою, кашей, портным.

– Что ж, – без носа... Носами не всем щеголять, – неприятно и сухо дрезжит Вишняков, – щегольство одолело; а вошка, – рвет рот свой до правого уха, – заела!

Не выдержит Грибиков: сунется:

– Ты – поучись у него: это – правильно.

Схватится он за подштанники:

– Вошка – заела: за-ее-ла!

Грозит двумя пальцами.

5

Веяло летними цветнями: дул тепелок; блекотала листва; завихорились пыли и прахи; подбросились ветки, подбросились листья; над ними вдали – солносядь: накитаяло небо: кенаровым цветом и тихостью синей; означились грусти; пробрызгались травы слезистым бериллом; жара оседала мутнеющим сгаром; пожухли окрестности: стены и крыши.

В открытом окошечке из самоварной трубы вылетали в нахмур красноглазые искры.

Окно распахнулося; в вечер усталились две головы; одна – черной наклейкой дыры носовой, а другая – шпинечком бородки; она показала до правого уха разорванный рот; и – дрезжала под облако:

Ты – у дьявола во власти!

Ты – погиб во цвете лет:

Человеческие страсти —

Бесполезный пустоцвет.

Карлик «Яша» подтягивал:

Если так, смири волненья:
Сердца пыл и сердца глод...
Зрей, как для употребленья,
В огороде корнеплод.

Голосами слилися: под облаком:

Будь зерном цветов нежнейших.
Жив – землей, росой – омыгт:
От твоих плодов дальнейших
Будет с пользой кто-то сыт.

.....

– Негодяи!

– Поют...

Этот Яшка, – со сватом...

К княжне, стал быть, сватают?

– Тоже, – нашла...

– Женишишечка!

.....

Всем оказывая помощь,
Удаляйся ты от зла, —
Поливаемая овощь
Для небесного стола.

Как иной какой кузнечик,

С пользой сев на огурец, —
Будешь милый человечек:
Не какой-нибудь шельмец.

И окошко захлопнулось: мѣдистым вечером; звездочка, ясочка, теплилась, точно в зыбели младенец; подпахивал ямник.

.....

Когда уже смерилось, из желтого домика вышел портной Вишняков; — и пополз в переулочек; казалось, — ползет по земле; а живот провисал между ног; и под небо взлетела ужасная задница.

Голову гордо закинув, пошел вдоль заборов.

Увидевши это явление природы-насмешницы, можно бы было, пожалуй, упасть на карачки с тоски за судьбу человека; но, поговорив с полчасик с «явлением» — отнюдь не кунсткамеры, — и веселей, и бодрее глядели на жизнь, потому что с достоинством, с грацией даже портной Вишняков через жизнь проносил подпрыг зада.

Сперва — ужасались.

Потом — удивлялись.

.....

Уже лилового вечера грусть означалась над крышами зеленорогой луной — со звездой впереди, с ослепительным, с белым Юпитером; дом черноокими окнами молча вгляделся во все, заливаясь слезами оконного отблеска; загрозаре-

ло: деревья, дичая нашёптом, бессмыслились; пагубородное что-то закрыло луну черно-желто-зеленою лапою; вспыхом шатнуло деревья; и тьма зашаталась; падая, выбросились за фасадом фасад, треснув черными окнами, черным подъездом, подъездным уродом, с пропученным зонтиком. И поднеслась на мгновение белая плоскость стены с четко черченным черным изломом под небо взлетевшего зада: судьба человека, которого мучила жизнь.

Так и «Я»: выпирается под небо; под небом каменный ком, завалившись, ему угрожает упадом.

.....

Надвинулась туча; под ней все смирнело; казалось, что красножалая молнья прожалит —

– вот, вот —

– все, все —

– все —...

И раздастся громовое:

– «Тар-

– тар-

– ррыыы!»

6

Парило.

Все-то профессор вертелся во сне, бормотуша:

– Анализ Провёрченки на основании тщательного звуко-

вого состава... дает.

Завертелся:

– Провёрченко – множество смыслов: он – метаморфоза их всех.

Привскочил:

– Да-с!

– Нет форм!

– Только – формы движения!..

Вновь завалился:

– Сегодня – коробка, а завтра, – а завтра, – вскосматился он, – «Каппа» какая-нибудь!

Эта чушь донимала; вертелся с таким впечатленьем, что все – переверчено, взверчено; странно винтило в спине; он увидел: подушка – проверчена.

Верченко!

– Вертится: верно – кубарь?

Не кубарь!

– Дырку вертит он: шило!

Не шило!

– С Верчóнком своим.

Не «В ерчонок», а – «Софочка»; правду открыла:

– Счета проверяет.

– Бухгалтер!

Бухгалтер, Пров Ерченко, – не пожелал проверять: непро-
вёрченко! «П» же «Роверчен и К⁰» – Поль Роверчен – на
острове Капри имел свою виллу; владения «К⁰» оказались –

заборами вблизи Баку; был на них – черной краскою выведен вскрик:

– Проверьянц.

За заборами ж – только пески.

Проверьянц – забурил: фонтан нефти поднялся под небо.

– Провёрченко – нефть: дело ясное!

Встал Гераклит: поучал:

– Так текучая жидкость, ища себе выхода, одолевает все косности твердого тела; и так: рациональные ясности форм распадаются в пламенных верчах текущего; метаморфоза Провёрченки – шило, бухгалтер, кубарь и Верчбнкин приятель, – есть знак, что Коробкин отправится в Каппадокию.

Профессор, жестоко смеясь, попытался смутить Гераклита:

– Вы что же-с, – гидролог?

И – знал он прекраснейше: во времена Гераклитовы гидрологический – да-с – институт еще не был открыт; Гераклит не смутился: ни капельки!

– При изучении жидкого или же газообразного тела должны мы воспользоваться (вы читали Эйнштейна?) – системой текучих осей; вся система вселенной Ньютона разложена в параллелограммы, сведенные к неперемнным осям, объясняющим нам неподвижную форму; Провёрченко в ней проверяет коробки; коробки завертятся – в «Каппе»: ступайте-ка – в Каппадокию вы!

«Каппа- Коробкин»!

.....
С открытием этим проснулся: открытие – чушь!

Заморел от жары он сегодня за чтением «Математ и́ к амюзáб л ь»³⁴.

Клюнул носом: пошел, раскачавшись левой рукою, – сложить свои плечи в подушки: хотелось – сгаснуть, исчезнуть, не быть; вместо сна – началось это все: в голове завертелось; подушки – вертелись: желудок шалил эти дни (с молока); он – икал и отрыжку имел; прилив крови давал себя знать; и – шумело в ушах.

Все же – нечего делать: безделье!

В Москве он трудился дненóчно, сидел над бумагами; здесь же, на даче, два пальца свои подоткнув под очки, он сидел на лавочку, в солнце уставясь, драл до крови руки, которые Наденька мазала маслом гвоздичным; а то комары донимали; иль, взяв разрезалку, излистывал и перелистывал «Математíк амюзáбль»: под кустом бузины; или, сев биквад-ратиком пред муравьиною кучею, тыкался в кучу.

Он весь обвисал парусиной, коричневолобый, обжаренный солнцем; нестриженной бородой густопсел под природой, все – пил молоко; и читал Уилки-Коллинза.

.....

Надя с серебряной песней увиделась – прбмельком: в си-ней кофтенке, расплесканной в ветре, в ажурных чулочках; и глазки сощурила мило, на – «папочку»; бурно возливость

³⁴ Занимательная математика (фр.).

выказывал у подоконников: хлопотуном озабоченным мух защемляя и бегая пальцами за длинноногой караморой.

«Папочку» в эдаком виде заставши, от смеха кривулькою сделалась:

– Что это вы?

– Так себе...

– За караморой гонитесь.

– Длинные ноги какие.

Карамора оторвалась, оставивши ногу меж пальцами.

– Будет вам!

Заворкотушила; и, раздуванчиком юбки развеявши, громко в ладоши захлопала:

– В лес!

Потащила его.

– погоди, мой дружок, где-то тут, – суматошился он, – котелок, в корне взять...

Котелок захватил; носил в городе шляпу годами он; а, уезжая в деревню, он вырыл из рухляди свой котелок, о нем вспомнив, – изорванный, рыжий; и старый.

– Надели бы шляпу...

Профессор, надвинув на лоб котелок, взявши зонт дождевой, хотя в небе не виделось облак; довольный собой, с себя снял котелок, осмотрел его, снова надел:

– Превосходный убор головной, – говоря рационально.

И, выхвативши носовой свой платок из карманчика, по сапогу запыленному бил, подняв ногу (дурная привычка –

платком носовым чистить ноги).

7

Сырело и мглело.

Подсосенки, сосенки, малый сосняк; серо-розовый зяблик упархивал в иглы; придуха; елушником пахло: Надюша визжала арфичными звуками и нагибалась к лиловым, к еловым, к уже набухающим шишкам:

– Сосновые шишки, – не шишки: сушишки!

– Как так?

– А еловые шишки – лиловые шишки; так гладкая шишка – елшишка; а эта вот, – и показала она шишку с коричневым, гладким, сплошным, золотистым загаром, – ершишка: заёршилась.

Эти слова ему были приятны:

– Дочурочка!

В шишку он внюхался: шишка – смолистая; шишка – душистая; Наденьке очень полезно вдыхать этот воздух: сухой ведь плеврит!

Поскользнулся: расклизился широкошляпный подъяблочник под башмаком; синествольными соснами бор засмолел и нахмурился: сучник – прямой, строевой; и лиловая баба с белясым оплечьем в передник сушняк набирала.

Профессор устал: он уселся со вздиркой мохров прямо в мох, – на карачки; и – тыкнувши в мох карандашик, на На-

деньку вздернулся:

– Да-с!

– Что вы там?

– Добродетельный очень мураш.

Красно-карий мураш, встав на задние лапки, вертел двумя усиками.

Отгащила:

– Опять!

Точно он собирался писать сочинение: «Ж изнь му-равьев».

Открывалась им синемилая даль; открывалась дачами дачная местность, откуда вечернее облако, темный моргач, повисало, на молоньях, пбд вечер ясно-лиловою глыбой себя выявляя; для уха открылся дударь: провещался рожком; и – закрылся для глаза: протменьем; протменье – шло облаком пыли, из центра которого слышались щелки бича, густой мык:

– Говоря рационально, – что там?

– Стадо.

Надя цветы собирала, Ивана Иваныча нежно склоняя к цветам:

– Львиный зев...

Он очки наставлял:

– Да-с, – прекрасно, прекрасно.

Процвет луговой; сарафанчик: такой надуванчик.

– Вот кашка.

Очки наставлял он на кашку:

– Прекрасная-с!

– Знаете?

Травку показывала.

– Это что же?

– Трава валерьянова.

Цветоуханно!

– Ты, – спешно достал свой платок, – там... – И бил по носку, запыленному им, пыль счищая, – гуляй себе... Ну, —

...

Посмотрел на часы:

– Мне – пора-с.

– Я к Никите Васильевичу.

Задопьятов поблизости жил.

Кувырки своим носом пуская, он несся в поля – за сквозным мотыльком; завертел черным зонтиком.

.....

Скрылась с серебряной песенкой в зелень, жидневшую солнечную желтизною, вспугнув синезобую птичку: колечко играло сквозь зелень лиловою искоркой с пальчика; две горихвосточки вспышками красно-оранжевых хвостиков из-за шиповничьих зарослей ярко бросались за мушкой – у пруда с бутылочно-цветной водой, отражающей сумрак оливковых рощ; ликом, ясным, как горный хрусталь, – отразилась она: развевалась на плечике густоросль мягких, каштановых прядей.

И – бросила камушек.

Отблеск серебряный тронулся; пруд – передернулся: блеснуло излива; и – зеленоногого стрельнула лягушка: туда; пузырьчек серебряный глюкнул из глуби; паук водяной, неподвижно распластаный, – прочь устрельнул: под купальню, пропахшую очень горькой ольхою и плесенью.

8

Хлюпали ноги мохнаем; пошел – мокрозем; места – топкие; фикал болотный кулик; сине-ртутной водицей болотце блеснуло из рясок и аиров с мельком раскромсанных мошек; парок: подтуманило; села кривулькой: бочок поднывал; у села Пересохина (с непросыхающей лужею), где тупоуглые домики криво валились промшелыми крышами, – выбралась у конопляников; здесь неискосный лопух расширился – в полроста.

Вдруг стала: прислушалась.

Явственно кто-то, как щепкое дерево, задроботал, – очень тоненьким, чтеческим голосом:

– Этот лопух называют еще «чумный корень», а ягоды – нету у него.

И ответило: хрипом и гнусами:

– Много ли ягод: две-три; и – обчелся!

Приблизилась Наденька.

– Много ли ягод? Ну, это – напрасно вы; всякая ягода есть:

голубика, крушина, дурман, волчья ягода... все это – ягоды...

Наденька видела – нет никого: лопухи; лопухи помолчали: и вдруг, почти рядом качнулся без ветра стареющий зонт лопушиный под небо – представьте – с немецкою песней:

Es Säuseln die Linden
Und seufren herum:
«Warum warst du blinde,
Warum warst du dumm?».
In Sünde und in den
Genuss gehn wir ab
Zum Sinken, zum Finden
Den traurigen Grab³⁵.

Дроботала, как щепкое дерево, кучка больших лопухов:
– Егта правильно, что вы поете.
– Майн Готт!
– Извините-с, – о чем тут поется?
– О том, что «Я» наше и слепо, и глупо...
– Я, я, – заперечил лопух, – полно якать: оставьте, пожалуйста, вы ваши «яшки»; без «яшек» живите; и так «Яшей» стал божий раб, Людвиг Августович; вы живите себе, как живет шелкопряд: он – летает себе, с дружкой любитя.

³⁵ Липы шепчутся и вздыхают кругом: «Почему ты был слеп и глуп?». В грехе и в наслаждениях идем мы ко дну, чтобы найти печальную могилу. – *Перевод А. Белого.*

Продребезжало весьма назидательно:

– Коли со свищиком ходите, – плюньте; что свищик, что прыщик: телесности; умственной жизнью живите, раздумывайте о прекрасных твореньях природы; прядите, скажу, свою мысль, как, опять, – шелкопряд, своей жизнью разводит он шелк; ну и вы – разводите.

Гнусило:

– Свинья я!..

– А будьте хотя бы свиньею, – прошаркало словом, как спичкой, – полезна свинья; она кормит нас мясом; и даже свиная щетина идет по разборам: на щетки, на кисти... Так прямо с щетинистым рылом в пушные ряды не войдете, – и вдруг лопухи разлетелись.

В разрыв лопухов протянулось худое лицо с бороденкою клинышком, с темными всосами щек, с двумя ухами, как у летучих мышей; улыбнулось нечищеным, желто-коричневым зубом, свой рот разорвавши до правого уха.

И – юностно выговорило:

– Очищайтесь: отмойтесь.

Кричало в лопух; и лопух – прогнусил:

– О, майн Готт!

– «Бох», или «Готт»: все – одно, что природа... Затеяли дело хорошее: предупреждением чистосердечным помочь; а зачем на попятную вы? Это даже престранно; приехали, можно заметить, – и за обратный билет заплатили, а – чем дело кончилось? Сели в лопух.

– О, майн Готт, – тут полицию впускают...

– Вы – без полиции: чистым манером – на дачку, да и...

«Так и так: соблюдайте бумаги!..» А вы – вот заякали: сели в лопух...

Тут Надюша – увидела: под лопухом застарелым сидел прирученную жабой, смотря во весь рот пред собою, – представьте же – «Яша», карлишка, который напротив них жил в Телепухинском доме: в Москве. Как попал он сюда?

Голова, помолчав, задрезжала в разрост лопухов:

– Есть немецкие песни про всякую – скажем – божественность?

– Как же...

– А вы б, – как в природе мы, – спели бы песню свою: ну, про самую эту – божественность.

Карлик подумал; и вдруг – загнусавил:

Die Glöcklein singen
Aus Ewigkeit Gruss
Und frönlich dir bringen
Den himmlischen Kuss.

Die Seele entbindet
Ihr himmlischen Flug.
Das Herzelein findet
Im Leben sich Klug.

Die Sonne trompetet

Im himmlischen Blau:
«O, jauchze, gerettet.
In wonniger Au!»³⁶

Он и гнусом, и хрипом выкрикивал в небо; но вдруг голова, увидавши Надюшу, как мышечка, носиком ерзнула, палец ко рту приложивши; и – шаст: под лопух; никого: лишь – разроет лопухов.

Лопухи шепепенили.

9

Клумбы, боскеты, кусты подрезные пропучились тенью, а пегий песочек – рудел; кустик, сбрызнутый, вздрогами капель, осыпался; пылом подсолнечным плавилась речка; в подстриженном садике, пахнущем и резедой, и левкоями, за маркезитовую, литой загородкой у клумбы с лиловыми флоксами в сером во всем, с перевязанным пальцем (нарыв разыгрался) сидел Задопятов, листая Бальзака.

Серебряный шар раздувался из пятен настурциев над головою его, выясняясь на фоне синявой стены, изукрашенной белым фасетом и переходящей в веранду, где кадка-дождевка стояла и где из изогнутой лейки садовника прядали пер-

³⁶ Колокольчики из вечности поют привет тебе и приносят радостно небесный поцелуй; душа разворачивает небесный полет; сердечко умнеет для жизни; солнце трубит в небесной голубизне: «О, ликуй, спасенный, в душистых сенях!»
Стихотворения принадлежат Л. А. Кавалькасу. – Перев. и примеч. А. Белого.

лы на розовые и брусничного цвета соцветия; под парусиною синеполосой виднелось кресло-колясочка: спинкою к клумбам.

Никита Васильевич вздрогнул, услышавши шорох: взглянул, – весь затрясся; и томик Бальзака упал; как-то быстро подбросился – дрябленьким пукликом, перевлекая зады к загородке: навстречу.

Заметим.

Снимая шале, он не знал, что Коробкины – в этой же местности; точно чумы, Василисы Сергеевны он избегал; до сих пор задержалась в Москве еще; но он предчувствовал, что посещение – будет: профессорша...

И – появилась.

Захлопнув калитку, она приближалась – бледно дымея духами и кружевом зонтика, в серо-сиреновом, легком своем матине, в серо-синенькой юбке, закутавши шею сквозною и веющей серо-кисельною шалью.

Он губы надул на нее.

И за нею сжелтились пятна осолнечных трав; белел дом с того берега, выступивший из кусточков куском колоннады и темной железною крышею; выше, из синего воздуха, вниз веретенься, – крыло коромысла: и ближе, – и бац – протрескбчило: около лба; Василиса Сергеевна, веки сощуриив, головку склоняла набок, зажигая свой взгляд аллегретто; себя ощущала она – Микаэлою, тореадором – его:

– Ну, я – вот.

Но в «я – вот» был испуг, даже – злость: представлялась возможность, что он ей укажет на двери.

Никита Васильевич был джентльменом: он – тек ей навстречу, неся не лицо, но дрябье, суетливо пошлѣпывая по песочкам; увидела: он полагал расстоянье меж ней и террасой, откуда в разлет парусины глядела колясочка-кресло на ясных колесиках; в кресле из тряпок какие-то дулись шары.

На «шары» закивала:

– Ну что?

Вся – такая сухая, такая безбокая.

– Как это «что»?

Поднял нос, закрываясь пенсне.

И скисало под носом невкусное что-то: как будто кислел отдаленный миазм.

– Ну – «она»?

– Лечим всячески.

Но – поелозила голой лопаткой:

– Скажу а пропб, что не лечат аптеки: калечат.

И – губы подставила: безароматно. Растерянно к ним приложился он, дураковатый какой-то, не зная, куда поглядеть и о чем говорить; начиналися – пережелтїны меж ними; глядел, – моветоном:

– В Москве задержались?

И – лезла в глаза.

Но он, сделав прищур безреснитчатым веком, старался, как мог, отбарахтаться взглядом от взгляда; она – поняла; и

– обиделась.

И – равнодушно заметила:

– Мебель хотела обить вельверéтом.

С оттенком брезгливости села в настурции – под дутым шаром.

– А вы, – с мелодрамой сказала она, – превратились в сиделку? Зонтом разводила расчерточки, перерыхляя песочек.

Он – выпрямился; взволосатил свои седины; сделал пукликом рот; и – сказал убежденно:

– Как видите, – да: я нашел свое счастье с женой.

Повернулся; и – видел: из кресла напучились в солнечный блеск – животы.

Очень грузно вдавилась в коляску, как шар, – Анна Павловна, в крапчатом желтом капоте; прикрытая кружевом черным лежала на спинке ее голова; а тяжелые ноги закрылись клетчатым пледом: они – отнялись; шаром вздуло ее, точно павшую лошадь; над нею жужулкали мухи; в тяжелой улыбке кривел ее рот; от губы отвисающей – слюни тянулись; блеск углубившихся глаз вырывался из бреда мясов и мутящихся звуков, которыми оповещала окрестности.

Грустно сказать: стало время ее – развалёньем; занятие – мычаньем.

Профессорша губы поджала, кивнув на коляску:

– Она – агонирует!

Мстила словами за все унижения; «ее» ненавидела: «смрадное тело» навек положило преграду между «голубоч-

ками» (в грустных ночах без «него» называла себя и его – «голубочками»).

Ящерка зелено-желтая ёрзнула прочь, прошипевши сухую травой.

– Агонирует? Что ж из того?

Помолчал:

– Агонирую – я: да и – вы... Агонируем – мы.

И добавил:

– Я, – старый артритик: пора мне исполнить свой долг перед нею: хотя б перед смертью.

И руки на палку сложил он; сложил подбородок на руку, присевши.

Она – завоняла разомкнутым ртом на него, изгибая брусничного цвета губу и крича на весь садик:

– А вы не твердите своей абеве ги; скажу а про-пó, – автохтоны деревни и те деликатнее с дамой.

С веранды взмычало:

– Ммы... Ммы!

Да, корова, взбешенная, с мыком таким, – тяготящим, почти угрожающим мыком, – рога опустивши, задрав кверху хвост, с налитыми глазами несется: на красные тряпки.

Услышавши мык, Василиса Сергеевна уши зажала, шипя с сатанической злобою; взглядом кольнулась:

– Мэ нон, – эмпоссибль сьуппортэ: кэ вет' эль³⁷.

Он – испуганным пукликом бросился к креслу: склонился

³⁷ Но нет – невозможно вынести: чего она хочет? (*фр.*)

и видел: «она» посмотрела живыми гла-зами; он просто не мог видеть глаз, на него обращенных: такая любовь в них светилась.

– Что, Аннушка?

– Бы!

– Хочешь кушать ты?

– Бы!

Вознесенье пенсне на провислину сизую тщилося скрыть око, в котором слеза наливалась:

– На солнышко хочешь?

Свой рот разорвавши, хрипела – в настурции.

Вдруг, хрусталея, крыло коромысла: и ближе, и ближе; и – бац: протрескочило около рта, сев на рот обнажившийся:

– Быы...

Отер слюни: вкатил ее в тень, сознавая, что кончилось «то» зломученье, что все же живет в новом счастье он, слюни стирая у Аннушки, Аннушку в кресле катая.

.....
– Мэ ву ме лэссэ...³⁸ – раздалось за ним.

Василиса Сергеевна зонтиком перерыхляла песочек; вернулся к ней: ждал, что уйдет; выжидала, что скажет; не выждав, сказала:

– Стеснять вас не буду.

Он ей не перечил.

И голосом, вовсе угасшим, заметила, взглядом вперясь

³⁸ Но вы меня оставляете... (фр.)

пред собою:

– Акация...

– Кажется мне, что – робиния.

– Кажется, что из семейства бобовых...

– По-нашему, значит – гороховик: ну, – я пошла...

Двадцатипятилетняя связь очень странно пресеклась: ботаникой.

Кисло пошлепал губами ей вслед, повернулся, и, перевлекая зады, пошел к креслу; увялым лицом упал в руки; над креслом заплакал.

И – точно из бочки:

– Бы, бы!

Не винительным, нет, падежом возлежала, а дательным, – можно сказать: в падеже своем в нем совершала восстание к жизни; вознесши седины, катил – под лиловую штору; и – нет: катил в жизнь; лишь де-юре катимый предмет, она двигалась силой вещей в расширение сознания, его за собой увлекая.

10

Мычанью Никита Васильич не верил: по редким подслухам он знал, что сознание «ее» – изострилось и что – не корова она, а – весьма «Анна Павловна».

Раз раздалось совершенно отчетливо:

– Гырр...

– Что такое?

– Гыры!

Догадался:

– Гори!

Говорила ж:

– Горит!

А хотела сказать: все – сгорит.

Ее мысли душили, лучаяся из глаз, – о той жизни, которая вспыхнула б, если бы жизнь стала жизнью, – не дрыханьем в ночи и в дни: с выделением пищи и слюноотечением; приподымалась глазом, с которого сняли очко, над своими мясá ми к далекому солнышку; с радостным мыком тянулась к «Китюще», который – представьте – взрастал, оживленный слезою животного с ангельским глазом; какой-то жизненок выиграл в его чреве – от глаза ее.

Прежде – урч подымался.

Она заливалась: слезами и ревом; сквозь счастье свое горевала, что вся эта жизнь протекала теперь лишь в одном сослагательном смысле: лишь в «бы»; счастье было – «б ы».

– Б ы ы ы!

Из-за смерти глядела на тело: на прошлое дело свое; продолжала она это прошлое дело в одном усвоении и выделении пищи.

.....

С громчайшими дыхами, пот отирая свободной рукою, катил ее в сад: заскрипели колесики гравием:

– Если бы встала!..

– И – если бы...

Жизнь в сослагательном смысле: сплошное – «бы, б ы».

Не устраивая вахтпарадов своим убеждениям, над нею проделывал все, отстранивши сестру милосердия он; убежденно по саду катал; и – обласкивал мысленно:

– Жenuшка.

– Женка.

Была же не «женкой», а – «ж é нищей», вздутой, лиловой и потною: пала, как в битве.

Катил ее к берегу.

Берег же был вертепíжистый; здесь коловертными бы́стриями, заклокотушив, неслоь протеченье – внизу, сквозь ольшину, где воды тенели и в прочернь, и в празелень; рыба стекалась руном в это место; шли далее – каменоломни (на той стороне), поливные и белые мели; и – пойма; над этою кручью пришлепывал старый артритик, рукою добойную тяжесть катя, а другой отирая испарину, заволосатясь, глазные шары закатавши и выпучась бельмами; снизу наверх потянулась глазами, пропятив губу, чтобы – слюни отер.

Добродушной толстухою стала!

Была-то ведь – злая.

Поправил на ней сине-клетчатый плед; вытер слюни; и лоб завернул черным кружевом, чтоб комары не кусали; куда это каменность делась? Он весь пробыстрел; и – казался мешком, из которого вытек «душок», но в котором воспрянул

жизненьш; в мешке, называвшемся лет шестьдесят «Задопятавым», связан был маленький очаровательный «пупс», вылезавший теперь, чтоб бежать в «детский сад»; Задопятав был – зобом на теле.

Кто мог это думать?

Она!

Она – знала; она – не была; или – проще: от слова «была» оставалась одна половина; а именно: «бы».

Сослагательное наклонение.

Ветер кидался песком, загрязняющим слюни, ей в рот; у ног – ерзула ящерка, перебегая дорогу.

Над креслом себя изживал не Никитой Васильевичем, а «Китюшей», которого верно б она воспитала в «Никиту», а не в «Задопятава», выставленного во всех книжных лавках России (четыре распукленьких тома; плохая бумага; обложка – серявая); вздувшись томами, он взлопнул; полез из разлоплины «пупс», отрывайся от жиряков знаменитого пупза, откуда доселе урчал он и тщетно толкался; а вот почитатели – «пупса» не знали; и – знать не хотели; ходили к сплошным жирякам: к юбилейным речам; почитатели ждали статьи о Бальзаке от «нашего достопочтенного старца»; он – вместо статьи подтирал ее слюни, из лейки левкой поливал, иль – возился с хорошеньким «Итиком».

«Итик» захаживать стал, – белокурый мальчонок: трех лет; говорили, что жил он поблизости: в розовой дачке – на лево; в носу ковырял, рот разинув на мык Анны Павловны;

«Итика» гладил Никита Васильевич.

Пальцем указывал:

– Тетя больная.

А «Итик» – смеялся.

Вдруг «Итик» ходить перестал; и Никита Васильевич, важно надувшись и четким расставом локтей вздевши на нос пенсне, – сам отправился к розовой дачке: разыскивать «Итика».

«Итика» не оказалось на дачке.

Но – спросим себя.

Неужели Никита Васильевич вместо общения с профессорами словесности и переписки с Брандесом и Полем Буайе предпочел вместе с «Итиком» делать на лавочке торт из песочку. Ведь – да.

Вместе с тем: закипала какая-то новая мысль (может – первая самостоятельная), оттесняя – все прочее: Гольцев, Кареев, Якушкин, Мачтет, Алексей Веселовский, Чупров, Виноградов и Пыпин, – куда все девалось? «Душок», точно газ оболочки раздранной, – вышел; остался – чехол: он болтался – на «пупсе».

Известнейший Фауст, став юношей, – накуролесил; Никита Васильевич, – дураковато загукал.

Ну, что же?

Ему оставалось прожить лет – пять-шесть; умереть – лет под семьдесят: и девятилетним мальчонком окончиться; лучше впасть в детство, чем в жир знаменитости.

Омолодила – любовь.

Он любил безнадежной любовью катимый раздувшийся шар, называемый «Анною Павловной»; в горьких заботах и в хлопотах над сослагательной жизнью катимого шара, над «бы», – стал прекрасен; он – вспомнил, как двадцать пять лет он вздыхал, тяготясь своей «злою женою»; о, если бы вóвремя он разглядел этот взор без очков. Он узнал бы: она понимала в нем «Китю», страдавшего зобом величия: зоб с него срезать хотела; и зоб надувала – другая.

Боролась с другою; и – пала, как в битве.

Склонился над ней с беспредельною нежностью он: все казалось, – вот встанет, вот скажет:

– Никита Васильевич, – вы «Пипифакс» мне купите у Келлера.

Или – записку повесит:

– Прошу содержать в чистоте.

И, надев два огромных своих черно-синих очка, каблук и твердейшею тростью пристукивая, очень спешно отправится на заседание «Общества распространенья технических знаний меж женщин», где женщины, под руководством ее телеграмму составивши, на кулинарные курсы пошлют (в день торжественный двадцатилетия):

Жарьте – полезное, доброе, вечное,

Жарьте, – спасибо вам скажет сердечное, —

Не вставала: лежала коровой.

Так в облаке видим мы грезу; но облако – мимо проходит; коснуться – нельзя; и прекрасная жизнь с Анной Павловной осуществлялася лишь аллегорией, праздно катимой в пространства, откуда – сталел, живортутился пруд и откуда залопались отблески, точно немейские бомбы, несясь к берегам, – поджигать берега; не дотянутся: лопнет у самого берега белая светом звезда; точно снимется с вод.

И погаснет, как «бы», угасавшее в темном, животном мычании.

Пришлепывал – старый артритик, – за креслом, глазные шары закатив, уставляйся бельмами в запад; но, ширясь, от пят его тень простиралась к востоку: гигантилась к Азии, немо спластавшись с тенями деревьев и став безголовой.

Так – мы.

Полагая, что путь наш протянут – пред нами, несемся в обратную сторону, чтобы, родившись старцами, – «пупсами» кануть лет эдак под семьдесят: в смерть.

Уже клумбы уставились вздрогом берилла: в закат розовеющий; все говорило, что в лиловоотсветном августе спрячутся розовые дней склоненья июлей; в склонения шел он: коляску – обратно катил под серебряным склянником шара,

³⁹ Пародия на некрасовские строки принадлежит не мне, а покойному Дорошевичу. – *Примеч. А. Белого.*

откуда трепались настурции.

Кресло казалось – мощехранилищем: в кресле лежали – нетленные мощи.

.....

Вступили в права желтоглазые сумерки; заволновались в ночь чернойверхие купы деревьев; и зеленоясная молнья – летала.

11

Душило под вечер: Никита Васильич взглянул на часы.

Вот ведь штука: профессор к нему зачастил (развивал перед ним свои взгляды на сущность науки), с момента отъезда профессорши с Митенькой в Ялту; профессор с большой охотой сопровождал Анну Павловну.

Сопровождали – коляску, в которой лежали «шары».

Одно время Никита Васильевич будто конфузился – за положенье жены в «таком виде» (все ж – рот провисающий, слюноточивый, запачканный пищей); профессор на эти конфузы пролаял, давнув под микитки:

– Ну, ну, брат, – оставь.

Обращался на «ты» в исключительных случаях он; Задопятов же, выпустив урч, ничего не ответил: но – дутость пропала.

Профессор явился сегодня – с зонтом, в котелке, в чернокрылой крылатке; он чем-то напомнил раввина; пошел с За-

допятовым, сопровождая колясочку, – прямо в аллею пустевшего парка, – с ротондой, торчавшей на белых столбах; тут и прудик тинел; и труперхлое дерево свесилось в тины, листом полоскаясь.

Профессор притрусочкой шел, сжав под мышкою зонт, а Никита Васильевич шел, отставая, – с достойным притопом.

– В чем, в корне взять, – да-с, выражает, и – да-с: чему служит, я смею спросить, рациональная ясность прогресса?

Себя вопрошал он над Анною Павловной.

– Только в русле его нам выявляются мысли ученых.

И ветер, взвивая пыль винтиком, черным крылом трепанул.

– Выявляются предположением, что человечество катится – к мере-с, – рукою отмерил, – к числу-с, – и число показал, – сударь мой...

Но Никита Васильич молчал, продвигаясь коляской: с таким авантажем.

– Коль это не так, то я – смею заметить: прогресс, – и платок из кармана он выхватил, – сводится к уничтоженью-с, – глазами скопился на нос.

– В этом случае даже прогресс – регрессивен.

Чихнул.

– Дело ясное: да.

И, стащив котелок, им помахивал вдаль, разволнованный очень открытием этих последних недель, что прогресс – не

всегда прогрессивен и что рациональные ясности – не рациональные ясности.

Скороговоркой бежал:

– Если мыслю и если в трудах разрабатываю специальные области, то – убеждаюсь, – как высказал я: вы читали-с?

И дернул рукой котелочек:

– В брошюрочке «Метод»?

– Читал.

– Ну – и вот.

Пояснил он рукой:

– Там я высказал, что специальные отрасли знания в корне взять, конкретизируют... – конкретизировал ручкою зонтика, ручкою зонтика тыкнув и носом пропятившись.

Напоминал он раввина.

– ...проблемы не столь специальных наук: философии...

Он разлетелся глазами.

– ...истории... – он разлетелся руками – ...словесности, права!

Никита Васильич, как деятель в области неспециальных наук, попытался ему возразить:

– Вы напрасно...

Профессор его перебил:

– Бросьте вы.

Подмахнул с безнадежным зевочком: болтание ступы в воде!

И, рванувшись, – пошел, не сгибая колен:

– Коль делить пополам, – разделил пополам, – то число –
уменьшается: до бесконечности, – и бесконечность себе пока-
зал меж щипочками пальцев, – но все ж – оно вовсе не будет
нулем-с.

Воздух взвертывал зонтиком:

– Асимптота – черта...

Концом зонтика ткнул:

– ...приближающаяся к гиперболе...

Руки развел он:

– ...и – несовпадающая... Меж обеими – грань: грань ми-
ров: мира нашего и... и... – искал выражения, – гиперболи-
ческого... А вот ваши науки, – напал неожиданно, – вы по-
глядите-ка трезво, – гиперболы!

С твяканьем вырвнул слово «гиперболы»: вывел на све-
жую воду – какого-то «рака», живущего в мутной воде: и на
«рака» указывал пальцем:

– Они – не науки-с.

С большим сожаленьем взглянул на Никиту Васильевича,
занимавшегося ловлей раков, иль их разведением:

– Это же-с – аллегорический мир!

Обвинил Задопятова он:

– А действительность – асимптота.

Никита Васильич, столь обвиненный, обиженным дуты-
шем шел: стал «душок» исходить от него – «задо-пятов-
ский», прежний: скорее для вида; сквозь дутость в большом,
выбегающем оке лучилось невинное «пупст-во» (надулись

одни жиряки).

– Ну, и вот-с, говорю я, – подшаркнул профессор, – проблема о жизни возникла, – подмах, – в биологии, но...

– Но...

– ...она разрешается только в механике, четко взрезая, – зонтом подмахнул, – тайны жизни.

Зонтом белоглавый грибок он расшлепнул.

И ясно, что Ницше, Толстой, Шопенгауэр и Кант – дилетантски болтали; он – «Каппа»-Коробкин – открытием: решил.

– Кант, – удивился, – и прочие, – пальцами щелкнул, – лишь – стадия, да-с, переходная; лишь – буфера, – уличал.

– Меж дикарским сознанием масс и меж нами.

– Пока не получают диплома они первой степени, ясное дело, – отдать им науки – нельзя-с!

И очковые стекла взлетели; смотрел – лоб в очках; а глазенки – слепые – моргали; Никита Васильевич жавкал пропаченным ртом, отставая с коляской; тяжелые ноги – прикрылись клетчатым пледом; жужулкали мухи; и – слюни тянулись.

Никита Васильевич слюни подтер.

Выходили к плешивине, где открывались три камня; три зверя серели гранитом, воздевши с трех теменей чашу: купель (с протухающей плесенью); перебегала, задергавшись хвостиком, за мошкаррой – белогузка.

Порх, – выстрелила зигзагами: в сумрак деревьев.

Прошли на дорогу; сады, крыши дачек, – коричневых, серых, кофейных, – то плоских, то остроконечных; и двинулись – полем: креке.

– Нельзя массам отдать электричества; даже диплом первой степени не гарантирует, в корне взять, против ужасных последствий...

Их все переживши, качнул головою:

– Ужасных!

Раздался из кресла – бессмысленный, жалобный звук:

– Мы...

– Что, Аннушка?

– Против последствий захвата науки... Поняття у правящих классов на этот счет, – жалки-с... И мы-с, так сказать, меж, – руками разбросился, – хаосом сверху и хаосом снизу!

– Ужасное, да-с – положение.

Мысль эта – вывод зимы; он питался печальными фактами жизни; с открытием, ныне зашитым в жилет, он ходил – почему да нибудь; до сих пор он работал и знал: защищают его переборки; пробоина – щелк: переборка; но с этой зимы – убедился: пробоина – будет; а вот переборки – не будет.

Пучина – объемлет.

Беспрочил своей темногогою прядью в поля, в сухорослые почвы, в свинцовые суши; Никита ж Васильич с пыхтеньем катил – вверх и вверх – свое бремя; и за котловинником вздернулись каменоломни: над берегом.

Вот – под ногами открылся провал.

– Вы подумайте!

Не унимался профессор:

– Подумайте только: возможность использования электронной энергии первым, сказать между нами, болваном...

Ткнул зонтиком в небо он:

– ...не гарантирует нас...

– Снова ткнул им:

– ...от взрыва миров, черт дери!

И рванулся космою, качая космою над выводом диких, бессонных ночей.

Под влиянием слов о разрыве миров, ошалевший Никита Васильевич на крутосклоне колясочку выпустил: и – пока-тилася.

Толстое тело пред ним, промычавши, – низринулось: под ноги!

Где-то внизу – приподпрыгнуло, перелетев на пригорбок с разлету; над крутью – к реке; миг один: Анна Павловна – бряк под обрыв (может, – так было б лучше?); колясочка, передрожав над отвесами, укоренилась в песке, закрепясь над рекой с перевешенным телом; Никита Васильевич, бросив Ивана Иваныча, засеменил, рот в испуге открыв и себе на бегу помогая короткими ручками.

Странное зрелище!

Старый пузан протаращился взором в пространство: орал благим матом он:

– Аннушка!

– Боже!

Профессор, когда мимо, фыркнувши гравием, ринулась в бездну колясочка, чуть не сбив с ног, и когда мимо с криком за ней протрусил Задопятав, опять-таки, чуть не сбив с ног, – вы представьте —

– профессор не бросился, – нет; но пошел ровным шагом, прижавши свой зонтик к подмышке и свой котелок сбив на лоб, – доборматывать что-то свое, не вникая в опасности, можно сказать, зависанья над бездною тела: под острым углом в сорок градусов.

Анна же Павловна, свесясь в обрыв головою и слюни, блиставшие солнцем, пустив, Задопятава встретила – взглядом и мыком без слов:

– Бы!

Гипербола, символ!

.....

Профессор Коробкин не верил, что может гипербола асимптотой стать; он не выразил страха за судьбы висящего там над рекою «бабца» (между нами сказать, – он «бабца» не любил); даже он не спросил:

– Анна Павловна, – как вы?

– Ну, что?

В этом случае выказал недопустимую вовсе рассеянность: черствость; он был добряшом; но на всякую сентиментальность – пофыркивал; он не любил прославления покойников, – всяких гипербол, ну там, украшающих их; он живых

– поминал; а покойников – нет; как начнут перед ним:

– Ах, какой был покойник.

Он – в фырк:

– Был пропойцей, в корне взять!

И умолкали, потупившись.

.....

Так и в сем случае: сел на карачки пред кочкой и зонтиком кочку разрыл: стала кочка – живой; муравьями покрылась она.

Вертопрашило.

– Папочка, – где вы?

Вскочил он с надвёртом на Наденькин голос.

– Пора!

Нос же – взáигры:

– Это девчурка моя!

– Чай простыл.

Приближалась: такой акварелькой.

Простился с Никитой Васильевичем; мохнорылым лицом в Анну Павловну ткнулся:

– Да-с – Анна Павловна, – там как-нибудь уже!

– Ну, – посмотрел на часы, – я пошел.

Весь задетился: Наде.

12

Бежал с ней в полях, разволнованный ходами мыслей, ко-

торые он излагал Задоптятову; сам для себя говорил: Задоптятов, пространства, глухая стена, – все равно:

– Да, сидишь ты, обложенный ватой, – в коробке: работаешь. Наденька слушала, глазки сощурия.

– А, – нате.

Присел он:

– Оглоблею...

Руки развел:

– ...долбануло меня.

Глазки – малые, карие – в муху уставились.

– С этой поры...

К мухе – носом:

– ...и шумы в ушах.

– Бедный папочка!

– Ти-тити-ти, – подкарабкался к мухе.

И – цап!

Он восьмерку мгновенную вычертил носом.

– И всякие дряни.

Изгорбышем сделался перед дрожавшими пальцами, рвавшими голову пойманной мухе; под мышкою – зонт, котелок – на затылке.

– Сумбур, – говоря рационально! – рванул котелок; из подмышки свой выхватил зонт.

Припустился бежать.

За ним – Надя: в глазах у нее отражались испуги за папочку:

– Вы – заработались.

– Да-с: долбануло.

Мотнулся.

– И – случай с бабцом, как оглобля... И – Митенька.

Руки и ноги развел; зонт – под мышку.

– Подумали – в вате; а вату и вынули.

– Бедненький, милый!

– Коробки шатают!

– Какие коробки?

– Шатаешься, точно кубарик.

Рукой изотчаялся и окровавленным глазом застарчил он:

– Бьет тебя жизнь!

Обласкала корявого папочку:

– Полноте!

Хмарило: жар – разморной; солнце – с подтуском; дымчато-голубоватые прѳсизы – взвесились: в воздух.

– Все – сломано: соединение двух проводов электрических, искра; и – взрыв, в корне взять: контакт сил первозданных и творческой мысли.

– Да-с, – да-с!

– Аппараты сознания ломаются!

Бросил он взгляд на себя:

– Да и – мой!

На нее:

– Да и – твой.

И – пошел; раскачавшейся левой рукой строил ей часто-

колы из мнений; собака, навстречу бежавшая, – в сторону.

– Вы, – осторожнее.

– Ась?

– Да – собака: кусается, может быть.

Бегал в окрестности черноволосый, сбесившийся пес.

Споткнулся о кочку:

– Какие же мы, говоря рационально, – жрецы?

И свистун, полевой куличок, подавал тихий голос отку-
да-то издали.

– Мы – не жрецы, коль от первого, в корне взять, встреч-
ного наша зависит судьба... Коли он, говоря рационально,
просунулся бакой похабной к тебе с предложением гнусных
услуг...

Горизонты стояли изруганы громом.

Под черепною коробкой сознание распалось: мирами,
да, – что-то творилось с ним, потому что он вдруг повернул-
ся; и – тыкнулся носом за спину себе: показалось, – к нему
приближается кто-то, как третьего дня: как... всегда.

– Чушь!

Но – третьего дня волочился за ним по дороге, с полей, к
гуще сада, гиеною тихую – «кто-то»; и все оказалось собакой;
ее едва выгнали.

Он привыкал к появлениям «кого-то», который... держал-
ся... вдали; привыкал за жилетик хвататься, в который за-
шил он открытие; стало казаться: стоянье «кого-то» – за-
кон его жизни; «закон» начинался с удара оглоблей; но он

– продолжался: ужаснейшим шумом в ушах; и – мерцанием под веками, сопровождавшим сомненья в вопросе о смысле науки; сомнений подобных еще он не знал; как театр посетил, взяв билет на «Конька-Горбунка», уж профессором (приват-доцентом в театр не ходил), так вопрос роковой для него (есть ли смысл в математике) встал в конпе жизни, когда математика – вся – заострилася в нем, потому что в Москве, в Петербурге, в Стокгольме, в Токио и в Праге считали: что скажет Коробкин, – закон.

Он, закон полагая, законом поставил себя: вне закона.

И, выйдя из сферы законов в законе открытий законов («таких, или эдаких», – явно законных в приеме, приемов же – сто миллионов: «таких, или эдаких»), – выйдя из сферы законов, за фикцию форм, – испугался открытия: ясность закона есть случай, ничтожнейший, – в общей системе неясностей; так и «Коробкин» лишь часть сферы «Каппы», планеточка «Каппы», разорванной протуберанцами: всякая форма сгорает в бесформенном.

В «Каппе» сгорает «Коробкин»!

Ивана Иваныча, брошенного всею массою мысли, протекшей расплавами в «Каппу»-звезду, охватило обстояние гипотетической жизни под формою «призра-ка», – проступью контура: в дальнем тумане; а вечером – в окнах; к окну пойдешь – никого.

– Не пойти ли к врачу?

– Дело ясное!

С этой поры, перепрятав листочки с открытием, их он зашил: на себе.

.....

Палисадничек дачи.

Здесь встав, приподнятием стекол очковых устался.
в гипотетический, в гиперболический космос.

– Вы что это, папочка?

Руку погладила.

– Так себе.

Тотчас прибавил, – неискренним голосом:

– Гм...

– Что?

– Друг мой...

– Не видишь ли?

– Ну?

– Там – мужчина...

– Где?

– Там...

– Это ж – пень.

А глыбливая синяя туча, взметнув верхостаи под небо, бежала сама под собой завитком белым, быстрым и нервным; под нею же, – почвы свинцовая сушь с забелевшей дорогою, сбоку – пенек серо-бледный:

– Не пень, потому что...

Вдруг – вспых: взрез высокой, извилистой молнии; вздох листьев; и после уже – гром глухой.

– Как не пень?

– Да не пень, потому что...

Пень – двинулся: гиперболический мир приближался.

13

Урод шел на них.

Надя вскрикнула:

– Видела.

Видела это лицо – в лопухах: там оно дрезготало невнятицу о шелкопрядах и «яшках»; но там оно было без тела; теперь это тело приблизилось диким горбом: перетóрчем в том месте, где зад: вместо зада – Гауризанкары; а тело сломалось углом: грудь к ногам; а живот – провисал; ноги – дугами; уши же – врозь: хрящеватые, нетопыринные; вся голова – треугольник – глядела профессору в низ живота, означаясь всосами щек под желтевшими скулами; узкий шпенечек бородки, казалось, цеплялся за травы.

А с пояса вместо часов на тесемочке лязгали ножницы.

Он – подошел: снял картуз (верх лба – белый; под ним загорелый); и стал дроботать, как лучина под щиплющим ножиком:

– Вы, я позволю заметить, – Коробкиным будете?

И подскочила под небо ужасная задница: оцепеневший профессор молчал; вспых: и – взрезы высокой, извилистой молнии.

– Я-с!

И – молчанье; вздох листьев.

– А я...

Гром глухой.

– Ну-с?

– Портной, – Вишняков.

Покосился он щуплым лицом; и рот, собранный малым колечком, до уха разъехался – вбок; и профессор подумал:

– Какой криворотый!

Стоял независимо: руки в карманы:

– До вас – дело есть.

Глаз добрейше скосился на Надю:

– А мы – отойдем: неудобно при барышне.

Вздернув с достоинством нос, отошел; и за ним – подпрыг-
зада; вполне был уверен: профессор – последует.

Он – и последовал.

Стали при кустиках; у Вишнякова, как мышечка, выпорк-
нул носик:

– Так что...

Он достал табаковку свою:

– Кавалькаса не знаете?

И табаковкой профессору – под нос:

– Чихнемте?

– Не нюхаю.

– Это – неважно.

– Но что вам угодно?

Уродец приятно глазами вглубился в глаза:

– Я, как вы замечаете, верно, – с горбом: занимаюсь спасением жизни своей.

– Так-с... И – что ж?

– Да и всякой.

Профессор подумал:

– Визгун добродушный, – но что ему нужно?

Визгун же, поставивши палец, рукой из жилета достал письмо; и разделявал в воздухе чтеческим голосом:

– Тут вот – письмо.

– Дело ясное.

– Предназначается.

Руку рукою отвел: от письма.

– Погодите...

Понюхал, счихнул:

– Изъясняется в этом письме неизвестного вами лица, что иметь осторожность насчет деловых документов – нелишне, особенно, если в наличности случай такой, когда глаз, – пальцем ткнул, склоня ухо: – дурной, – на них смотрит: со всяческим злобственным умыслом, цели имея...

Подождал он:

– Теперь – получайте.

И сунул письмо он, картуз приподняв:

– Честь имею откланяться.

Перевернулся и стал удаляться по белой дороге он; гипотетическим миром стал снова, исчезнув; завеса – летела; пах-

нуло в лицо листовяным пересвистом; окрестности заблекотали, согнулись, рванулись, листьями и ветками через дорогу подбросились, завертопрашились и завихорились.

.....

В кратком письме неизвестным лицом было сказано, чтобы профессор немедленно принял все меры к охране бумаг, что какая-то личность (какая, – не сказано было) имеет намеренье выкрасть их; так подтверждались его опасенья; он – принял меры: листочки зашил.

.....

Застучали нечастые капли: валили тьмо-синие тучи в тьмо-синюю ночь; кто-то издали вышел из леса и стал у опушки, не смея приблизиться: странным лицом, синева-тым; держал на видках; и – бесследно исчез.

В одном месте замоклого поля вставало бледняво пятно световое: присела Москва – растарашею.

14

На парапете Лизаша склонялась головкой к биению сердца и к собственным думам, просовывая из-за жерди железной над лепленным, серым аканфом носочек; внизу – людодоходы; вон – дамочка в кофточке цвета герани: прошла в запылевшие пережелтины какие-то.

Вспомнила, что Вулеву уезжает; и... – где у дверей расставлялись диваны, увешанные парчовыми, павлиньими тка-

нями, где с потолка повисает лампада сияющим камнем, вчера она слушала, спрятавшись в тени и видя себя самое там из зеркала (бледною и узкогрудой дурнушкою); ухом и глазом просунулась в дверь; чернокрылая тень из угла опускалась над нею; стояла за дверью с опухшей щекой Вулеву; и просилась из дому уехать на две с половиной недели; заметила, что на одно лишь мгновенье у «богушки» вспыхнула радость в глазах:

– В самом деле?

Он тотчас осилил себя, настораживаясь и лицо свое скорчив в печаль:

– Очень жаль, что Лизаша одна остается...

Скажите, пожалуйста: детолюбивым отцом себя вел; Вулеву же с подчёрком сказала:

– Я думаю, что я Лизаше – не пара.

Он взглядом, как пьявкой, вцепился в нее:

– Вы так думаете? Кто же пара?

– Да вы, – например.

И поджала изблеклые губы, а он абрикосово-розовым стал от каких-то волнений; пытался вбоднуть свою мысль:

– Эта девочка, – просто какой-то бирюзник...

Ему Вулеву не ответила: быстро простясь; а Лизаша при-низилась за чернокрылою шторой; была она поймана.

– Вы?

– Я!..

– За шторой? Зачем?

Но Лизаша лишь взгубилась:

– Ах, да почему знаю я, – проиграла она изузорами широкобрового лобика (видела в зеркале это), она здесь осталась; а он забродил за стеной, как в мрачнейшей чаше, – таким сребророгим, насупленным туром. Здесь шкура пласталась малайского тигра с оскаленной пусто главою, глядевшей вставным стеклом глаза; от времени – выцвела; и из рыжеющей желтою стала она; бамбуки занавесили двери, ведущие в спальню; здесь странный охватывал мир; здесь и статуя в рост человеческий негра из черного дерева кошку проскалом пугала; Лизаша, бывало, садилась на пуфе пред негром, себя вопрошая, откуда просунулся он к ним в квартиру; порой приходила к ней шалая мысль: уже близится время, когда негр, сорвавшись с подставки, по комнатам бросится; будет копьём потрясать и гоняться за кем-то из них.

Свои бровки сомкнувши и губку свою закусив, исступленно нацелилась глазками в пунтик, невидимо взвешенный и обрастающий мыслью; так пухнет лавина, свергаясь вниз; но меж улицею, под ногами кипевшей, и ею, – ничто не свергалось; придухою жег парапет; видно, где-то росли одуванчики: в воздухе пухи летали; и – тот же напротив карниз, поднимаемый рядом гирляндиных ваз с перехватами; поле стены – розоватое; вазы с гирляндами – белые; перегорела за крышами яркая красная гарь.

Зеленожелезились в гарь раскаленные крыши.

Лизаша вернулась в комнаты.

Вдруг – шелестение сухенькое: Эдуард Эдуардович выставил голову из тростников, забасив в полусумерки:

– Где ты?

Присела в тених чернокрылых.

– Лизаша!

Он крался в тених, рысьи взоры метая – направо, налево:

– Ау!

С дерготою в бровях, с дерготою худого, покатога плечика, встала из тени, и, вздернувши бровку, ждала, что ей скажут:

– Вам что?

– Вулеву уезжает в провинцию... – аллегорически бровь свою вздернул.

– Так что же?

Казалось, что взглядом ее разъедал; и упрямо, и зло дочернил свою мысль:

– Мы останемся эти недели, – в нее пыхнул жаром ноздри он, – вдвоем.

Друг на друга они посмотрели, – вплотную, вгустую; ни слова друг другу они не прибавили; и – разошлись.

Вдруг —

– изящно раскинувши руку по воздуху, взявшись другой за конец бакенбарды, – галопом, галопом – промчался перед ней с легким мыком: в пустой аванзал.

От веселости этой ее передернуло: бредом казалася ей галопада такая. Куда галопировал он?

Далеко, далеко, —

– потому что —

– за комнатой – комната:

за руку схватит; и так вот, как он галопировал, загалопирует с нею вдвоем сквозь века, через тысячи комнат; доскачут до щели откуда он выскочил, как Минотавр, – с диким мыком: бодаться своей бакенбардою – с козочкой, с нею.

Стояло в окне чернотуманье ночи: оно разрывалось лиловою молнией.

.....

Ночью со свечкой Василий Дергушин прошествовал в лилово-черные комнаты; следом за ним Эдуард Эдуардович крался в тенях, рысьи взоры бросая: брать ванну; они проходили по залу; едва выступал барельеф; бородатые старцы, направо, налево, – шесть справа, шесть слева – друг с другом равнялись: в ночь между ними.

Василий Дергушин подал ему банный халат.

Обнажилась белая и волосатая плоть, или «пло» (безо всякого «ть»); без одежд был – не плотью, не «пло» даже: был только «л о»; а намылившись, стал – лой-ой-ло!

Он и брызгал, и фыркался с мрачной веселостью, припоминая веселый галоп перед нею; и потянулся за одеколонною склянкой.

Василий Дергушин с пуховкой в руках, проходя и с собою размахиваясь, мазал словами и эдак, и так его: случай!

Вчера позвонила прислуга с соседней квартиры:

– У вас что такое?

– А что?

– Все здоровы?

– Здоровы...

Она посмотрела с таким подозрительным видом, как будто не верила.

– Правда ли?

– Да говорите же...

Мрачно под ноги себе она ткнула:

– А это вот – что?

Под ногами у двери алело кровавое пятнышко.

– Господи!

Лужица крови.

Дергушин пошел к Вулеву: собирались под дверь: прислуга соседней квартиры, прислуга квартиры Мандро; говорили – совсем незадолго мальчонка чернявого видели: сел на приступочку тут; дребезжала мадам Вулеву:

– Расходились бы: ну что ж такого?

– Да – кровь!..

– Этот самый мальчонок!

– Не нашинский!

– Он окровавил!..

– Он, он!..

Вулеву – к фон Мандро; а Мандро лишь присвистнул – с большим небреженьем:

– Охота вам так волноваться: ну – лужица; что ж? У кого-нибудь кровь пошла носом.

Вот случай!

Его вспоминая, Василий Дергушин разахался: мазал словами и эдак, и так фон Мандро.

Позвонили: расклабясь зубами, просунулся в двери Мандро с задымившей «маниллой» в зубах, в гладком летнем пальто и в цилиндре, в визитке (визитка в обтяг); раздеваясь, перчатку он стягивал, руку поставивши под подбородок; казалось, что бакенбарды наваксены; пряди же, – да: сребророгий!

Протопал в глубь комнат; он видел и слышал – на фоне зеленых обоев замыкала черная кошечка: там, перед столиком в стиле барокко; как бы собирался книксен ей сделать, фестоны свои приподнял.

И Мандро – стало тошно; и губы его задрожали; он вспомнил, какую пощечину на заседании он получил; выясняли – Иван Преполáдзе, Дегурри, Пустаки, Луи Дюпердри, – что дела он им вел кое-как; что гарантии – перефальшивлены; что заявленья прислали об этом им пайщики: Арбов, Бронхátко, Взлезеев, Вещелинский, Грубах, Долбяго, Де-

дэренский, Девятисалов, Есмысов, Зрыгелло, Извэчевкин, Истенко, Крб́хин, Ксысеева, Крущец-Погáнко, епископ Луфарий, Мтетейтель, Оляс, Носопáнова, Плюхин, Плохайло, Слудьянская, Трупершов, Топов, Тревэрхий, Удец, Удивительный, Чертис-Щебрéнева; тщетно доказывал пайщикам; письменно он посылал заверения: в вензелеватую подпись не верили; администрацию-де собирались они учредить; выясняли – Иван Преполáдзе, Дегурри, Пустаки, Луи Дюпердри́, что он вводит в растрату «Компанию», что он – германствует, да! (франкофильствовать стал Кавалевер); ну, словом, – гниющее что-то.

Могли ли понять, что он вел аванпостную службу свою большой марки и что проходил абсолютную поступью он через все.

Оставалось одно: уходить!

Тут схватил со стола и разбил, бросив в пол, статуэтку: со зла!

И прошел в кабинет, и уставился в ноги: у ног распластался оскаленный белый медведь золотистой желчью оглаженной морды.

.....

И вот побежал топоток – кто-то быстрой походочкой дергал по комнатам: В́кторчик!

В́кторчик всем говорил (передали уже):

– Да, – она занимает вакантное место жены!

Словом, – В́кторчик влазень в их дом.

Вот уж он появился: опять на устах сахарец, а в глазах – сатанец; он стоял, разминая набитый портфель.

– Ну, что?

– Апелляторы сердятся...

– И?

– Ай, ай, ай: все кредит: дебет – ноль!

– Да ведь мой поручитель!..

– Исчез из Москвы...

Эдуард Эдуардович так и вперился; и Вѣкторчик взгляда не выдержал:

– Всякие слухи, – до глупых, глупейших: мадам Миндалянская жаловалась, что вы в смокинге в ложу вошли, а не принято в смокинге.

И – закосил со смиренством:

– Да где и м понять вас!

Тогда Эдуард Эдуардыч, ладони поднявши к лицу, ему стал аплодировать с деланным хохотом, – звонким, густым, сахаристым, рассыпчатым, злым, понимая, что сеятель морков – Вѣкторчик; он вызывающе бросил пословицей:

– Лстец под словами, – змея под цветами!

Да, Вѣкторчик этот: держался валетом, а – предал; два года при нем он вертлявил; в час – бросил; в два – предал; в три – выступил уж обвинителем; что-то доказывал всем им – в четыре; а в пять – стал лицом очень нужным Луи Дюпердри; через сутки же так вклеветался, что сделался спецом в умении – разоблачать и науськивать; вдруг загазетничал (что-то

газеты плели про шантаж-шпионаж); но о чем ни болталось? Время-то вапом вопило; уже нарастал вал событий; встал гребень завивистый.

Викторчик – гадина!

Киерко прав был, что гадины ели друг друга; в начале двадцатого века история разэпопеилась: стала она Арахнёй.

Арахны, не люди, – пошли!

.....

И тогда Эдуард Эдуардович взял со стола сердоликовую вырезную печать; и печать приложил к документу, с которым и выскочил Викторчик: в нем подтверждался уход из «Мандро и К^о»; «К^о» – оставалась, чтобы завтра же оповестить чрез газеты: «Луи Дюпердри и К^о».

Стерся – «Мандро», чтобы стать где-то «Д о́ р ма-ном», «Ордманом», или ж Дромáном, Мродáном: французом иль немцем.

.....

Он встал и пошел дефиляями комнат с нарочною приплясью, «джóк о м», куражась с собою самим и куражась пред скромным лакеем, которому дал порученье (ненужное): слышать покорное:

– Слушаюсь!

В «слушаюсь» слышал:

– Не слушаюсь!

Стали свободничать в доме его, как сейчас, например: что за гамканье там. Громкий гавк Вулеву. Он подумал: дворец-

кий дородливый, домостроитель и домоблюстител, поняв, что все рушилось, – место подыскивал; ждал только случая, чтобы расчет предъявить.

А – прекрасные вещи: резная чеканка, «вальян» очень ценный; бывало вот, – Амфитрионом встречал здесь гостей, а теперь (знал прекрасно) Василий Дергушин, размахавшись, мазал словами и эдак, и так его.

Сел в свое кресло, прислушался, как дребезжала вдали Вулеву, и как ей отвечала свирелкой Лизаша; ему захотелось – сгинуть, исчезнуть, не быть; кабинет раздавался обоями гладкого, синего тона; на нем пламень красных сафьянов, ярчел; из сафьяна повис Эдуард Эдуардыч; в руках обнаружилось гиблое что-то; сидел, весь охваченный красной гееной огня; вот – сгорит: на сафьяне останется кучечка пепла.

16

Этот вверт в ее жизнь; эта вгнетка в нее; ей казалось, что дней доцветенье приходит.

Прислушалась: прогомонели лакеи; там – взрыв возмущения: за гардеробной; и в комнату смежную кралась она, – в чернолапую мебель, к ковру желто-черному: в желтеньком платье, кутая плечики в черное кружево шали, – присесть под подсвечник; стемнялась стена желто-сизая в тень; чернокожие думы сюда приходили, как рой негритосов: показывать зубы.

Присела в тених – свою ножку на ножку, свои локоточки – к коленке; лицом – в кулачки; превнимательно слушала, что говорили лакеи, – с улыбкой страдания: дергалась плечиком.

– Барина барышня!

Вновь стала вздрагивать; вспыхом сбагрилось пятно на скуле; не услышала, как про нее судомойка сказала:

– Спаси, Девоматерь, ее!

Все про «это»: ведь – поняли.

Очень степенно Василий Дергушин прошел – пошептаться с мадам Вулеву, расставлявшей капканы да верши; глаза у Дергушина стали гвоздистыми; ими кололся, когда обновил; и казалось, что он говорил:

– Происходит-то, – бог знает что!

И теперь ей заметил он:

– Что это, барышня, вы?

Головой прокачал; и – прошел.

Ей с ним было конфузно, вполне неестественно; точно следил он за нею; и странной жеманной с ним делалась; подозревала: ловить собирались «е г о»; Вулеву верховодила, там затаясь и вечером в волосы вкручивая папильотки; за шторами пряталась; «о н» перед ней, Вулеву, ходил с дбвертом, – очаровательный, серебророгий и лживый; и взглядом, как пьявкой, вцеплялся, почуяв капканы: не «богушка»: чертище!

Тут засмеялась она в черноваки ночные, которые множились, – громче, все громче, все громче, – пока из растерян-

ных глазок не брызнули слезки: он салом обмазал ее.

Так случилось с Лизашей.

Лизаша играла в «русалочки» (много «русалочек» ею кормились); одна из русалочек этих «сестрица Але-нушка», месяцем ясным катилась в «богушке»; неба же, «богушки», – не оказалось, а оказалась одна чернота; черноты даже не было в этом отсутствии всяких присутствий; и «богушка», «небо» – провал, как провал в месте носа: дыра носовая! В мгновение ока весь «богушка» просто разъялся: в дырищу. Ужасно отмечивать сгнитие носа в любимом: считала она своим небом – дыру носовую. Быть может, как зубы поддельные, носит поддельный он нос.

Ее «богушка» – дымка в глазах.

– Надо, надо...

– Что надо?

– Глаза протереть!

В ту минуту, когда поняла, появилось одно обстоятельство; «все» – началось со сна: увидала во сне черномазого мальчика; он улыбнулся ей хмуро и криво; его синеватые пальчики, точно без крови, ей подали ножик; кровь капала с кончика:

– Этим ножом он меня!..

– Кто?

Но мальчик сказал:

– Этим самым ножом ты его!

Стало ясно.

Была угловая, малайская комната; в ней стоял столик: не столик – парчовня; на столике ножик лежал с филигранною ручкою; вот что припомнив, сидела с открывшимся ротиком, ярко мерцая глазами; бежала разглядывать блеск ясной стали; к глазам поднесла, задрожала, отбросила ножик, упала на тигра.

Рыдала на тигре.

Потом перестала рыдать: ведь извечно убиты, мы, мертвые; мысль об убийстве разыгрывалась обострением всех наблюдений над «ним»; с изостренным вниманьем впивалась в мир, заповеданный прежде; и в каждом движении этого мира увидела мерзости; оторопь оледенила желание мести; «убить» – можно после, потом, в миг последний, когда невтерпёж станет ей от «дыры носовой», к ней склоненной; пока же – в дыру заглядеться; и все – досмотреть; и – досодрогаться!

Светило, сиявшее в ней, оказалось лишь мигом разрыва огромнейшей адской машины.

Пора!

Уж, наверное там, с парапета, – босыми ногами неслышно прошел негритос – притаиться в малайскую комнату; шел вслед за ним – другой, третий: сплошную толпою, наверное, там негритосы валили; и – стали: смеяться в сплошной черновак; куда громче – все громче – смеялась с собою она, пока... слезки не брызнули: салом обмазал ее!

Ножик – вот!

Прикоснулася пальчиком; чуть-чуть порезалась; вытянув шейку и вытянув ручку, стрельнула в пространство стальным острием: убивают вот так! И потом только агницей вышла из тени; прижав к желтой юбочке ручку и в складочках черного кружева спрятавши ножик, пошла; ночь за нею в открытые двери валила толпой негритосов, – валила в малайскую комнату, красные губы раздвинув и белые зубы показывая.

Впереди шла, мяукая, черная кошечка.

17

Комната ли?

Настоящий павлятник!

Пестрятина перьев, пестрятина тканей; не стол, а – парчовник: явайское что-то; бамбук – не гардины – скрывал вырез окон; и дверь в его спальню завесил тростник; в тростниках «он», как тигр – залегал.

.....

Залегал на кушетке; раскрыв переплет синекожий, прочел он «Цветы Ассирийские. Драма «Земля». Из Валерия Брюсова знал наизусть:

Приподняв воротник у пальто,
И надвинув картуз на глаза, —
Я бегу в неживые леса;
И не гонится сзади – никто.

У Валерия Брюсова часто «гонялись» в стихах; и Мандро это нравилось; очень любил «Землю» Брюсова; там рисовалось прекрасно, как орден душителеев постановляет гоняться по комнатам: петлю на шею накидывать; нынче пытался читать: не читалось; прочел лишь какое-то имя:

– «Тлаватль»!

Книгу бросил; и, в углы камина вперившись, задумался: да, он любил перелистывать книги с рисунками, изображающими мексиканские древности; долго разглядывал он мексиканский орнамент: любил сочиненья, трактующие про культуру жрецов; про убийства и пытки; он повесть о «Майях» Бальмонта читал; и поэтому голову он засорял сочетаньями звуков имен мексиканских:

– Катапецуппль, Титекалеиллупль.

И – так далее, далее: – «Я» – усыплялося.

«Я», вообще говоря, представлялось дырою ему, заплетенной сияющей паутиною светского блеска, уменьем одеться, уменьем расслабиться; при приближеньи к «дыре» можно было увидеть весьма интересное зрелище: быстро выскакивал черный тарантул; и – схватывал «муху», спасаясь обратно в дыру; такой мухой Лизаша была: такой мухою был и профессор Коробкин с открытием; что тут прикажете делать.

Ее заварызгал своей атмосферой.

Припомнились эти последние дни, как он пробовал с нею жесточить: держаться салонным фасоном; как с видом таким

проходил, англизируя позы свои, точно он предлагал ей аферу, блесняя нагофренной бакой, блазня ее взорами; с ней на софе все пытался раскинуться, позы варьируя; и – шли жары от него: он геенной своей обдавал; или, делая вид, что – в вассальной зависимости, щупал взором ее: азиат! Даже, даже, – пытался дурить; и игривой «аукою» несся за нею: «ау» да «ау»!

Передернулась: вид дуралеев еще отвратительней в нем, чем тиранов: дикарское что-то.

Недавно в прощелок смотрела она: его белые зубы – не зубы; он их вынимал перед сном, можно прямо сказать: рот снимал; и все то, что от рта оставалось, – было зияющей пагилью.

«Богушка» – кончился: с мига, когда неизвестный нахал оборвал его в тот незапамятный вечер в «С вобод-ной Эстетике», громко назвавши «Мандрашкой» и вспомнив про «Киверцы»; Киверцы – что же такое? Там бегал «Мандрашкой». Значит: все лгал; значит «в с е» – очень просто; открылось значение взглядов, улыбок и поз; уж не «богушка», а – «фон Мандро», начиненный «мандрашиной»: гадостью всякой; слинял его лик; не дурманым казался – дуркманым, дураным; вгоняли друг друга в угар, – очень разный; вгоняла его в угар похоти; он же ее – в угар злости; она с любопытством разглядывать стала все то, что доселе таилось пред нею под – «папочкой», «богушкой».

Прятался просто «мужчина».

«Мужчина» – не нравился.

Вспомнила все обстоятельства, как он вглодался в нее, изглодав ее душу, и как начиналось ввергание в пропасть ее – оттого, что хотела тащить его к солнцу; он – нес, точно кот, ее – мышшь – в невыдирные чащи свои; и душа изошла сине-едом; «ед» – он, фон Мандро.

Почему?

Просто – синяя он борода; семь немеющих горестных жен, – семь убитых им женщин: восьмая – была... его... дочерью.

Произошло нечто вроде того, что бывает, когда мы глядим на кусок зачерневшего неба, каймящего месяц; ведь кажется: чернь эта – что-то; ну, – облако.

Чернь – «ничего».

Так мгновенный разрыв небосвода, как свода «чего-то», в «ничто», разрывает в сознании – сознание со всем представленьем о «Я», об истории; тут посещает узвание: смерть есть не то, что придет; смерть есть то, что извечно объемлет при жизни; сознание жизни, катящейся в смерти, – безумие; жизнь выявляется анахронизмом, а самое «Я», как плева атмосферы, здесь рвется в ничто.

Торфендорф и агенты германского штаба, – какой это вздор: паутиночки. И не Картойфель, которому он сообщил много ценного о снаряжениях армии русской, не деятельность «К⁰»; странно сказать: шпионаж и шантаж, о которых писали уж в «Утре России», – предлог благовидный, чтоб

скрыть свою суть; и тот факт, что со дня на день может он быть опозорен предательством Викторчика, так что носом столкнется с полицией, – вздор; все они не узнают об «этой» последней, секретнейшей миссии, Доннером данной.

Когда посещал импульс Доннера, зов он испытывал сладкий, подобный дилиньканью колоколов монреальских капелл (Монреаль – такой город в Сицилии есть): из единого центра прокалывался двумя стрелами молний; тот яркий проторч (в сердце, в голову) перерождал его (сердце и голову); чувственность перерождалась в черствость; так черствая страстность, в годах нагнетаяся, переходила в мучительную, беспредметную ярость, слагавшую образы бестиализма.

Так, странно сказать, импульс Доннера действовал, в годах съедая: снедаемым был неизвестной железною силою, душу его разложившей; душа провалилась, как нос Кавалькаса; оттуда, из мрачной дыры, вырывался холодный порыв, развивающий вихри поступков, лишь с виду логичных.

Позвольте же: «Доннер», – кто это?

Потом.

Соболь мощных бровей, грива иссиня-черных волос с двумя вычерченными серебристыми прядями, точно с рогами, лежащими справа и слева искусным прочесом над лбом, соболиные баки с атласно-вбеленным пятном подбородка, – все дрогнуло: съехались брови углами не вниз, а наверх, содвигаясь над носом в мимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх; между ними слились три

морщинки, как некий трезубец, поднятый и режущий лоб; здесь немое страдание выступило.

Точно пением «Miserére» звучал этот лоб.

18

Предволнением ходила душа у Лизаши, – вздымалась во что ж: в угомон, иль в разгон?

За стеной раздавалось:

– Гар-гар!

Гаргарисмою он занимался: свое ополаскивал горло солями; в те дни он охрип: говорил с горловым, хриплым присвистом, точно змея; вообще ей казался летающим млекопитающим с острова Явы: вампиром; она передернулась узкими плечиками, нервно в воздух подбросив одну финтифлюшечку; и на тростник, закрывающий дверь, поглазела растерянной азинькой, слыша отчетливый глот: он слюну там глотал в полусумерках; глот – приближался.

Тростник разлетелся.

Затянутый в черную пару, со стройностью, точно зажавшей в корсет что-то очень гнилое, он к ней подошел сребророгим, насупленным туром, отчетливо строясь на фоне сплошной тростниковой завесы (коричнево-красные пятна, коричнево-черные пятна по желтому полю):

– А, – вы?

Тут ей пагубно стало.

– Я ждал вас сюда!

И она, подбодрившись, такой ангеликою (чуть-чуть нарочитой) стояла пред ним, спрятав ножик за спину, скосясь; но скос глаз ничего не сказал.

– Понимаете?

– Что?

– Продолжать так нельзя же!

Молчала.

– Пора объясниться нам!

Вокализация голоса переменилась; вздыхая, он вскрипнул: жаровней пахнуло (весьма неприятно). Молчала.

– Вы знаете, что Вулеву – нет?

Зачем это «вы»?

– Мы – одни.

Понимала: опять захотелось ему пококетничать с ней; резануло под сердцем колючею, дикою злобой; головку прижала к стене; и на скрещенных, ярких, златисто-лазурных павлиньих хвостах прочертилась своей чернокудрой головкой; а ручки держали за спинкою ножик.

– Лизаша, – молчал я, но ты, – оборвал он, увидя, как выблиском глаз заактерила.

– Ты все чуждаешься: ты, как отцу, перестала мне верить.

– Ха-ха!

Пародировал «папочку»: слишком веселенький папочка!

– Ха-ха-ха!

Не задурочиться ль впуски?

Страшные запуски!

– Стало быть, врите и тут... Хотя бы в руки-то взяли себя. – процедила с кривою морщинкой у ротика.

– «Богушка», – тоже!

И – вертни оставила; и – побледнела она: перед этим мерзавцем – легко ли припомнить звук слова святыни погибшей?

Приблизился к ней с гадковатой, прогорклой улыбкой и руки потер.

– Вы – чудовище!

– Ты-то – не ангел, отродье мое; миф об ангелах бросила б; мы – «арахниды».

И вдруг – легкий звук: точно в воздух разбилась эолова арфа: то – ножик, упавши из рук, дребезжал и поблескивал.

– Что это?

– Ножик.

– Откуда?

Она – пронежнела глазами; но взгляд относился – к ножу.

– Да вы сами, – врала, – тут оставили!

– Я?

И – друг в друга вперились глазами.

– Я – нет.

Видел он, как глазенок стал – глаз; глаз – глазище, жестокий и злой.

Но, себя пересилив, ему ухмыльнулась «т о н о м»:

– Ах, – вы!

И не тон, а – усмешка цинизма: когда вместо неба – разъед плотиной, вместо носа – гниющая щель, что ж иное? Он думал – «иное»; тогда с павианьим прыжком неожиданно он оказался вплотную, насильно ее усадил на диван; рядом с ней развалился и к ней протянулся, обмазанный салом, – алкательно, слюни глотая.

– Нет, нет, вы не смеете!

Расхохоталась – все громче, все громче!

Откинулась и, поднося папироску к губам, затянулась, закрыв с наслаждением глазки; она наслаждалась не им, а картиной законченной мерзи: весь – мерзь; ни сучка, ни задоринки. Ни одного диссонанса. Ни проблеска честности. Видно, его атмосфера – не воздух, вода, иль огонь: паутина; дышал паутиною; в жилах – не кровь: паутина тянулась осклизлая; весь – пауковный, бескровный; проколется, – смягнет, смалееет, смельчится; лишь тлятка покапает – «к а п – к а п» – поганую страстностью.

Маленький, гаденький.

.....

Шли в отдаленьи шаги: подошли!

И тростник разорвался: дворецкий! С торжественным, с аллегорическим видом, подняв свои брови, с порога в пространство сказал:

– Кавалькас!

И под ним, как сквозь ноги, с торжественным, аллегорическим видом в тужурке коричнево-красной (оттенка свер-

нувшейся крови), порог преступая, стремительно выбежал – карлик: без носа!

Как пойманный ворик, весь вспыхнул, с лицом абрикосово-розовым, взором метаясь, вскочил Эдуард Эдуардович; длинные руки бросал он к порогу, стараясь карлику путь преградить; а дворецкий бесстрастно стоял, будто здесь совершался пред ним алхимический акт претворения мысли в уродца, вполне осязаемого.

Эдуард Эдуардович быстро взял в руки себя, запавлинясь, своей бакенбардою дмясь над дворецким, которому жестом руки дал приказ: провалиться сквозь землю; себе самому под диктовку сказал, пародируя позой иронию:

– Нет, ты позволь мне представить, Лизаша, тебе...

Жест руки:

– Кавалькас!

– Лизавета...

И – жест:

– ...Эдуардовна: дочь моя...

Карлик молчал и сопатил.

– Я – знаю, я – знаю, – возился Мандро, оступаясь простуженным голосом, руки себе потирая и позою всей декламируя:

– Э... Ничего... После я объясню: прекурьюзно, – не правда ли?

Карлик надул свисловатые щеки; и высипнул пискло: простуженным голосом:

– Очень жалею вас, барышня, я... При таких обстоятельствах встретились... Но – ничего не поделаешь... Бог вам послал...

Эдуард Эдуардович прочь от Лизаши оттаскивал молча уродца, который, лицо повернув на нее, докричал:

– Не отца, а – обманщика.

Пальцем коснувшись лба, Эдуард Эдуардович грустно вздохнул, дав понять, что имеет тут место лишь факт слабости: паралича прогрессивного.

– Этот обманщик... – старался тащимый уродец.

– Passons!⁴⁰

Эдуард Эдуардович с карликом бился в дверях:

– ...меня носа лишил!

За дверьми досипело в шагах топотающих:

– Бог – спас.

И шаги достучали.

.....

Лизаша упала на шкуру малайского тигра, прижавшись головкою, серой и мертвой, к оскалу немой головы, безотчетно вперяясь в ножки резной этажерки, собой представляющие цепь голов: встала в тень, прорастая главою, глава – из главы; и все – скалились; ей показалось, что негр деревянный из тени рвал рот в диком вое: шумело в ушах.

.....

⁴⁰ Оставим! (*фр.*)

Вдруг она померцала глазами: казалось, – в глазах соблеснулось созвездие; думалось: нет, – не заколешь того, кто, извечно убитый, извечно здесь рыскает, – в комнатах этих, – с безумцами, с черными; черные, фраки надев, нахлобучив цилиндры, гоняются здесь друг за другом, стараясь зубами вцепиться друг в друга, чтоб вместе с штаниною рвать друг из друга филе.

Мир – таков!

Пусть уж рыскает он, опозоренный, вместе с такими ж, как он, опозоренными, – в черном фраке, с цилиндром в руке; не убить его надо (убить его – дурочкой быть); надо всех их зараз уничтожить, чтоб камня на камне в Париже, в Берлине, в Бостоне, в Стокгольме, в Нью-Йорке, в Москве не осталось; бить одного – разбегутся другие.

Огромное дело в ней зрело.

Со шкуры малайского тигра, звезда глазами, вскочила; и вытянув шейку, и вытянув ручку, стальным острием проколола пространство она.

Убивают – вот так!

.....

Этой ночью Василий Дергушин в темнотах со свечкою шел; кто-то в черном цилиндре, во фраке с угла налетел на него, головою боднув, точно бык.

– Шу!

Пропал.

Лишь цилиндр покатился под ноги – мяукавшей, черною кошечкой; кошечка – «фырк»: на балкон; он – за ней: никого!

Но когда он со свечкой прошел в пустоту, тростники разлетелись: всклокоченный, голову вниз опустив, точно бык обезумевший, воздух боднув бакенбардою, выпрыгнул кто-то; осклабясь, понесся под дверь, где «она», подбородок прижавши к коленям, руками колени обняв, в своей долгой рубахе, похожей на саван, – за дверью задумалась: в дверь.

19

Эдуард Эдуардович часто задумывался над судьбою; да, жизнь его – криволинейный узор.

Его детство – Полесье; действительно, – отроком бегал он в Киверцах, где его Киерко видывал; уж спекулировал он; и по многим местечкам таскался вполне санкюлотом; щипал еле видный пробившийся усик; еще не умел перевязывать галстуха, но был какой-то весь томистый, чуткий и нервный, тончая лицом бледноватым, фарфоровым; был весьма набожен, чтил иезуитов, костел посещал; здесь и был он замечен какою-то крупной свиньей, его взявшей сперва для услуг незначительных; вскоре ж стал расточитель позорных услуг; и случилось, представьте же, – усыновление, после которого усыновивший его фон Мандро приказал долго жить.

Так он стал «фон Мандро», обладателем суммы, не малой в то время; весьма развивал поганизм, был поганцем: рели-

гии этой держался; и все ж – к католичеству чувствовал он уважение; он стал – вертепизником, черт знает как истаскался; сперва его жесты пугали его; их читал он, как знак иероглифа необычайной судьбы; но потом – к ним привык; сатанил по Европе: служил чьим-то импульсом и не просил сатисфакций, спеша проходить абсолютную поступью, гадя вполне бескорыстно.

Святою, возвышенной гадиной, верно, считал он себя; уважал иезуитов; и в веке двенадцатом был бы, наверное, он с крестоносцами; в веке шестнадцатом действовал бы заодно с инквизицией; в веке двадцатом, увы, спекулянт он стал; но – во всем изощрился; и – странные вкусы имел; так: он в Африке ел саранчу с сарацинским пшеном; утверждал, что жук майский, которого съел он однажды, похож на орешек (он в детстве еще на пари откусил у живой мыши голову); в Средней Италии, где проживал он два года, себя считал варщиком снадобий редких отравленной жизни; здесь он собирал сардониксы с прослойками (или – «глазком», иль – «кольцом»); и отсюда, потом уже, вывез в Москву очень много ценнейших предметов.

Для тех же, с которыми дружбу водил, был он пагубою, нападая на сеятелей справедливости, чтоб забодать, растоптать и тащить в невыдирные чащи; подсаживался к безбородым юнцам на бульваре; здесь, кстати сказать; черноглазого мальчика раз изнасиловал в Риме, зарезал; и «Сатаниилом» Мандро в его бытность в Джиргенте его называл иезуит Ла-

криманти; на это крутил бакенбарду:

– Мы все – сатанята!

Любил за десертом сарказмить пленительно над негодяями мира, взрезая гранат; и лечился от насморка сарсапарильным отваром.

В утонченнейший час своей жизни, признаться, однажды он попросту слямзил почтенную сумму; и так оказался в Германии, но с Лакриманти он связей не рвал: и па-пёж – уважал; здесь в берлинском паноптикуме поразил Кавалькас его чем-то; его он и выкупил, быстро приблизил к себе; Кавалькас стал его Лепорелло по части разврата; так длилось два года.

Однажды устроил трехдневный разврат с Кавалькасом; они издевались совместно над взятою женщиною; и издевались так, что фантазия Брегеля меркла; а кончилось дело – убийством замученной; с этого дня Кавалькас – заразился (а он заражен был и прежде); в ту ночь поседел двумя прядями: засеребрился рогами; тогда ж рассчитал Кавалькаса, уехал в Россию, женился, приданое взял; дочь родил.

А жена умерла как-то сразу.

Оставив Лизашу двухлетнюю на воспитанье мадам Вулеву, – укатил за границу, но чувствовал: силы сломились; себя ощутил он носителем странной душевной болезни, его начинавшей весьма удручать: он испытывал голод по муке (хотелось мучить ему); вместе с тем самым «голод» его не казался уже интересным: испробовал в мыслях – все, все; перешел

все пределы; об этом писал Лакриманти, который ему посоветовал волю отдать, развернув пред Мандро план огромнейших действий сообщества, лишь поминально себя называвшего «Братством Иисусовым».

Так вот и стал фон Мандро иезуитом; отчасти со скуки, отчасти, чтоб силы испробовать в «миссии»: «ими» вертеть; тут – был пойман; и сам превратился лишь в скромного агента, связанного вечным страхом пред тем, что «убийство» его обнаружат; отсюда уж послан в круги буржуазии был; завелись на «Бирже» дела, цель которых (последняя цель) ускользала; в ту ж пору ловчайшим аллюром он выпоркнул в круг лож масонских, себя называя антиклерикалом и втайне содействуя «братству»; в масонстве с такими ж, как он, повстречался; там тоже сидели «инкогнито», чтобы в положенный час самый орден взять в руки (заранее скажем: в масонских кругах того времени встретился он с Муссолини).

Мандро восхищала политика эта.

Тогда-то был послан он в Мюнхен, где жил доктор Доннер, буддолог, известный трудами «*Problem des Buddhismus*»⁴¹, которого на Гималаях считали почти Боддисаттвой; в Германии – крысой ученою; в Риме же слыл он за «черного папу» (вы знаете ль, что в католичестве целых три «папы»? один – «белый» папа, известный и вам; другой – «красный»; а третий, иль «черный» – начальник какого-то религиозного ордена; и, может быть, иезуитского).

⁴¹ «Проблемы Буддизма» (нем.).

К нему-то и шел с поручением от Лакриманти Мандро.

Доктор Доннер держался открыто весьма удивительной линией: не говорил о политике, но говорил о буддизме, писал монографии он «Wassubundu», «Dignagy»; жил в скромной квартирочке на Кирхенштрассе и мяса не ел (только «обст» да «гемюзе»⁴²); пошучивал все с экономкой-уродиной; он фон Мандро пригласил отобедать, завел разговор о могуществе «братства», вкушая печеное яблочко, руки над яблочком перетирая с таким твердым видом, как будто то яблочко было землю, которую Доннер мог скушать с огромнейшей легкостью; и за обедом сказал он:

– Европа проткнется войною.

Сказав, подмигнул:

– Да уж я постараюсь!

Сказал добродушно и просто, – без позы; и – дрожь охватила Мандро: сорокапятiletний ученый с кровавым затылком, обстриженный, с выторчем красных ушей, в золотых, заблеставших очках, в длиннополом своем сюртуке (в таких ходят в Баварии выпущенники иезуитской коллегии), был трезвей самой трезвости в явном своем утверждении, что он, доктор Доннер, во славу «Иисуса» проткнет земной шарик войной мировой; все карьеры померкли в сознании Мандро перед этой уже не карьерой, а... мироправлением, что ли. Безумие: в тысяча восемьсот девяносто восьмом году явно у всех на глазах с «Кирхенштрассе» почтенный буддолог вер-

⁴² Фрукты, овощи (нем.).

тел судьбой, мира, не прячась, не превозносяся.

Потребности «мироправителя» были скромны; так, – занятия в «Университетсбиблиотек», прогулка по «Энглише Гартен», обед: рыбий «з ў пше», печеное яблоко; послеобеденный сон, угловатые шутки со злой экономкой, держащей в руках его, и сидение над фолиантами; вечером – гости: профессор Бромелиус, иль пфarrer Дикхоф, «пол-массы» холодного пива; и – сон.

Нет, – Мандро был уверен, – пред сном сидение в кресле с пропученным окном, налившимся кровью, с открывшимся ртом (минут десять): тогда-то не миром ли в мыслях своих управлял удивительный «доктор»: наверное, клал пред собой земной шарик он, величиной эдак с мячик; над судьбами этого шарика и повисал; суевернейший ужас пред Доннером вкрался в Мандро, потому что поверил он вдруг, что от мыслей о «шарике» «шарик» менялся: вот в этом вот пункте, куда села муха, – созрела война; в том Вильгельм император вгонялся в безумие доктором Доннером.

Ровно в одиннадцать доктор, приняв «пургативное» средство от крепких запоров, которыми сильно страдал он, – шел спать.

Эдуард Эдуардович после свидания с доктором и объяснений с ему угрожающим разоблачениями Лакриманти, подставил себя под ток мысли «буддóлога», и с той поры его действия, – обогащение, деятельность многих «К⁰», им открытых, – имели фиктивные цели: служить авансценою дей-

ствия «доннеровского» просекавшего импульса; стал он сознательно пешкою, средством веденья какой-то, ему самому неизвестной игры; вербовщик черной рати нашел; и он стал негодяем, в которого вгрызся большой, мировой Негодяй, обитающий на Кирхенштрассе под маскою Доннера: да, может быть, сумма мерзостей, сделанных им, – малый штрих теневой, вырельефливающий слепительно сложно лежащую плоскость в гравюрной работе: взнуданья сознания масс; так и черные папы, и белые папы, сплетая ложь с правдой, извечно высасывают миллиарды жужжащих, запутанных мушек, высасываемые...

Перед этим последним вопросом, – о том, кто сосет сквозь них всех, фон Мандро отступал, преклоняясь с ужасом.

Действовал Доннер в нем!

20

Вопль – грудной, дикий, охрипший: вопль женщины лет сорока; так рожают еще не рождавшие, сорокалетние женщины.

Дверь в коридоре открылась; и – электричество вспыхнуло; высунулась голова Вулеву в папильотках – одна голова; вероятно, просунул ее на метле кто-нибудь, потому что сама Вулеву-то – уехала; нет, – вот рука со свечой; вот – сама Вулеву.

Никуда не уехала: сделала вид, что уехала (в этом обмане

была ее хитрость: с поличным поймать «негодяя» Мандро).

Я видал, как бросается курица к чучелу ястреба; курица прыгает: чучело бьет; оно – валится: курица ж – прыгает, курица крыльями бьет.

Так метнулась на вопль Вулеву:

– Негодяй!

Затряслась папильотками.

С нее сыпалась пудра:

– Скорей... Помогите!

В растерзанной кофте и в съерзнувшей набок юбчонке протопала серыми пятками прямо под дверь распахнувшуюся в то ж мгновение настезь, – и стукнулась лбом о Мандро:

– А?

– Как?

– Так!

– Не уехали?

С подрасцарапанным носом, с которого капала кровь, с головой, провалившейся в плечи, со смятой манишкой, откуда власатилась грудь (бровь – ершом, бакенбарда – проклóчена), в смятом жилете, откуда выглядывал хлястик, он выскочил.

Но, увидав Вулеву, отскочил и присел.

– Я...

– Ну?

– Видите ли...

– Да, я вижу...

– Тут... видите ли...

Заплясала по-волчьи отпавшая челюсть: так пляшет она в миг убийств – у убийц.

Взголосила на весь коридор:

– Вы – мерзавец...

Он молча косился испуганным глазом.

– Мерзавец...

– Но, – выслушайте...

Тут рукою взмахнула; и он защищался рукой:

– Успокойтесь: потише, потише...

Ее убоявшись, пошел от нее; но она – впробегушки: за ним:

– Стойте, – вы!..

И, поймав его руку, она ущипнула холодную, потную кисть своей сухенькой черствой ладошкой:

– А?.. Посягать на честь дочери?..

Кто-то тогда простонал из-за двери.

– Но – тише... – молил он, поймав ее руки; и – стиснувши:

– Тише!

– Вы думаете, – я не видела: видела... Думаете, что не знала: я – знала!.. Отъезд мой – ловушка: попались с поличным.

Тогда он, схватяся за голову, бухнулся в ноги ей:

– Не погубите меня...

Она выслушала, да как гаркнет:

– Эй, люди!

Вскочил: и, облапив, тащил в кабинет – объясняться: она

- вырывалась; и – слышалось:
 - Кровосмеситель!
 - Не надо!..
 - Не думайте, что...
 - Заплачу...
 - ...эта гадость пройдет безнаказанно...
 - Сколько хотите?
 - Припомните Люсю, припомните Надю, припомните Дашу...
 - Сто тысяч...
 - Полиции будет известно – все, все...
- Увидав в глубине коридора прислугу бежавшую, он, оторвав ее от себя, шибанул головой о косяк; и – защелкнулся там: у себя в кабинете.

.....

Толпились у двери – все: повар, Василий Дергушин, дворецкий, какая-то женщина в желтом платке (из соседней квартиры); из двери несло причитанье мадам Вулеву над растерзанным телом с оскаленным, синим лицом (с кулачок) – на диване:

- Гли, гли-ко!
- Ведь – барышня...
- Что ж это с нею?
- Дуреха, – не знаешь! – сурово отрезал лакей.
- А рубаха-то, – ишь ты...
- Разорвана!..

Бледный Василий Дергушин скулой задрожал:

– И за это пойдет он в Сибирь.

Он направился к выходу.

.....

Скоро уже это тело, одетое в платье, в пальто (кое-как), Вулеву с судомойкой по коридору из страшного дома навек выводили: везли к Эвихкайтен.

21

Защелкнутый на два ключа из-за двери наставился ухом на громкое гарканье издали: гавк Вулеву был особенно как-то несносен; потом – топотали; потом – замолчали; кого-то вели, причитая; все – стихло.

– Что ж будет?

И туг же решил он:

– Не думать, а – мимо, а – мимо: потом!

Утро вечера, как говорят, – мудренее: найдется решенье:

– Не думать, а – спать.

В ярко-красное кресло упало изгибное тело, провесившись длинной рукою (он был – долгорукий); и – в сон бредовой и болезненный кануть хотел, где все вспомнилось ярко.

Что вспомнилось?

Точно толчок электрический выбросил, встрясаши; себя он застал у трюмо, пред которым стоял, как болван, рот раскрыв, растарашив глаза и руками вцепившись в волосы:

– Люся!..

– Надюша!..

Все семь.

И – восьмая:

– Лизаша.

И стоял перед ним, как болван, рот раскрыв, растарачив глаза и руками схватяся за волосы, там неизвестный; казалось, остервенившись, они друг на друга набросятся; первый, – чтоб, впрыгнувши в зеркало, в прошлое кануть свое; а второй, чтобы выпрыгнуть и по квартире забегать, – второй, провалившийся в тысячелетиях, точно с самой Атлантидой на дно океана; теперь это вспомнилось ярко.

Что вспомнилось?

Сон об атланте, не раз уже снившийся, но забывавшийся в миг пробуждения; драма «Земля» оттого привлекала, что в ней узнавал эпизоды он сна своего; оттого и запомнилось имя – «Тлаватль».

Имена мексиканские!

.....

Видел: за зеркалом – нет отражения: дно океана, где – спруты, где – змеи, где – гиблые материки поднимаются: свергнуть Европу в потопа, волной океанской залить города; там из зеркала вставший атлант угрожал ниспровергнуть, схвативши за горло, на дно океана зазнавшегося проходимца истории.

Зеркало это – разбить: с ним разбить, разбиваясь, второго, который опять посягает (как в снах посягал уже) вынырнуть; миг: будет – «дзан»; все – расколется: зеркало; в нем – эта комната; в окнах ее – кусок неба вселенной с Москвою, лежащей в ней, так, как и «Я» раскололось на этого вот «дикаря» и Мандро, чтоб из падины вылезло тысяченое чудище: спрутище лезет не муху хватать, а людей...

.....

Эдуард Эдуардыч, проснувшись от сна, позабыл во мгновение ока все то, что припомнилось ярко, что было покрыто затем яркой памятью только что бывшего с ним; руки быстро засунув в карман, показал отраженью язык; отражения – не было; вместо квартиры – там муть океанская зыбилась, чтобы, поверхностью хлынув своей из трюмо, переполнивши весь кабинет, всю квартиру, из окон разбитых сплошным водопадом низвергнуться, и, затопивши Петровку, Кузнецкий, Москву, всю Россию, Германию, Францию, Англию, в мире разлиться и выбросить с дна осьминогов; вон-вон – уж из мути горел умный глаз осьминога; просунулось из-за поверхности зеркала щупальце, чтоб... присосаться: испить: – Бред!

Протер он глаза; и – увидев себя самого, повернулся спиной: к себе самому; еще долго торчал из теней, синелобый; и спать не ложился.

Сон – дикий, больной и тупой, – из которого он посылал свои вскрики, больные, тупые и дикие —

– Люся,

– Надюша,

– Маруся,

– Аглая,

– Наташа,

– Лизаша,

– Лилишенька, —

– все ж показался легчайшей гармонией сферы сравнительно с явью: пробуд был ужасен: проспал он двенадцать часов; позвонил, но лакей – на звонок не откликнулся; ноги власатые сунувши в туфли, подумал:

– Ого!

Пробежал, вероятно, теперь гоготок – из квартиры в квартиру по дому; из дому – по многим домам; вероятно, гудеть будет улица; дня через два эдак пискнет прескверно, как мышь в неурочное время, в газетном листке; через три, иль четыре обратно появится: вместе с полицией; обыск, домашний арест; потом будет тюрьма.

Нет, – не будет: все – взвешено; все – приготовлено (случай такой мог и раньше с ним быть); он – успеет еще.

Над синявым ковром вились моли; звонить не решился;

прошел на балкон: желтый мир, пыльный мир; он – вернулся; и, сделав усилие, баристым барином стал он прогуливать-ся, стал оглаживать баки, ища встретить слуг, чтоб по взглядам их выяснить, как обстоит это дело; увидел он, – где желто-сизые стены стенились шторой, стояли лакей и дворецкий с глазами гвоздистыми, с явной гадливостью, с твердой угрозой немой.

Вновь подумал:

– Ого!

В них уставился мутями невыразительных глаз и жевал пережеванными, голубыми губами, спросить не решаясь:

– Где барышня?

Знал: «е» – нет.

.....

Через десять минут он, задмясь бакенбардою, вышел в переднюю: в черном цилиндре, затянутый в черный сюртук, с задымившей «маниллой» в зубах; он натягивал черную лайку на пальцы; он стал – чернолапый; лакей, опустивши глаза, с отвращением выпустил; все-таки – выпустил.

Вышел.

Внизу, перед лифтом швейцар без поклона его проводил с той же явной гадливостью, с той же угрозой немой; кто-то был здесь, в подъезде; подумал:

– Ага, уже сыщик!

«Маниллой» дымнул ему в нос, проходя; гоголек в котелке, вблизи тумбы стоявший, увидев его, растарашил глаза и,

вперед перед ним забежавши, отчетливо выбросил:

– Что за мерзавец!

И – сплюнул.

Да, – улица заговорила уже: стало быть, – ускорялись события; надо спешить; вокруг валили вальмя; повалил вместе с ними по улицам желтым, вперясь пред собой: горельефы аркад, барельеф, бельведеры, безлепица леплин, карниз, поднимаемый рядом гирлянд с перехватами, витиеватые сплеты кисельного дома: причудливые гиероглифы смысла казались кусками из прошлого, как ассирийские надписи: это все было; все – схлынуло.

В тысячелетия гибнущий город: Москва.

Синеглазая барынька делала глазки ему; кто-то нес пови-сающий зоб, искривив свои губы над ним; лиловатые овощи пучились; вдруг, – вздрогнул он, потому что в окно он увидел среди книг иностранных толстейший том желтый (в окошке у Ланга); и – надпись: «Problem des Buddhismus».

Ему захотелось в Мюнхен; припомнилася Кирхенштрассе, каштановый сад, серо-желтая виллочка с новенькою черепитчатой крышей.

.....

Задумчиво шел: оказался за городом он; обернулся назад: там – Москва растараща; здесь – в воздухе был завертяй пуховой; молочаи росли на откосе; с откоса открылася даль в сухоцветы полей, в пустополье и в дальние пустоши; вон

– желтоухая лошадь со связанными ногами; вон – сохлина стволика; гайворонье раскричалось; было так странно здесь видеть торжественный шаг пешехода в цилиндре, в затянутой черной одежде, размахивающего злой чернолапой рукой и кого-то зовущего громко:

– Лизаша, Лизаша!

Болотце сырое блеснуло вдали синим блюдцем; шли кустики: пышно гроздились широколапыми листьями (молодятины много посекали); кочкарник, мхи, кочки, растеньица (белоголовец и жимолость); далее шла березовая; и далее – толстодеревый лесяще: прямой, строевой; уже – гуща, где сучилась зелень безлистьем (шел лес бессучник); сюда он засел свою думу продумать, здесь – спрятаться: там же, в Москве, поднимался приглушенный ропот:

– Давить паука.

Время – вапом вопило; сказал:

– Доннер действует.

Действовал кто-то; но Доннер – при чем же?

Признаемся здесь: доктор Доннер, которого мы описали подробно, был – миф; его не было; мы описали его, как вставал он в сознаныи Мандро; удивительный факт: эта «гадина» в сути своей развивала фантазии; Доннер – фантазия, вставшая лет уж пятнадцать назад в Монреале, навеянная лишь словами ученейшего Лакриманти о некоем докторе Доннере (был иезуит такой), труд написавшем «Problem des Buddhismus»; вот – все: Мюнхен, прочее, вплоть до вкуше-

нья печеного яблока, вплоть до фантазии о мироправстве, – желанье Мандро, чтобы люди, подобные Доннеру, мир заплели в свои сети; мечтал бескорыстно о Гадине, о Мировом Негодяе, которому в мыслях своих он служил с удивительной верностью; выдумал Гада себе; и его – любил нежно.

Как видите, – был Эдуард Эдуардович префантастической личностью: не собирал миллионов; и гадил для гадости; случай редчайшей душевной болезни.

Он – встал и пошел; возвращался рекою; в сознании стояло:

– Лизаша, Лизаша!

Вот – берег с отвалиной: крутобережье; и – плоскобережье на той стороне; еще далее, там, – плоскогорбый пригорбок; все – почвы свинцовая сушь, жуткий за́вертень мух; день, парильня, – стал вечером; город придвинулся; вновь – бельведеры, безлепица леплин, карнизы и крыши; за крышами – тухло; «они» леопардовой шкурой пятнели с заката.

«Они» – кто такие?

.....

Да, все сказали бы, что синегубый и синебородый мертвец проходил по бульвару, пугая гуляющих барышень и гимнастиков; он же бежал мимо них; можно прямо сказать, – до чего добежал (семь замученных женщин; восьмая же – дочь). Черноглазый мальчонок, недобрый и хмурый, на лавочку сел; он его поразил; с ним сел рядом; тогда черноглазый мальчонок пошел в переулок; вскочил и Мандро; и по-

шел в переулок за ним.

В переулке его уже не было.

23

В черном цилиндре, затянутый в черный сюртук, чернолапый, – вошел он в переднюю, дмясь бакенбардой; Василий Дергушин стоял перед ним с лицом бледным, фарфоровым, руки скрестив; и пальто не снимал; сам повесил, потупясь: и – в сине-лиловые комнаты сгинул; и в сине-лиловые комнаты сгинул Василий Дергушин за ним.

Еще к полночи был кабинет фон Мандро освещен; фон Мандро сидел в кресле еще; и оно – все горело; ему показалось, что – звякнуло: там черноглазый мальчонок грозился в окошко; тогда он схватил черноногий подсвечник и бросил; подсвечник с погашенной и с переломанной свечкою грянулся о подоконник.

Сказал сам себе он:

– Опять!

Начиналось то самое; понял – пора.

.....

По ночам этот дом стал становищем черных; они разбивали палатки свои; так «Европа» рассыпалась в доме московского капиталиста; и выросла в нем Полинезия; уже из окон открытых особенный дул ветерок на Петровку: «пас-сат» с океана; заглянешь – вода с очертанием острова Пас-

хи, быть может, с изваянным изображением уроды гигантских размеров, расклабленного в пустоту, с двумя баками: верно, остаток культур допотопных, погибнувших некогда здесь; впрочем – нет: очертания острова не было; остров недавно на дно океанское рухнул (читали об этом в газетах?).

Так будет с Берлином, с Парижем и с Лондоном, если оставить их так, как они существуют; расколоты гулом подземным – сознания, люди, дома; они – в трещинах, в трещинках, в еле заметных трещёнках; подземный удар, осыпаящий почву, расколотый в тысячи тысяч трещоток джаз-банда, трясение почв, исходящее в радиусах передрогов фокстротной походки, все то – при дверях: рассыпаются: вещи, дома; рассыпается: старый состав человека; чудовищные изваянья, «морданы» болванные с острова Пасхи, – «Мандры» всего мира; и – да: джентльмены во фраках в пустеющих улицах будут гоняться, чтоб рвать друг из друга филе по извилинам мертвого, густо травую проросшего города, под уцелевшими знаками странно морщавых фронтонов, дантиклов, столбов, барельефов, абак, под разляпою линией желтых карнизов, являющих стенописи, изучаемые кропотливейше историографами не приподнятых с dna континентов, быть может, тех спрутов, один из которых вперил умный глаз свой в Мандро, – в диком бреде Мандро; страшно, страшно: мы думаем, что мы живем, а уж нас изучают, как сфинксов ушедшей культуры, в пустыню вперяющих взгляды свои.

Пока жил здесь и гадил Мандро, изучали: Анкашин, Иван,

починявший здесь трубы, Василий Дергушин с товарищами, с миллионами Клоповиченок всех стран; уж из трещин домов выходила иная порода.

.....

Под черною шторою прятались, верно, когда к черной шторе Василии Дергушин пришел; из теней на него посмотрел кто-то, хмурый, немой, синелобый; тогда (это слышал дворецкий) из комнат послышался звук: что-то гекнуло там; и затем что-то дзанкнуло: в рожу Василий Дергушин вlepил – у прохода, где статуи горестных жен ничего не слышали; дзанкнула ж горка фарфориков, лилово-розовых, серо-сиреневых – зайцы, пастушки, пейзажечки, изображение «Лизетты», которой наигрывал на флажолете брюнет в серой шляпе (полями заломленной) свои менуэт: «Пасторали над бездной».

И кстати заметим, что с этого мига из дома исчез фон Мандро.

Да, – его не увидели больше; он – канул без адреса, в тьму растворился: ушел в безызвестие; стал безымянною он; видно, взявшись одною рукою за баку, другою развеявшись в воздухе, он галопадой помчался – туда, в невыдирную щель, вероятно, оставивши близ гардероба упавший наряд свой – «Мандру»: две руки белой лайки с манжетками (из-под визитки) да голову «папье-ма-шевую» с баками, чтобы пустую и кляклую куклу, упавшую в грудь головою, Василий Дергушин повесил на вешалку в шкафу.

Обнаружилось это в запóлночь; искали; вошли в кабинет нерешительно, думая, что здесь висит он; пустел кабинет освещенный; горело пустое сафьянное кресло; весьма вероятно, когда в кресло сел, оно – вспыхнуло; горсточка пепла серела.

Сигара осыпалась.

.....

Шли дни за днями.

Гладкйм-гладко в комнатах: где фон Мандро, где Лизаша, мадам Вулеву? Где дворецкий? Одни нафталинные запахи; пусто и гулко; дом выглядел гиблемым; только Василий Дергушин пустым аванзалом ходил; вот он, – зал без обой: облицовка стены бледно-палевым камнем, разблещенным в отблески; вот барельефы подставок и кариатиды, восставшие с них; ряд гиляндой увенчанных старцев, изогнутых, в стену врастающих, приподымали двенадцать голов и вперялись дырами странно прищурых зрачков в пустоту между ними; проход: те ж страдания горестных жен, поднимающих головы немо, – не слыша, не видя, не зная; за ними – гостиная; кресла, кругля золоченые львиные лапочки, так грациозно внимали кокетливым полуоборотом друг другу, передавая друг другу фисташковым и мелкокrapчатым (кrap – серо-розовый) гладким атласом сидений тоску, что на них не садятся; камин в завитках рококо с очень тонкой, ажурной решеткой, часы из фарфора, совсем небольшой флажолет; темно-серая комнатка: те же диваны да столик; диваны – в

подушках, в цветистых, в парчовых и в ярко-халатных накла дочках, халколиваннные ящички, бронза, сияющий камень лампы, пустой кабинет, ярь кричащих сафьянов на фоне гнетущем и синем; малайская комната: пестрень павлиньих хвостов, бамбуки, шкура тигра и негр деревянный; ужасная спальня с постелью двуспальной, атласно-лиловой; на тумбочке кто-то ночную мурмолку (по алому полю струя золотая) забыл; вот – столовая, где прожелтели дубовые стены (везде – желобки, поперечно-продольные) с великолепным буфетом.

Все – цело.

И можно бы было музей оборудовать, надпись повесить: «Здесь жил интереснейший гад, очень ред-кий, – гад древний: Мандро».

В девятьсот же четырнадцатом здесь печать наложили на все: появилась администрация; после, в пятнадцатом, всю обстановку купил князь Максятинский; до революции жил; в восемнадцатом кто-то пытался внедриться, но был скоро вытеснен, а в двадцать первом здесь весело затрескотали машинки.

Отдел Наркомзема сюда переехал.

Глава третья

Удар

1

Лизаша свалилась в безгласную тьму.

И – лежала: с опущенной шторкою; села потом; в своей бледной, как саван, рубахе, головку и плечики спрятавши в космы: в сваляхи волос; так мертвушей сидела в постели; и – думала, думала.

Думала в тьму.

Из угла чернокожий мальчонок-угодник грозился изогнутым пальцем за бледно-зеленой лампадкой, бросающей мертвельный отблеск; похож был на мальчика, ножик во сне приносившего ей: проколоть; но не «о н» прокололся: она; с той поры пролетели столетья: мерели в ней чувства.

И даже «недавнее» – мертвая грамота.

В тихом мертвеньи сидела, как в шкурочке порченной: павшей овечки; росли дыры впадин, стемнясь вокруг глазиков; личико все собралось в кулачок, – неприятненький, маленький.

Раз появилась мадам Эвихкайтен, – с газетой в руках; и газету просунула:

– Что?

Фон Мандро.

Обанкротился?

Что?

Он – сбежал!

Оказался германским шпионом!!

Полицией приняты меры.

В газете стоял: сплошной крик; но Лизаша не вскрикнула; в уши слова сострадания замеркосили: так издали; чуюла это; и вся исстрадалась в предчувствиях (с прошлого лета еще); теперь знала она: свой удар мертвоносный таскал за собою; звуки – «дро» («дро», – Ман – «дро»), звуки Доннера, стали теперь звуком «дыр».

Стал дырою: в дыру провалился.

Она закосила изостренным личиком:

– Нет, – уходите.

– Оставьте, оставьте!

– Оставьте в покое меня!

И свалилась, повесив головку, – зеленой валяшкой: в черную тьму.

.....

Потом встала: такой неумытой зашлепой, – с улыбкой, сказали б, что – гадкой; не чистила зубы; садилась – мертвушею: в угол – за книги, которые кто-то оставил на столике: Зомбарт («История капитализма»), Карлейль; и – другие; мадам Эвихкайтен просунула нос: сострадать; но просунула нос – только жадность узнать «что-нибудь» поподробнее и

попикантнее:

– Ах, ах, – ужасно!

Была моралисткой; и – сальницей.

Вместе с мадам Эвихкайтен какой-то мужчина и пхамкал, и пхымкал: за дверью; и – в двери просился; она – не пустила, узнавши, что – Пхач: оккультист, демонолог (пытался просунуться к ней с утешением): сальник.

Да, – шла черноухая сплетня за нею; и – сплетничал: Пхач; и язык, на котором они объяснялись, – язык, на котором в любви объяснялись в покойниках – трупные черви; хотели питаться кровавым растерзком: мерзавец, мерзавица.

Мир – протух в мерзи.

.....

Над книгой порой оживлялася думами:

– Испепелить, сжечь, развеять: поднять революцию!

Сунулась раз голова неизвестной девицы в очках: некрасивая, стриженная:

– Вы – простите меня: я – Харитова; книги мои тут остались.

Лизаша читала Карлейля.

– Читайте, – потом я возьму.

Слово за слово – разговорились; понравилась: не было в ней любопытства к «несчастному случаю»; разговорились о книгах; потом – о кружке, изучающем книги; потом – о работе партийной.

– Мы раз в две недели беседуем здесь: рефераты читаем

и их обсуждаем; нам здесь – безопаснее: Пхач – оккультист; у него – свой кружок; подозрения – усыплены за спиной оккультиста.

Она рассказала о Киерке, о Переулкине некоем, который жил прежде на Пресне, теперь же, скрываясь, капусту сажал в пригородных полях, сажал в ямы эсеров (и меньшевиков), а в минуту свободную о живорыбном садке размышлял.

– Ну, а – Киерко?

И – выходило, что первый он сверщик и сводчик того, что творилось в рабочих кварталах; он был Геркулес, отрубаящий головы гидре реакции, вдруг появляясь в глухих переулках Москвы, точно тень; и – скользил вдоль заводов; рабочие с лицами, перекопченными в жаре вагранок, внимали ему; так слова разыгрались в Лизаше.

– Вынослив, как сталь тугоплавная.

– Киерко?

– Собственно, даже не Киерко он, а – Цецерко-Пукиерко.

2

В узеньком платьице из черношерстой материи, кутаясь желтою шалью (дрогливая стала), – просунулась робко в соседнюю комнату; Пхач, – как захымкает, как зажует жесткий волос усов, залезающий в рот: ничего, кроме волоса, в нем не заметила; весь был покрыт волосами: горилла такая!

Слонялась по комнаткам, жмурясь от света; глаза – про-

валились, утухли; зрачки – два прокола булавочных: малые, острые; жалась закисчиво по уголочкам, желая угаснуть: не быть.

Приходила Харитова:

– Ну? Как здоровьице?

– Как-то мне мрется.

– Вы с Киерко – поговорите: свои «мерикории» бросьте!

Понравилось слово – слиянье двух слов: «меланхо-лия», «мороки»; и – удивилась: опять этот Киерко!

Все наблюдала – внимательно: комнатки – пестрые, сине-полосые, в клетку; в окошках – надувшиеся синевеи хорошеньких шторок с ландшафтами неба под ними и с белыми мелями вместо реки пересохшей; печной изразец – с вавилонами: синий.

Мадам Эвихкайтен в батистовой кофточке, беленькой, с синим горошком, овейанном кружевом, иссиня в синь дешевела нервической, плохо разыгранной томью.

Лизаше хотелось воскликнуть:

– Ведь экая дура с претензией!

А приходилось зависеть от этой галданистой дамы с зефиром, из Вечности в Вечность способной взорать; за стеною Лизаша не раз уже слышала этот ревёж на прислугу; казалось, что масочку кошечки (грубой работы) надел и ручищей метлу пред собою поставил, одевши в зефиры ее, иль в батисты (от Цинделя), прездоровенный, дебелый бабец, неприличный, готовый всегда проорать; он порою, мет-

ду свою шваркнувши в кресло, за креслом стоял преспокойно, сложивши ручищи.

Метла ж екотала из кресла нервически:

– Вы – посмотрите, какая я нервная: в кресло упала, – от тонкости! В кресле лежала метла, а не баба, которая этой метлою дралась.

Раз Лизаша сказала себе, брови сжав Робеспьериком (в юбочке):

– Выпороть бабу!

Мадам Эвихкайтен, насытившись криком, к прическе своей двухгребенной двуперую шляпу «блэ сиэль»⁴³ приколов, с синим зонтиком, под бледно-синей вуалькой пошла на Кузнецкий; два ока – лазурились не на лице, – на безе, вся – такой разлитанный эфир.

Баба – злая, двужильная!

С ней у Лизаши уже начинались забранки; мадам Эвихкайтен двугубою дурую фыркала два уже дня на нее (конфиденткой не сделали); едко Лизаша кривела улыбкой; чтоб досадить, свои окурочек тыкнула в бантом украшенный синим цветочный горшок – вместо пепельницы: предрассудок сознания!

И, нахлобучив беретик, – на улицу: в платьице из черношерстой материи; шаль желтокрылая в ветре плескалась за ней; кто-то вслед посмотрел, плотоядно почмокав губами, – с лицом черномохим (наверное – перс).

⁴³ Голубое небо (*фр.*).

Обращала внимание девочка злая с лицом перекошенным, дряблым: в морщинках.

3

Москва – страшновата: гнилая она разваляльня в июле; душевный валёж открывается под раскаленными зданиями.

Были морские суши и бёздожи; камни зноились; воняли гниющие дворики; сваривал люто меж мягким асфальтом и крышею день: люди жаром морели; из чанов асфальтовый чад поднимался над варевом тел человеческих.

Лизаша мертвущей свалилась в валеж многорылых людей (от различных углов – до различных углов): без конца, без начала, без смысла и без перерыва; дырявый картузик – за горничной в ярком, оранжевом платье, в чулках фильдеко-совых; тихий нахальчик, хромающая, деревянная ножка; ручкач и глупач пиджачишками запетуханились в пыли – под пábелки дома, которые там пообсыпались: красный кирпич улыбался; а пастень от дома напротив ложилася синею плоскостью: наискось.

В жалком, прочахленьком сквере устроили «лето в деревне» над выплевом семечек, над апельсинными корками, под иллюзорной акацией с серым от пыли листом, поднимавшимся под теменцы поднебесные: в городе пылями сложено небо.

Лизаша присела на сквере.

За сквером просером пылел тротуар; и хрипела шарманка, которую мальчик недобрый и хмурый вертел, – черноглазенький: знать, – итальянчик.

От лавочки ближней послышалось ей:

– Посмотрите: хорошенькая!

– Где?

– Да – вот.

– Зеленушка-то?

– Косы какие!

– Помилуйте, – что вы: мерлятинка, дохлая мушка; в морщиночках!.. Криво себе улыбнулась.

И вдруг захотелось – до дна унижения: стать побирушкой; с рукою протянутой стала она, вблизи лавки с материей, где разливался канаус вишневый и где брюходум за прилавком – отщелкивал: из мухачей; дама в платье берёжевом ей положила копеечку; более – не подавали; какой-то, сердитый, в очках, подмахнул ей рукой:

– Как не стыдно: одеты, а – просите.

Кто-то зашел в подворотню; стоял у стены – спиной к улице: вышел; и с жёстким упорством взглянул на Лизашу; достал кошелек; вынул трешницу; в воздухе ей помахал; подошел – прошепнуть, озираясь испуганно, ей предложение гнусное: волк; мы по жизни проходим волками; и жизнь есть волковня (пора бы, пора ее – к черту!).

Взглянула – волчонком: бежал без оглядки.

.....

Вот стеклами черных очков кто-то мимо тащился, такой долгорылый, такой долгорукий; штаны – бахромели, атласились: драные; колким, щетинистым волосом бритые щеки синели; измятая, широкополая шляпа стенила нахмуренный лоб; не глаза, а трезубец морщин между глаз на нее поглядели знакомо; жарыща, а он для чего-то на плечи накиннул свой плед, в него спрятавши губы, ее искусавшие.

– Он!

Не заметил ее; если б даже заметил, то – что ж? Чуть не вскрикнула; и – припустилась за ним: их трамвай разделил.

По десятиголовику, севши направо, налево, – там мчались; а в центре стоял липень тел, уносимых вдоль улиц.

Искала на той стороне тротуара «е г о»; отыскала: «о н» влип в многоножку; и с алкоголическим видом тащился – гирявый, безбакий, зевающий в пыль ртом: беззубым (а был – долгозубый); под баками мыслились полные щеки; теперь – обнаружилась вся худоба; прососалась, ввалившись, под носом губа; и – пропятилась нижняя челюсть (снял – верхнюю); бросил безвозрастный, идиотический взгляд свой, – растленный, разъеденный едкой душевной болезнью.

В кривом переулке, куда он свернул, – желтый домик под вывеской красной «Распивочное заведение» – выбрасывал гамкалу пьяного, крившего словом последним полицию; скрылся в дверях, где стоял винный крик.

И – мелькнуло:

– Свинья – найдет грязь!

И кричали в дверях:

– Добрый день вам, паршивчики!

– Парочка.

– Боров да ярочка!

– Кутишь?

– С бабеночкой: не без ребеночка.

Холодом липким покрылась; глаза – растараски – не видели:

– Что, если... если... с ребеночком.

Он – сел над водкой: мертвяк-мертвяком.

Она – прочь: поскользнулась, размазав ногою коричнево-желтые вонючки; уж черные пятна в пролетах стенных обнаружились.

.....

Пахли ванилями щеки мадам Эвихкайтен; и пестрое, синеполосое платье ее шелестило под пестрою, синеполосою скатертью; тихо Лизаша просела в тенях своим личиком, – остреньким, злым, точно сжатый до боли сквозной кулачок: с заостренным носиком, точно у трупики; пятнышко, точно знак адский, сбагрилось на левой скуле.

В ней кипел чертовак.

4

Перегусты зноились облаком; день был – парун; разомлели от жару; и зори – булаными стали; казалось, что дней до-

цветенье проходит – в дымленье.

Горели леса под Москвою.

В харчевне алашили.

Кто-то, надевши очковые стекла и витиевато запутавши ногу о ногу немытыми пальцами муху давил; выдавался пропаченной челюстью.

Неосторожности!

Выголодал себе нищую жизнь; ну, – и что ж оставалось? Дворынничать! Носу не сунешь к Картойфелю, родом из Риги: так все изменилось; фон Торфендорф, ликвидировав спешно дела, перебрался в Берлин; а «Мандро и К^о» (вот – Кавалевер – шельмец!) – превратилась в три дня в «Дюпердри и К^о»; ныне она поднимала газетный галдан, что Мандро уворовывал деньги «Компании».

Жертва!

Они теперь выкинули эту кость, – «фон Мандро», – прицепившись с удобством к «несчастному случаю» (дочь изнасиловал!).

Пуанкаре собирался приехать.

Да, да, – перекрасились!

Челюсти сняв и надевши очки, поселился в «Д о н у», в мебелированных комнатах, что на Сенной; запирался в дрянном номеришке; из водки, корицы, гвоздики и меду варил род глинтвейна себе, наклоняясь над миской в дымящиеся, душепарные запахи; а из паров иногда перед ним окреплялось пятно в черных крапинах.

.....

Это пятно в черных крапинах часто являлось из слоя колеблемой желчени, – точно воды; выяснялася склизлая шкура, как будто лягушечья; ширились пристально два умных глаза; меж ними же – нечто, как клюв попугая; под взбухнувшим туловищем полоскалась как будто нога, или – хобот протянутый: щупальце!

Спрут!

Этот спрут, появившийся в зеркале, стал появляться в расстроенном мозге безумного доктора Дро; созревало решение:

– Да, да!..

– Остается – одно!..

.....

Здесь заметим: он жил с документом на имя какого-то доктора Дро; и – свистульничал, праздно слоняясь по улицам; стал он дневатель бульваров (дремал на скамейках); ночным бродуном волочился без цели.

А то – гиркотал в кабаках.

Стал без челюсти он, без волос, без нафабранных бак, без квартиры, без «дома Мандро»; хорошо еще, что голова оставалась; ведь мог оказаться безглавым: за челюстью снять с себя голову, чтобы замыслить спиною; по правде сказать: на спине проступило лицо, – сумасшедшее, доисторическое: «ман» в Мандро – провалилось в спинные какие-то вздрог, в сплошное, безумное «дро»; вместо «ман» (головы) – дыра:

дрог позвоночника.

Стал доктор – Дро.

«Доннер» – действовал, переполняя всю душу ему непри-
сущую силой, ему неприсущую яростью; «Доннер» гремел
над Европой!

.....

Был Киерко прав.

Пауки пауков – поедят; «Доннер» съел фон Мандро – без
остатков: съел миф паука пауков; «Доннер» – гибель Евро-
пы; в фантазии бреда Мандро вставал Шпенглер: до Шпен-
глера.

«Спрут», появившийся в зеркале, – гибель губившего ми-
фа о Доннере (в нем же и гибель Мандро); здесь снялась
амальгама с сознания (разъялись пороги сознания); так зер-
кало стало стеклом, пропускавшим сквозь «Я» жизнь како-
го-то грозного «мы»; это «мы» выходило теперь из подвалов
мандровской квартиры; «квартира» сознания – разъялась.

«Спрут» – грозная фантазмагория: имагинация близя-
щейся социальной катастрофы.

«Доннер» в Мандро стал – дырою; а дом на Петровке в
четырнадцатом году отразил состоянье Европы; да, да: в са-
мом центре Москвы. – Москвы не было; были – Париж, Бер-
лин, Лондон; и – даже: уже был Нью-Йорк; и под всеми под
ними – поднятие лавовых щупалец, с центра подземного к
периферии: к московской Петровке.

Москва, как и Лондон, была лишь ареною схватки чер-

нейшего интернационала с его разрывающим, с красным.

– «Москвы»-то и не было!

Был лишь роман под названием «Москва»; за страницей читалась страница; листались страницы; и думали, что обитают в Москве; в эти годы «Москва» революции – да! – обитала в Лозанне, в Монтре, в Лезаван, в Циммервальде, быть может, в Женеве, в Нарыме, во льдах, – где еще обитала она?

Юго-Славия, Прага, Берлин, – обитали в Москве: на Петровке, в районах Арбата, Пречистенки.

Повернулась страница: «Конец»! Год издания, адрес издательства: только.

.....

Конец!

Оставалось последнее средство: разбой, воровство; и – айда: за границу; и – вспомнился – Мюнхен; вела Барерштрассе на площадь цветущую, где – обелиск, где и домик, запрятанный в зелени; здесь жил известный ученый и автор «Problem des Buddhismus», вплетавший свое бытие, никому не известное, в миф, возникавший в одном одичалом сознании.

Айда, – за границу!

К кому-то он хаживал, впрочем: и кто-то достал документик; и паспорт готов был достать заграничный; вы спросите – кто же? Я, автор романа «Москва», о героях романа собрал много сведений, правда: но – не вездесущ я; не знаю, – кем был этот «кто-то», готовый спровадить Мандро за границу, дать крупные суммы ему, чтобы там, за границей, он

мог завести вновь «мандрашину» – под непременноим условием выкрасть какие-то там документы. Кем был этот «кто-то» – не знаю; но знаю, что жил на Собачьей Площадке.

.....

Сегодня, в харчевне, – за пятою «водкой» опять появилось пятно; и представьте, – оформилось: в первый раз в четкий, весьма прорисованный образ: и образ был – «старец»: ацтек, мексиканец, атлант, – кто его разберет! С бородою седой, без усов, с развевающимися седыми кудрями, в плаще – серо-черно-зеленом, с отчетливо желтыми вкраплинами; а в руке его был страшный, желто-оранжевый жезл; этот жезл поднимал он над жертвою...

– А!

Оставалось – одно; оставалось – одно.

.....

Есть возможность понять этот морок: пары алкогольные!

– Водки, еще!

Дали водки: стаканы и дзаны; показывали руками на «доктора Дро»; раздавалось – оттуда, отсюда – отчетливо:

– Во-ка!..

– Смотри-ка – какой!

– Рожу выпятил!

– Дока.

– Оттяпает.

– Форточник, – что ль?

– Бери, брат, повыше: фальшивомонетчик!

Он – встал, расплатился; и с алкоголическим видом покинул харчевню; пошел вислоногим верзилой; одежда – с чужого плеча:

– Поскорее бы в Мюнхен!

Бежал переулком; в окошке увидел газетовый гробик; и – вздрогнул; мальчонок! Бежал переулком; за ним – бежал шпик; просмотрел все глаза: потерял.

5

Собирался кружок.

Переулкин вошел, весь саврасый, кося светлым глазом; он лапу свою протянул – не ладонь; была теплая.

– Будете слышать о нем! – зашептала Лизаше Харитова.

Деятель громкий Китая и Афганистана, – его ль вы не знаете? Слово его в наши дни превратилось – в лозунг народам востока; с ним Ленин считался; тогда же, – он прятался: по огородам; капусту сажал; загудело Котлубаниным; слышалось:

– Сад... Садоводство... Садки!

Прибежал меньшевик Клевезаль (с мягкой гривой каштановой); с ним – Гуталин; приходили: Сергей Свистозадов, Ипат Твердисвѣчкин, Планопов, Мартынка, Мамзеева, Лейма, Ураев, Прозыкина и Сатисфатов.

Лизаша сидела такой деревяшкой проструганной: не вы-

носила еще она дня; становилась зеленой и хмурой; ее – не заметили просто; и спорили о подходящем налоге: все – цифры да термины вместо понятливых слов; Гуталин – говорил; Клевезаль – возражал.

Двери настезь разинулись; и – светло-серенький, быстро взглянувши на часики, быстро какой-то вошел; и глазок-светлячок – на Лизашу защурился, затрепетав с подмигиваниями; вспомнила: виделись, но – при других обстоятельствах: в день незабвенный: в «Эстетике» виделись!

Кто-то воскликнул:

– С часов ваших, Киерко, солнце сверять было можно бы! Киерко? Вот он какой!

Он поежился левым плечом, глаз пустил в вертолет, заложив свои пальцы за вырез жилета, края пиджака оттопырив; внимательным глазиком быстро порхал вокруг Лизаши: э, – как раздурнилась, просунулась: кожа да косточки, – странное зрелище; юная девушка горбилась, точно старушка: лицо собралось в кулачок.

Тут к нему подошли – сообщить: Псевдоподиев в ночь арестован; и Клоповиченко сидит.

– Эка, – нуте-ка, – быстрый закид головы выражал непреклонную волю:

– Чудно создан свет!

И превесело дернулся, трубочкой выстукав:

– Все вот – с «авось», да с «небось»: доавоськались.

Набок просел у окошка задорною лысинкой; кстати: при

самых ужасных известиях трубочкой стучал о стол он с улыбкою:

– Нуте же – что: пустячок!

А потом «пустячок» он продумывал – днями продумывал, вытянувшись на диване и похая трубочкой; вновь выходил, взяв решение, которое и доводили до действия: Пэс, Твердисвечкин, Сергей Свистолазов, товарищ Харитова, Пронина.

Киерко ей показался живцом: стало как-то уютно: чуть – жутко; чуть – сиверко: Киерко – сиверко: «Э с», «Э р»; да – да: се-се-сер. Он щипал бороденку, – такой узкоглазый, совсем светло-серенький, – в вырезе светлом оконном, откуда порою бросал только реплики:

– Э, – дешевень!..

– Нуте, – смерти бояться, – на свете не жить.

– Иностранными – нуте – словами не жарьте.

Бросал поговорочки, дзекая, как белорусс: мелочишки, штрихишки в наляпанной быстро картине являли прогноз: непреложный; казалось, что суетун – глубоконек.

Сидела задумой внимательной.

Киерко!

6

Все расходились.

Он, выхватив свой чубучок, очень резко приблизился, точно боялся с Лизашею встретиться; точно за то, что она

претерпела, – реванш его ждал от нее; посмотрели они друг на друга: бровь в бровь; и – глаз в глаз; она – встретила тихо, с большим любопытством.

– Товарищ Харитова мне говорила о вас; нуте, – книжечки я передал. Зауютит дымочком и фразой всячей: смешно, жутковато; и – «киерко».

– Нуте, – читали?

Она отвечала лишь вздергом плеча: распустив свою юбку, из глаз сделал жмурики, села пред ним на диванчике, – ножки калачиком.

– Надо б!

Устроил дымарь.

Эвихкайтен вошла; и, задергав плечом, вынул трубочку:

– Вы уж простите меня: старый дымник!..

Лизаша подумала:

– Он же – не стар.

И вторично подумала:

– Что ж это я, – о нем думаю.

Вдруг потянулась к нему папироской своей:

– Закурю уж и я.

Тут невольно заметились Киерке: синие жилочки вспухли на ручках; закрыв свои глазки, пустила дымок: лед был сломан.

Мадам Эвихкайтен, подмазав губу, подсурмив свои брови, – ушла; и Лизаша глядела на небо в окошке; там, где – голубое, все – синее, темное: глуботина, глубина, бездна, про-

пасть; да, небо – расколото: «богушкой» называла она задушителя жизни.

Дымок облетающий стлался волокнами.

– Нуте, – верьте: то все – забытное!

И вертко прошелся он, по́хнувши трубочкой; но – забеле-
ла в ответ:

– Нет, оставьте: не напоминайте!

Глаза ее, мутные вытараски, разбежались в фигуры обой
светло-синих.

– Вы славная, все же, девчурка!

Она на него просияла так жалобно.

– Нуте, – отец ваш гадыш; вы в «Эстетике» были в сердцах
на меня: ну и – что ж? Сами поняли!

Вытянув шею, стрельнула дымочком.

– Вас строй буржуазный зашиб!

Дернул лысинкой – вкривь:

– Мне Анкашин Иван говорил.

– Кто?

– Анкашин, который у вас чистил трубы.

Припомнила свой разговор прошлой осенью – с водопро-
водчиком о царстве в «там» («Сицилисточка, милая барыш-
ня, вы»); стала бысто вертеть папироской, любуясь спираль-
ною огненной; он, заложив свои пальцы за вырез жилета, о
вырез жилета бил пальцем.

– Анкашин в контакте с Дергушиным был это время; ну
– вот.

Дернул лысинкой – вкривь: моложаво и лихо.

– Я – все о вас знаю.

И вдруг безотчетным душистым лучом – через все – осветила улыбкою Киерко.

– Благодарю!

– Нуте, – вас сведу к нашим: все – бойкий народ!

И под веко зрачок укатнул: поглядел на нее лишь белком; точно глазом, ушедшим в сознание, ее уносил он в сознание; мерцала глазами в открытые бельма; моргнул ей: глазенок, глазок, глаз, глазище!

И снова – глазенок.

– Ну – так: мне – пора.

Цепенела за думой, – с открывшимся ротиком.

.....

Узкобородый, весь серенький, верхоширокую шляпу надел, завертев двумя пальцами тросточку; дверь за собою захлопнул: бабац!

День – не день: варовик; мимоходы: многонько людей; и зрачок, как сверчок, заскакал под подтянутым сереньким небом; бежал переулками; пьяница, мимо идущий, стыдясь, – снял шляпу.

– Ведь вот, Николай Николаевич, – в виде каком!

Его – хлоп по плечу:

– Ты – свищи, брат, пока тебе свищется; а перестанешь свистунить, – вали: дам книжонку!

И – мимо.

С собрания шел на собрание; был человечек он свальный; где свала людская – там он; или – где-нибудь рядом: сверчит, свиристит и цурюкает, похая трубочкой; и – добывается правды.

Морели прохожие; как-то не верилось: осенью этой опять гимназист подремнится, упряжится, взвесит свой ранец и с ранцем по улице пустится; синей фуражкой студент запестрит; провинция бросится валом хорошеньких барышень: курсы – Алферова, высшие, педагогические; в своем доме на Малой Полянке купчиха Арбузова снова утонет в перине.

И – нет!

Будет – плакать по сыне, который в мазурском болоте – погибнет; все барышни корпий защепают; студент – зашагает с ружьем.

7

Восхищалась Лизаша – Маратом; всех ближе ей стал Робеспьер; укрепилось стремление: мстить; возродилась для мести; достаточный выпрыг из старого мира уже испытала она, чтобы ясно сознать: этот мир пора – рушить; скорее ж схватить красный флаг.

– Да потише же, – будет ужо: погодите вы, – нуте ж; попохаем мы над Москвою не трубочным дымом, а – пушечным дымом...

– Когда это будет, – когда?

Про себя же решила: убьет генерала; потом – взяла выше: царя!

Эти мысли поведала Киерке.

– Нуте же вы, – анархизм-то оставьте: нужны планомерные действия масс.

Он вкатнул-таки мысли в нее, в ее мысли вмесился; Лизаша – поверила: держкое слово; на вещи имел светлый взгляд.

Перевез ее к Грокиной: ей не хотелось зависеть от бабы с галданом и с «нервом», толстейшим, которым стегала прислугу.

– У Грокиной будет вам проще; и все же – на воздухе!

Грокина летом в пристроечке дачного дома жила; самый дом, пустовавший, был каменный, кремовый, с черной железною крышей, с желтком лакфиолей на клумбах, с песочною усыпью передтеррасной дорожки, где бегала пеночка, малая пташечка; первое, что поразило: по проясню мчится стрелой прямолетная птица в вольготные воздуха.

Все-таки, – как хорошо!

Тут по лобику журкнул прощелком светящийся в воздухе жук.

В желтый, медистый вечер под запахом липовым все-то звенело кусающим зудом: драла, драла руки; и – ножки: драла-драла – в кровь!

.....

Молчаливая Грокина, ум дидактический, Киерко, видом своим игнорировал ее горе; и не докучал ей вздохами, делая

вид, что разъезд ее чувств – дело плевое:

– Глубокомыслие нервов есть кожная, нуте, – поверхность: вы – мыслите, вольте; а мистику – бросьте.

Сломал ей двуветку; и – подал; звенело из воздуха; «шлеп» – комар: «шлеп»!

Разонравилась мистика: вот уж казалась себе «глубе-ни-кою» в доме Мандро; «он» – увидел во всем лишь «клубнику»; а Киерко ясно открыл ей глаза; незаметно диктовщиком сложных процессов сознания, в ней протекавших, он стал; можно было подумать, что – женоугодник; когда появлялся, как будто светины устраивал; мутный, болезненный взгляд прояснялся ее.

Раз зашел Переулкин; повел их гулять; и земля под ногой залужела; и пахло какою-то терпкою горечью (голыми ножками – как хорошо пробежать!). Переулкин присел под ракитный ивняк бережков, над студеную и живортутной водицею (день ее ртутил).

– Здесь с неводом, что ли, пройтись бы, да – рыбу сакнуть!

Как увидит где струечку, лужицу, – сядет на корточки, руки под боки; и – думает: есть ли здесь окуни, есть ли плотва; поглядишь: и – зарыл червячков; с ним Лизаша ходила на прудик: сидела над удочкой: «шлеп» – комар: «шлеп»!

.....

Николай Николаевич Киерко раз увел в поле: про экономический фактор развития ей проповедовать:

– Массы...

– Карл Маркс говорит!..

Из лазоревых далей навстречу им золото-хохлый бежал жеребенок.

– Смотрите-ка, – остановила.

И – видели; вот на лазоревом – состренный черч изрыжев-шего резко трижердя; меж двух безызлистных жердинок – серебряный изблиск живой паутиночки; выше – два листика: передрожали как в воздухе:

– Как хорошо!

Говорили.

Ясней открывалась картина ее проживания в доме Мандро; этот «дом» и есть класс, придавивший, измучивший – в ней человека; «русалочка» – классовый выродок; выбеги к Солнцу из дома Мандро оказались стремленьем к внеклассовой жизни; и – знала теперь: через все – человечество катится к Солнцу.

– Конечно же, нуте, – то есть социализм... Кампанеллу-то все же оставьте: и птичьего там молока не ищите.

И Киеркин малый глазенек стал – глаз: стал – глазище (всего лишь на миг); и – присел: в переплеске ресниц; и заря загоралася; перелиловилась пашня; на ней бурячок-мужичонок в раздранной сермяге, надевши зипун, зубил плугом лиловые земли; виднелась вдали редкосевная рожь, синевой васильков.

И уж перепелилось над нивами.

.....

Киерко бережно стаскивал с переживаний Лизашиных мистику, точно змеиную шкурку (облекшую в ней социальный каркас); и в Лизаше проснулся – жизненьш: она – продренела, прокрепла лицом; что лицом подурнела, то – вздор; вся красивость-то – кожа (красивость мадам Эвихкайтен – не кожа, а кожная примазь); природа входила в нее; только вот – дурнота одолела; и – жаловалась:

– Надо, знаете, к доктору!

Были у доктора – с Грокиной; доктор сказал, что – беременна.

– Что же, – пусть так!

.....

Вечерами сидела она под окошками; тучами – полнилось: мблнилось; вспыхивал – сумерок; в окнах бушуют брбсени листьев и заблесты лунного света; и веяло в сад – васильковой нивою.

8

– Как быть с открытием?

Ошеломленье напало.

Профессор вздыбал свои космы; бумаги его – под угрозой: открытие ищут «они». Кто? Мандро – «их» агент. Развернув однажды газету, – прочел он в газете: Мандро, оказавшись германским шпионом, – исчез; стало быть: миновала угроза; но только на время; коль узнана сила открытия, в

будущем – что его ждет?

Очернели ему его дни: нездоровилось, беременело все, нюнилось, нудилось.

– Как быть с открытием?

Так восклицалось и в ночи, и в дни.

Показалось ему, что в законе законов он встал вне закона: до срока; уж ищут его, незаконного; не защищает его государство; и хаос, как фактор развития, – действует.

Черт знает что!

Меч войны подымался; мелькнуло, как мимо, уже: ультиматум, предъявленный Австрией, гром нараставших событий, обмен телеграмм императоров; меч – нависал; не об этом мече думал он.

И вздурел от жары, тосковал, нелюдился, бессмыслил; с задоришком все приставал к муравьям, им таскал дохлых мушек, жучишек; а то с головою, зашлепнутой в спину, бесцельничал глазом по далям; ершился в аллеях.

Ершился в полях.

Жара жа́хала страхом; деревья стояли, покрытые дымкою; воздух стал – дымкой; сплошная двусмысленность; липовый лист замусолился; червоточивый лист падал в лесной сухоман; мир золел, пепелея, томлением смертным.

Профессор топорщился в поле и нюхтил:

– Припахивает! Дело ясное!

Гарью несло: где-то торф загорелся; пылали леса.

Косоплечил; и шел: косоглядом.

Он думал: быть может, летение мира в пространстве – сплошная отравка; влетела вселенная в облако пыли космической, черт подери, представляющей яд; и гвоздила упорная мысль, что недаром в кометном хвосте, чрез который прошли мы, открыли циан; он теперь, прососавшись из верхних слоев атмосферы, нас травит; и каждый наш вдох есть отравка, влекущая перерождение мозга и сдвиги сознания; неизгладимая выбоина: будто ходишь с дырой в голове.

Ненароком хватался за темя: есть темя!

А кажется – нет.

И, вздурев от жары, он бездельничал взглядом: кого-то выискивал.

Это смутнение воздуха мысли его угнетало; на мысли – какая-то дымка; она, уплотняясь, давала в феномене зрения вы́полотень свой, точно контур; вполне несомненно, что контур, ходивший за ним, тоже вы́полотень этот, кометой рожденный: в отравленном мозге.

Дрогливо оглядывался.

Кто-то в тусклом мерцании зарниц рисовался опять на дороге: гиеною, не́менем крался из поля – к стогам; и профессор бежал на него; но он в сторону свиливал; и приседал: ненавистничать взглядом, за сено.

Профессор кидался за сено, а «он» – исчезал.

Всюду в мути лесного пожара открылись глаза; в кустах, между скважин бесчисленных – листьев бесчисленных, – всюду глазье, как репье.

И за ним кто-то стал ненавистничать.

Кто-то, – быть может, закон тяготенья, к которому так же привыкли, как к карте обеих Америк, забывши, что прежде Америки не было: был материк Атлантиды. К тяготам сознания, сопровождаемым проступью контура в мутях, – привык; появлялся «какой-то» из мути; и – звал: на луну, на дорогу.

Профессор, подперши рукою очки, выбегал катышом на террасу, – к ракитнику, и, суетливой рукою раздвигая ответвины, видел – ничто: только лепет ракитника в ночь.

И луна открывалась из туч, ночь светла, как бел-день.

9

Вот однажды, заправивши лампу, гибел над бумагой, мохры дедерюча.

Был прежде слепцом он; не видел себя – в обстояньи, в котором он жил и работал; и кто-то ему, сделав брение, очи открыл, – на себя самого, на открытие; видел, что в данном обстояньи жизни оно принесет только гибель:

– Как все диковато.

Поправив подтяжку, уставился глазом в окно: перечернь; подшущукнуло там чернотволое дерево; чертоваком страннела двусмысленность.

Кто-то – стоял.

Стало ясно ему, что с открытием надо покончить; и он –

уничтожит его; тут себя он почувствовал преданным смерти; возьмите, судите! Пусть сбудется.

Сон свой припомнил о том, как его заушали и били за истину; и зашептался:

– Пусть сбудется!

Тяжко вздыхая, решил он немедленно ехать в Москву, чтобы там, рассмотревши бумаги, предать их сожжению; следы уничтожить; в бумагах московских – весь ход вычислений (итог вычислений, открытие собственно, было зашито в жилете; его он решил уничтожить с бумагами вместе).

И тут, впавши в скорбь, всю ночь охал.

.....

Надюше с утра заявил:

– Я – в Москву.

– Что вы, папочка!..

– Да-с, у кассира Недешева, – жалованье получить; и в правлении дело с Матвеем Матвеевичем: с Кезельманом...

Сидел перед ней за обедом, себя вопрошая, себе отвечая, нос бросив с прискорбием:

– Если бы царство науки настало, служители наши за нас подвизались бы.

– Что вы? Какие служители!

Думала, что – педаля.

– Но оно – не от мира.

– Вы, папочка, милый, царите в науке.

Ее оборвал:

– Это – ты говоришь... Дело ясное: не нахожу на себе никакой я вины.

– Кто же вас обвиняет? И – в чем?

Он же с горечью встал от стола, строя сутормы.

.....

С кряхтом облекся в крылатку; перчатки натягивал; стал чернолапым; взял – зонт, котелок свой проломленный; через плечо, точно крест, он надел саквояж и большой, и пустой (в нем катался один карандаш); он стал на террасе; стащив с головы котелок, посмотрел на него; вновь надел, – горько тронулся: в сопровождении Наденьки.

Шел уничтожить бумаги, смертельно скорбя; у калитки почувствовал, что – на черте роковой он колеблется духом; жены при нем не было; не было сына.

Они его бросили.

А ученик, им любимый, Бермечко, отсутствовал, посланный в Лейпциг: учиться.

Бежала дорога на станцию – в желтень и в муть; был исчерчен тончайшей игрой черкушков, как из туши.

Сказал, обращаясь к себе он:

– Жестокое время наступит, когда убивающий будет кричать, что он истине служит; припомни: я – сказывал.

И посмотрел на часы:

– Ну-с, – пора, в корне взять.

И, взглянув на Надюшу, вздохнул, – чернобрюхий такой, чернокрылый; в пустом саквояже катался, гремя, карандаш;

саквояж был огромен (подпрыгивал на животе); показалось лицо – великаньим; его провожали глаза; вдруг стало ей жутко за папочку: пес не куснул бы, трамвай не наехал бы.

Он выяснялся из мути, едва прорыжев бороною: окрасился только что.

Жоги носились в небе; дичели окрестности выжарю злаков медяных; из далей мутнело сжелтенье: Москва семихолмною там растарашей сидела на корточках, точно паук семиногий, готовый подпрыгнуть под облако.

Блякали в пыль колокольца.

.....

Он с вымашкой шел.

На дороге приметил рыдающего черноглазого мальчика.

– Что с тобой, в корне взять?

Мальчик рыдал безутешно:

– Боюсь я его!

– Ты скажи, брат, кого?

Мальчик пырнул с дороги, да – в поле: там, сгаркнувши, сгинул.

Дичели окрестности.

Из вымутнявшейся желчени, – серо-зеленое образование виделось: в крапинах черных; несло из тумана в туман; и едва выяснялися ноги; оно – приближалось.

Оно очертилось.

Стоял силуэт, головою уткнувшийся в пледик, проветренный носом из складок; рукой отогнул поля шляпы, закрывшей седины, он, молния под шляпой, зашлепнувшей плечи, очковыми черными стеклами, – в серо-зеленой, прокрапленной черными точками паре, расцветенной жёлчью заплат (точно шкура проблеклого змея); профессор приблизился: старец.

Он ежился дергко.

Сломались морщины подсосанной очень щеки; точно ржавленный нож прикоснулся к точильному камню:

– Осмелюсь спросить.

– ?

– Эта тропка – на станцию Хмарь?

– Дело ясное.

Старчище – странный!

Такой долгорылый; картинно откланялся шляпою, напоминающей зонтик; а зелено-серый и клетчатый плед обвисал над рукою: густой бахромою.

Уткнувшись в плед и дубину зажавши в руке, стал он рядом прихрамывать.

Падалищная ворона – кричала; зияли белявые земли из исцветов трав: краснозлаки и бронзы, и меди: метлицы,

стрюочки, овесец, коробочки; пень суковатый – кривулина;
хмарное все – быть дождю!

Старец с робким искательным видом хотел что-то выразить:

– Парит...

Профессор на старца тарашился:

– Да...

Не то – старчище, ветхий деньми, не то – вешалка с ветошью; губы под носом упали, как в яму: безусый! Престранен был торч бороды, вдвое больше козлиной и белой; такие же белые, гладко лежащие кудри покрыли плечо из-под шляпы: прилипли к щеке.

Его голос не слушался:

– Видите сами, – раздевом хожу.

И он вздернул разорванный локоть:

– Меня перемочит.

Сказал это с юмором; жескли в очках его злость и суровость.

Деревья шли – впрорядь; вон там – глинокáпня; вон там – глиновальня: заводец гончарный; и пылом повеяло:

– Вара какая!..

Сухим, серо-синим туманом подернулись сосенки.

Старец сказал:

– Я – шатун.

И глазами просил пощадить:

– Подработка ишу я.

Профессор оглядывал спутника: великорослый и великоногий!

«Тар а х-тарахт а х» – жеганул по кустам бекасинником кто-то.

И – станция.

11

Двадцать минут еще; с края платформы забился крылом своим черным в поля, вздувши пузик, прижав чернолапой рукою свой зонт. И за ним столбенел на платформе замотанный пледом старик, в воздух выставив, все бы сказали, не бороду – просто какой-то скелет бороды, – длинногривый, такой долгорукий:

– Гроза собирается!

– Что ж?

Тут старик рассмеялся и стал черноротым:

– А то, – кропотались беспомощно пальцы, – что мне ночевать-то – и негде.

– Как негде?

– Так, – негде, – и вглядился взором. – Уехали с дачи... Сказали, что – в Питер, – путляво сбивался, – вернутся в Москву только завтра: а я к ним поехал в расчете застать... Куда ж денусь? Пять дней я в дороге.

– Ну?

– Да, повторяю, – промокну, – поежился он, точно был

под дождем уже, – деться-то – некуда.

И разбежался глазами под черным стеклом.

– А гостиницы?

Странный вопрос!

– Посмотрите на этот билет, – показал из-под пледа билет, – за него заплатил я последние тридцать копеек, а вы говорите!

В глазах у профессора – недоумение и потерянье стояли:

– Знакомые есть же у вас?

– Кроме тех, о которых сказал, – никаких.

– Как же, батюшка, вы, – удивился профессор, оглядывая с головы и до ног, – где же ваша дорожная сумочка?

– Нет такой – нет.

– А багаж?

– Эх сказали, – «багаж»; нет такого!

– Как так?

– А вот так вот, – изволите видеть: плед, палка!..

Профессор, сорвав котелок, посмотрел на него, вновь надел, ничего не прибавил, пошел по платформе; его карандашик катался в пустом саквояже, повешенном через плечо: чемодан (сбился с боку и лег на живот). Он одною рукою его охватил; и оглядывал желтые дали, как будто желая вполне отмахнуться от слышанного:

– В корне взять, – диковатый денек!

В атмосфере – жарня, желчина; убегало туда полотно – в ряды ив; вдруг – оттуда гуднуло: «тохтбханье» слышалось,

близилось; и – прострельнула струя дымовая из ив; вот и выпыхнул ясно стреляющий центрик (огонь зажгли рано); и – черненький поезд прямою змеей, не смыкающей кольца, – глиссадой понесся; раздался размером и грохотом, явно распавшись на кубы вагонов; вот кто-то невидимый пред налетающим пыхом и пылами рельсою дзанкнул; и – рельсой сигнул; и за кем-то невидимым безостановочно перемелькали вагоны; упал на платформу почтовый пакет; и последний вагон подтарахнул особенно; можно сказать, – тенорком, припустившись за рядом вагонов, сжимавшихся быстро – размерами, грохотом; все собралось в убегающий черный квадрат, на котором ярчели (и сверху, и снизу) два красных фонарика (вечер еще начинался).

Профессор подумал, что кто-то, мотаясь железными стержнями, выпохнул бешено из-за зловещего центра кровавого пекла; работал там кто-то – из центра; и – вспомнилось, как говорили, когда он был юношей: души безбожников входят в машинное пекло по смерти – работать: в доменных печах, в паровозах:

– Ну – да-с: суеверие!

Но суеверие это – понравилось; ад, так сказать, – оказался в фантазии этой культурой труда, черт дери; он любил всякий труд; согласился бы он, если б кто-нибудь мог доказать бытие после смерти, пойти прямо в пекло; и силою жаркого пара, вращаясь в котле, – с убеждением и рвением отлучиться в небом положенный срок за тасканием поезда – ну,

там, Казанской дороги; так думая, мерно шагал по платформе; шагавший за ним по платформе старик выколачивал дробы губами под пледом.

Народ собирался; потели и злели – в желтине, в пылине; у всех были лица, как лица из желтого воску, готовые тут же растаять, отечь; кто-то в ветер чертакал отчетливо громко.

– Да, – быть урагану: а – туча-то, туча какая там.

Голову кверху профессор поднял, нос додравши до черных очков.

– А вы кто такой будете?

– Ну, да!

– Бывший помещик.

Лоб сжался крутою морщиной:

– Имение было под Пензой: семьсот десятин.

– Где ж оно?

– Э, – рассказывать длинно...

Тут сделал он вид, что ему остается: посыпав главу, – пасть: испрашиться:

– Грех... Все – размотано!..

– Как же вы, батенька?

– Люди, мыслете, там всякие фразы про наш, он, покой; а кончается – обыкновенно: ферт, херт; так и я: в офицерах служил; а теперь...

И подумалось:

– Все это он намекает на что-то. В толк взять, – не поймешь.

Старец вглядился взором нырливым:

– У вас – нет работишки?

– Нет!

– Я пошел бы в рабы за работу...

– Ну, что с вами сделаешь?

– Было бы сухо, – проспал и на сквере я...

Тут шевельнулось: старик – бывший барин; профессор, добрея лицом, стал похлопывать пузик рукою; и видно, – с манерой, с достоинством; вот положение!

– Слушайте!..

Снова прищурился: нет же, – не жулик, внушает доверие; как-то само собой с губ сорвалось:

– Я... бы мог предложить вам ночлег на сегодня!

А как же разборка бумаг, для которой он ехал в Москву?
И прислуга – в деревне; но – поздно.

– Так пустите?

Быстрым емкбм зажал руку: силач этот старец!

– Так пустите?

Блеском очки пристрелились искательно.

Эдакий жалкий: ведь – как отказать ему?

– Батюшка мой, – ну-с: мы с вами ночуем сегодня!

Ворчал про себя:

– Пригласил – делать нечего.

Ткнулся глазками: лоб – крепкий; очки – непреклонные: что-то надменное, даже жестокое в нем; а стоит – с нарочито пониженным видом; и точно для вида трясется: подметное

что-то. А старец плеснувшийся пледом, как крыльями, – вороном белым казался; вот голову – вытянет; рот – разорвет, каркнув громко: в окрестности!

.....

Поезд поднесся.

И бросились – впо́дперепóд; кто – узлом; кто – корзиной: на поезд; рукой чернопалой всчеркнув, точно росчерк под подписью вычертив, – бросился с прочими; старец – подсаживал и раболепство выказывал; вганиванье в третий класс утомило; друг к другу в проходе прижало; они запыхтели друг с другом; казалось, что также когда-то уже пропыхтели; и – будут пыхтеть.

12

Протолкались в прóтедь вагона; стояла – жарынь; клубы пыли; означилось много мешков желтобрюхих; все – наполнилось; все – барабанило; все – проседало в пылях; на узлах и на шапках – просéдина белая, точно мука; из нее выжелтялись лица; оконный протер запылвился мгновенно; рванулось с тарактом; рванулись все спины; и старец, рванувшись, сжал руку емкóм – очень больно.

– Простите, – развинченный я.

Они сели кой-как; и друг с другом потискались:

– Блохи!

Профессор вдруг стал почесулей; но – думалось:

– Что это он представляется?

Шло языков развязанье; и – затарахтели; пошли колоколотить; всем в уши забило настойчивым трахтом; профессор сидел потеряем таким; было вовсе не весело:

– Как это вы?

– Доплясался до эдакой жизни? – С пощёлком ответил –

Так: просто!

Профессор подумал:

– Раскаянья нет!

Старей, будто поняв его мысль, сделал вид, что он съежился; заговорил с неприятным таким поджевком:

– Нас грехи, – задел локтем, – доводят до бездны; за мною водился, – и локтем, – грешок: я был пьяница, видите.

– Странное видите, – думал профессор; задевы локтями опять-таки, – да: беспокоили...

– Эдакий, право, зазнайшко!

– Все ж нет греха хуже бедности, – кто-то из сумрака вытянул зелено-сизый свой нос.

С каждой станции – ввалка людей, искаженных и жаром, и пылью.

– А чем же вы, батенька мой, занимались – потом: род занятий, ремесл?

– Ремесло, говорите вы, – э, да пропойное.

– Все-таки, – думалось, – бессодержательный старец какой!

Разболтался, а в мыслях – разбродица.

Что-то в манерах его жадноватое было.

– Да, – каждый из нас есть живой пример суетности; так и я: офицерская, знаете, жизнь; ну, – пошли пустяки, забобны: бомбóшки, безе (и там – далее), – что! Забубенщина! – губы поджались с грязью очевидною, – дамочки, девочки!

– Это же, черт подери, дерзословие, – думал профессор.

– Коньяк – забыгущее зелье: манером таким изполка-то и – «фить»! Пробулдыжничал жизнь, – извините; примите таким, каков есмь; Мардоне́йский, помещик, на старости лет – стал Морданом, как видите!

Тут же прибавил:

– По этому поводу должен сказать: еще очень недавно меня называли: дедюся, дед ё н очек, иль – деду-г а́ н; а по пьянству нажил себе морду – вот эту вот, – он показал, – стал Мордан: дед Мордан! Грехотворник! Что? А?

С грязноватым лицом, исходящим жестокою силою блеска двух черных, суровых очков, хохотал он искусственным смехом, с искусственной удалью пальцем прищелкивал, напоминая К. С. Станиславского, великолепно сыгравшего роль забулдыги.

И прели, и жались друг к другу; за окнами ветер желтил горизонтами: порохи, прахи и пóрхи. Сквозь рамы оконные дуло просейкой пылей.

– Я, простите меня, – дымокур: вы – позволите?

– Сделайте милость!

И думал:

– Да, в каждом движении пальца грешок выпирает.

Заметил на пальце финифтевый перстень.

– Спасибо!

Мордан же поднес к папироске ладонь; и очки в густом облаке дыма просели; из облака дыма – явились вторично.

– Бывало, – «ура, дед Мордан», да – «ура, дед Мордан». Так и вы называйте, пожалуйста, – так же: «Ура, дед Мордан!»

Ногу в серо-зеленой штанине закинул на ногу; за ногу схватился костлявыми пальцами; и закачался, трясясь бородой над коленями, загиркотал:

– Кхи-кха-кхо!

Закривился беззубый не рот, а какая-то черная пасть: точно ножик пошаркивал жестко о камень точильный; и сыпались отблесков искры из черных, стеклянных кругов.

Из угла раздалось, очевидно, по адресу деда Мордана:

– Он, братец ты мой, по брадам – Авраам; а по слову-то – хам!

Тут Мордан спохватился:

– Смемелил излишне!..

Профессор подумывал: под благовидным предлогом откажется он принимать двороворода какого-то в дом свой.

За окнами – пустошь, разглушье; потом пошли дачи – коричневые и коричнево-желтые; шли палисадники с реденькой зеленью; вот – остановка; и – новая вдавка в вагоны прожелклых людей; кто – с корзиной; кто – с серым кулем; бо-

рода светло-сивая тыкалась в окна:

– Здесь занято, дяденька!

С ней черноглазенький мальчик косился и злобно, и хмуро из окон.

Поехали; над перевальчатой местностью шел переклик расстояний; свихрялися дали пылищами; в этих пылищах вставали фабричные трубы; хотелось: сгаснуть, исчезнуть, не быть; придремнулось; казалось, – не придремнулось, а жизнь придремнулась; и тотчас же клюнулось носом; очнулся: Мордан сидел рядом – такой прохудалый, изъеденный тенью; он остро взглянул, сделав вид, что проснулся:

– Простите, – в дороге-то я ведь пять суток!

И тихо добавил, оглядываясь, чтоб его не подслушали:

– Вы, Христа ради, простите, и... и... не гоните.

Ну, – как отказать!

Дед Мордан, проседая из тени, как вешалка с ветошью, виделся лишь бахромою зеленой, свисающей с пледа, которую затеребили изысканнотонкие пальцы, метаясь под нею; грязнело в окне: просерело; Москва, растараща, на них наплывала: вагонами, трубами, целым кварталом: Рогожской заставой; уже забеспутили улицы; лупленный абрис сквозной колокольни (барокко) – прошел; он услышал над ухом взволнованный шепот:

– Бездомному, – вы... вы... – дадите приют?

Этот взгляд не казался уже таким дурным: хватались руки, дрожа, друг за друга, терзая друг друга, хрустящими пальца-

ми: стало – невесело; толк: и – Москва. Картузы и кули под-
нялись; выпирались; чертиха какая-то, видно, торговка, уже
колотила бидоном кого-то в загривок:

– Да ну, – не задерживай: черт!

На платформе – разбеглый народ; розваль ящиков и че-
моданов, бега, перебранка:

– Ей!

Номер двадцатый вlepился в глаза, белый фартук, но-
сильщик; и вдруг – размежеье толпы: чемоданы проехали.

13

В лоб, как прошел на подъезд, – шибануло: простер-
лось руками; оскалилось желтыми лицами, точно имбирь,
из плеснувшего желтыми массами города: дьяволы, ставши
толпой под подъезд в черных лаковых шапках, в изношен-
ных, в вытертых, синих халатах, опоясанных вытертыми по-
ясами кровавого цвета, пролаяв, распахивались и запахива-
лись возбужденно полами, хватая профессора.

Рвали; и – тыкались под нос блестящими бляхами.

– Да отпустите его!

Дед Мордан отбивал.

.....

– Не его, но Варр...

– Варвар...

– Распни!

Так слагалось из криков.

.....

Кричали ж:

– Вали!..

– Далеко!..

– На Варварку!..

– Раз... два!..

– Пни его!..

Покрывало все:

– Барин, – со мной!..

– Со мной!

– Барин!..

– Бар... бар...

– Варварка...

Извозчики!

.....

Пыль завивалась на площади странно безглавыми и змееногими стаями: пырскать в глаза; и едва проступали фасады, забредивши черными окнами над брехачевкой пролетов; не город, – жегучка: жеглб, где тягчели, жарели, от жара дурели дома; и дурели в них люди, черничником злым вырываясь на улицу.

Загромоздило телегами, бочками.

Желчь пескоцветного вечера перегорела и карилась; странно рыжая туча оттенками бронзы подвесилась низко.

Профессор с подъезда, весь черный, чихал, в пыль взвева-

ьясь, как ворон, крылами крылатки, – в проломленном, косо надетом, срыжевшем своем котелке, вздувши губы и ими почмокав; Мордан нагибался над ним, выделяясь – огромною зонтичной шляпой, зашлепнувшей плечи; которую мял он рукой, за нее ухватившись (чтоб ветер не сдергивал в пыль), ярко-белыми локонами, бороною, с плеча бахромою космящимся пледом.

Казалось: стоит на коленях гигант; под вторым этажом, коли встанет, очутится: шляпою!

Да, – голова на ногах: головак балаганный!

Так папье-машевую голову на человека наденут, да в эдаком виде и выведут, чтобы народу показывать.

Может, «Мордан» – голова приставная?

.....

Профессор с пошаткой бежал, волоча за собою Мордана, которого ноги в измятых штанинах зеленого цвета казались ломкими; в беге Мордан забегал и заглядывал прямо в глаза; спотыкаясь о тумбы, чрез них пересигивал он не по-дэдински; люди вдали проступали из пыли: сложением пыли; весь город стоял пылевой.

Надо всем нависала безгласая, страшная туча.

Засели в пролетку; подпрыгивать стали; подпрыгивал рядом Мордан; он приделался к боку, как прочно притертая пробка, – проблекнувший зеленью, чернью искрапан – на желтом на всем, – почерствелый, пожесклый, поддельный весь (кудри – приклеены, а борода – приставная), с огром-

ной, оранжевой палкой, которую крепко прижал он.

В разгласьи с собою профессор тащил за собою его:

– Как бы с ним развязаться?

Так глаз разбеганье не нравилось.

Ветер пустился вдогонку забоями пыли, врываясь в гадкую, затхлую улицу, крытую ржой, где с угла выяснялись карнизы над синим забориком лепкой кисельного цвета.

Душненье, гременье, жарня, гоготня, злопыханье асфальтовой каши; стал саечник потный с лотком; в смеси запахов рыбы, испарины, пудры прошла краснокрылая тальма, которую звали с угла – «пойдем в баню!» —

– под рыже-зеленое небо, где крыша уж грохнула в ветер, а тучи пошли вверх тормашками, где растарачился дом дикодырым окном, из которого глянуло серое, мертвое тело на гибнущий город, —

– Москву!

14

Подъезжая к углу Табачихинского переулка, заметили: выступил, точно загокал кто хохотом, ржавочный, красно-железистый отблеск; и рыжие бронзы взоржали на небе: в щелке зари; это – солнце сказало последнее слово свое; с тротуаров затыкались пальцы под небо:

– Смотрите!

Над ними валилися зámертво там – слой за слоем – стоя-

лые ужасы, чтоб оборваться громами, захлест косохлестить тяжелою градиной величиною с яйцо: будут ужасы! Да, – под кровавым ударом Москва, как ударит мечом красно-ярая молнья.

Сворот – в Табачихинский!

– Тпру!

– Что такое?

– Скопление.

– Скандал, или...

– Видно, пожарище!

Бросивши плату, профессор – с извозчика: в толоко тел; и за ним дед Мордан; взворкотался ребеночек: взлаял большой барабан: —

– джирбамбан!

.....

Из Китайского дома в Кривой переулок, к квартире Коробкина шествие; бред попросился быть в быль!

Кавалькас, Людвиг Августович, – карличиска по прозвищу «Яша» – в оранжевом, ярком жилете, в картузике, в белых манжетках, торчащих из черненькой новенькой пары, – торжественно шел впереди, вздернув шест, как хоругвь, с ярко-желтым плакатом; на нем – ярко-черные буквищи: вскрикой: «Спасая, – спасайтесь!».

А перед карлом горбищами зада подкидывал с видом надменным портной Вишняков, поворачивая свою «ижицу с ухами» – вправо и влево; большой барабан нацепивши на

шею свою, с явным кряхтом тащил барабанище, щеки надув пузырем; свою левую руку с литаврою блещущей вскидывал в воздух он; правой сжимая короткую палку с помпоном, ей бил, что есть мочи, в прожёлклую кожу, отчетливо строясь из рыжего фона небес серо-грифельным цветом истасканной пары.

Он лаял большим барабаном.

За ним (руки с желтою палкой – в карман!), в мужской куртке, в зеленых штанах и в зеленой полями заломленной шляпе шагала княжна забасив, точно козлище:

Господи, мя не отверзи!
В душемучительной мерзи —
Червь, древоточец могил —
Прежде я, пакостя, жил!

И за нею, подхватывая тот неистово дикий мотив, выступали: веприхой – старуха, и скромного вида чиновник казенной палаты, без шапки, линялый какой-то, со взлизины пототирающий: можно заметить, – уроды природы.

За ними валила толпа – с подворотен и с дворишков воньких; и кто-то подтягивал визгло, – таким скрипокантиком:

Став на прямые дороги,
Как бы на чертовы роги
Не напороться бы мне!
Сердце очищу в огне!

Барабан, дурандан, разломался огромным бамбаном под небо; и все продолжали выскакивать и из открытых окошек высовывать головы.

Сшедши из выпренней выси.

Господи, мысли возвыси:

Ясно играющий рай —

Нам, негодьям, подай!

– Вося!

– Ах, – матушки!

– Вося, – негодники!

– Про негодяйства рассказывать будут свои...

– Что ж полиция смотрит?

– Молчи!

– Будут средства показывать: что от чего!

– Стало, – лекари?

– Вылечат, – как же: у карлы-то нос, поди, – где? Ась? Не вырос!

– Дуреха: носы не растут, как грибы!

– Коли знали бы средства, так выросли б!

В облако суетных пылей

На животы наши вылей

Над вертепíжиной злой —

Свет невещественный свой.

- Говоришь, что от носа?
- Чего еще!
- От животов они лечат.
- Княжна-то, – поет про свое, не про ихнее.
- Значит, – француженка: «жю» да «зиду»!

И действительно: ритм разбивая и этим фальшивость выказывая, в общий хор совершенно отчетливо врезалось:

Же ремéде си дý, —
Кéре дэ Жэзю⁴⁴.

Не к квартире профессора шли: завернули на двор, что напротив, и расположились как раз перед желтеньким домом; за ними кривился сараечник ветхий с промшелой, ожелченной мохами крышей, с промшелым забориком, с прелюю кучей, где мусоры розовые, или серо-синявые, – гнилью цвели: вся трухлявая гнилость кричала из черно-зеленого крапа предметов на желтом на всем, – выпирающей ржаво-оранжевой рыжью.

Стоял вымыватель помой, рот разиня; из фортки карюзликом ржавеньким глядел Грибиков; ярко Романыч рыжел своей рожей зырянскою.

Старец во вретище грубом
Вот уже ставит под дубом

⁴⁴ Я вылечил так нежно сердце Жэзю (*фр.*).

Светом наполненный крин.

Дуб – старолетний: Мамврин!

Кавалькас кричал красным жилетом; лицом протухающим явно отсвечивал в прázелень; ярко-зеленой штаниной кричала княжна; Вишняков зажелтел, как имбирь; механически как-то профессор со всеми на дворик затиснулся; но Вишнякова узнал, вспомнив все про письмо; захотелось, продравшись через толпу, разузнать поподробней, кто – автор; поэтому он и затиснулся; можно бы было спросить откровенно: да – стачище, пледом закутавшись, зеленогорбый какой-то, под черною выгнутой шляпой стоял за спиною его, прижимая дубину к груди.

Он нашептывал:

– Коли погоните, буду шататься замокою!

Вдруг показалось профессору, что Вишняковым он узнан; ему подмигнуло значительно очень портновское око с синяво-сереющей кучи взопрелого мусора:

В этой раскинутой куще

Нас посетит вездесущий.

Тáртартарары! Гром: и песнь – рухнула; без продолженья; кидалась седая старуха космой: на кого-то:

– Была проституткою я: а теперь я – спасаюсь!

Линявый чиновник казенной палаты ветшел рядом с нею.

Излаялся вдруг барабан:

– Джам!

Взблеснула литавра:

– Бамбан!

Задубасила палка с помпоном.

Тогда Кавалькас исступленно воспятил глаза и воспятил худую, изжёлкшую руку под меркшее все; его шест колыхался полóтницей желтым; и – черною вскрикою.

– Я, Кавалькас, Людвиг Августович; я – был с носом: показывался из-за роста в берлинском паноптикуме; я – был с носом: остался – без носа.

– Лишил меня носа Господь!..

– Ноя – радость нашел.

– И как сказано: коли десница тебя соблазняет, ее – отсеки...

– Коли око в соблазн тебя вводит, то – вырви...

От тучи все серое зазеленилось мертвеющим óтсветом в лицах; и в лиц выраженьи стоял мертвый страх.

Озорник отыскался; выкрикивал:

– Нос соблазнял, дескать: взял, да и вырвал!

– Ты ври, да не очень-то!..

Женщина – заголосила:

– Что ж, он проповедует носа лишение?

Грибиков – не удержался: и – вы́шипнул в фортку:

– Сам – вшонок, а как зазнается!

– За это и бить его!

Карлик с желтевшим плакатом, воздетым на палку, – свое:

– Сестры, братья!

– Хотя я без носа, однако я – жив!

Небо – надвое треснуло красным зигзагом; и тотчас, как пушечный выстрел, гром, молния – вместе!

Все – вприпуски тут!

15

Косохлест замочил подоконники; там горизонтище злел, – чернозубый: фабричные трубы – на желтом на всем!

Чуть не кланялся в пояс Мордан; и подумалось:

– Черт подери, – дограбастался все-таки он до квартиры!

Сам – вел; оставалось – одно:

– Э, ну, что там – входите!

Старик же во вспыхе лиловом глазами, укрытыми стеклами, – сжульничал; крыша листами железными грохнула в ветре.

И – гром!

.....

Черноногие стулья в передней стояли все так же; но точно чернильною тонкой штриховкой по желтому полю прошлись; меж прожёлченных контуров – скважины с льющимся немо потоком чернил, где сидели угрозы; испуги – выглядывали.

Странно: гиблемым выглядел собственный дом!

Прививаясь к профессору, вкрадчивым влазнем вошел

дед Мордан; он глядел волколисом; дручил своим видом (дручение это давно началось); охватили – безутолочи; забеспокоился что-то по комнатам дедушка; из-за углов страхованием веяло (в каждом углу из теней страховщик поглядывал, там сидевший).

«Щелк- щелк» – электричество вдруг осветило Мордана; он дылдил из тьмы коридора, и черную яму беззубо показывал, – вовсе не рот; «щелк- щелк- щелк» – электричество.

Все – село в темь.

Этот вбеглый старик беспокоил все более, напоминая профессору «тот» силуэт; он – всамделишный ли; или, или, – что «или»?

Вспых: пауза... гром!

Вся квартира стояла в чехлах несволóчных; затопали безупокбями комнаты; душненький припах стоял нафталина: безутолочи! Было видно в окне: косохлестило над забурьянившим двориком.

– Экий жердило!

Как будто пришел – окончательно с ним поселиться; и руки свои потирал, и вывертывал шею из груди, как мышшь озираясь.

Пройдяся вилявой походкой по темно-лиловой гостиной, он с видом нехитрым разглядывал долго гравюры; и даже – прочел под одною: «Laboraetora»:

– Эх, эх, что за деи и что за затеи!

Но адресовались взоры его не туда; и не то он разглядывал

вал.

Будто из-под занавески просунулся кто-то, знакомый по бредам, – сказать:

– А я – здесь: я – пришел!

– Помнишь, – ты убежал: отдохнуть без меня; и – забыл про меня; а я – ждал, а я – знал, что окончится все.

– Вот он – я!

Просел в тень: ведьмаком!

И – взмигнуло из-под занавески: лиловая молнья!

– Вот вы, – раздалось из угла, – вы, наверное, – вы звездочет-с: ну, скажите ж, какая звезда привела меня к вам!

Екотал нехорошим, почти оскорбительным смехом:

– Не скажете: не догадаетесь!

Что он такое плетет? Никакая звезда не вела: пришел – сам!

И сердило вгнетание странного взгляда, вгрызенье словами во что-то свое, подо плеченное: черт его знает!

16

Профессор пошел в кабинетик!

Коричнево-желтые там переплеты коричнево-желтого шкафа едва выступали под сумраком спущенных штор.

О, как странно!

Предметы стояли, выясниваясь из пятнисто-коричневых сумерок – желтыми пятнами, темными пятнами с подмесью

колеров строгих, багровых, но смазанных жёлчью и чёрною; казалось, что кто-то набросил на желтый, густой, чуть оранжевый фон сети пятен и желтых, и брысых, и черных, смешавшихся в желто-коричневый, просто коричневый, темно-коричневый, черно-коричневый цвет; эти пятна и плоскости странно жарели сквозь них выступающей, темной багровостью: точно на тухнувший жар набросали потухнувший пепел; и пепел – окрашивал.

Только в одном не коричневом месте сквозь сумерок выступил темно-багровый предмет; и он жег, как жегло...

Отогнул занавеску; за окнами – мир чернодырый; дождь – кончился; брысая русость предметов нахмурилась, засебробрысилась; черная черточка выступа дома напротив темнотную плоскостью стала; сливались все плоскости; в них уж открылись глазеночки вспыхнувших домиков; весь переулок – безлюдил.

Профессор уселся весь желклый и горький, из тьмы выясняясь халатом своим желто-серым: в упорстве – понять что-то странное; ухо подвыставил, – слушал: Мордан застучал сапожищами.

– Что это ходит он все?

Да и комнаты виделись – ясно: пещерными ходами.

Доисторический, мрачный период еще не осилен культурой, царя в подсознаны; культуры же – примази: поколупаешь, – отскочат, дыру обнаружив, откуда, взмахнув топорищами, выскочат, черт подери, допотопную шкурой обвисшие

люди: звериная жизнь, – невыдирная чаша, где стены квартиры, хотя б и профессорской, – в трещинах-с, в трещинах-с!

Выйдешь в столовую, а попадешь из нее – неизвестно куда, потому что квартиры, дав трещины, соединились в сплошной лабиринт, уводящий туда, где, взмахнув топорищами, крытые шкурами люди ценой дорогой защищают очаг допотопный; в отверстие входа пещерного валится мамонт; над всеми же, – туча: потопная!

Вспомнилось: есть ведь битка у него; стал битку он разыскивать: черт подери, – затерялась!

Да, люди, свои перепутав дома, натываются в собственных комнатах на неизвестные комнаты: ты вот пойдешь к Василисе Сергеевне в спальню, а – может быть, там обнаружатся брюки Никиты Васильевича; иль – полезешь в постель: Анна Павловна вылезет с мыком: где сбилися в кучи; а где – обнажились пустыши гулких квартирных сплетений где – комнаты, комнаты, комнаты, комнаты, где ты, – бежишь – бежишь: нет – никого; гулок шаг; бесконечность несется навстречу, из трещины черной; и сзади – она ж догоняет; из трещины – в трещину; лезет – навстречу, как мамонт; и вориком поймаемым из-за шкафов ухо выставит.

– Кто вы?

– Да так себе я.

– Как вы здесь очутились?

– Не знаю и сам.

Все наполнилось жутиями и марамброхом, поднятым

странной компанией, вставшей из трещины, точно из гроба, с плакатами желтыми:

– Мы, успокойтесь, – из трещины горизонтальной.

А что, если вылезут из вертикальной: из центра подземного.

.....

Скрипнула тут половица: Мордан, – из дверей!

Он в оранжевом вспыхе на миг лишь возник, показавши оранжево-красный раздутыш дубины; он кинулся, точно из мрака, во вспых – головой, бороною, кудрями, плечами и пледом; и отблеск стеклянных, очковых кругов переблэскивал; грозно откинутый лоб расходился, копяся, точно чёрвями, морщинами; в сумрак опять все просело; гром!

Старчище – грозный и скорбный; в руках его – силища, а вместо глаз – непреклонность.

– Вы что это?

Вышел из семерок, зеленоватый, взволнованный, и (нет, – представьте!) нахальный: над чем, черт дери, он смеялся?

Испуг охватил:

– Вы, послушайте, – стойте: вы что?

Подошел.

– Нет уж, – нет: вы подите себе посидеть!

И – молчал.

– Я, вы видите, в корне взять, здесь – у себя!

Он исчез.

Но профессор почувствовал, что ни о чем, кроме старца,

он думать не может:

– Сидит, – черт возьми, – не отправишь его!

Называл себя дедом; повадки не дедины; кто его веда-ет; да-с, страшновато; вдруг понял, – не «вато»: страш-ный-страшно!

Дверь коридора стояла открытой: и блéклые, черные тоны оттуда посыпались, как переблeклые, черные листья осин; перечёрнь прозияла, как будто из пола везде проросли вели-каны немые, сливаясь в сплошной черникан.

17

Он не мог успокоиться!

Крался из тьмы в тьму: подглядывать; видел: от всех чер-нобоких предметов рельефы остались одни, означаясь зигза-гами брысыми отблесков (от фонаря переулочного); истон-чалась линия этих зигзагов в сплошную черну; ночь, чер-нильный и вязкий поддон, огрубляла штриховку предметов; где линия виделась, – кляксилось черную; как будто худож-ник, мокавший в чернило протонченный кончик пера, из чернильницы вытянул муху на кончике этом; и ею промазал рисунок предметов.

И кто-то таился в углу, дхнуть не смея; и длинную вычер-тив ногу, задрягал ногою; в руке прорицающей – гиблое что-то означилось; прочее лишь прокосматилось кучей из тени; открыл портсигар; вспыхнув в ночь, окружил себя дымистым

облаком.

Странно взмигнуло безмордое что-то.

– Разоблачить, да и выгнать!

Как выгонишь!

Дворника, что ли, позвать!

Но при мысли подобной убился: за что же?

Мордан привскочил: заходил как-то дыбом; с угла до угла загремел сапожищем, на что-то решившись; и – сел, дхнуть не смея.

Профессор докрался до шкафчика, вытащил ключик от двери балконной; и мимо Мордана – бочком:

– Вы поставили б там самоварчик.

Сам – в садик.

Гроза – отступала; квадратец из зелени, сплошь обнесенный заборами, черной осиной шумел; он – к калитке; она – заперта; перелезть – мудрено (и при этом – железные зубья); хотелось крикнуть:

– На помощь!

И – пал на лицо свое: в думы о том, что – приблизилось что-то, что чаша – полна; шелестели осины об этом; он встал на скамейку; царапался пальцами о надзаборные зубья: кричал в темный дворик:

– Попакин!

Ответила – молчь.

Только стучал из комнат шаг крепкий, тяжелый: из кухни – в столовую.

Мраки воскликнули:

– Я!..

– Кто же?

– Дворничиха!

– Приведите Попакина, пусть, в корне взять, этой ночью

со мною на кухне он спит.

И откликнулись мраки:

– Он – пьян!

Осветилась столовая.

– Вы растолкайте его!

– Растолкаю!

– Теперь – спать не время!

И дальние мраки из мраков ответили:

– Будьте покойны!

Профессор опомнился: страх не имел оснований, ну, – старец пришел: попросился; а все остальное – фантазии; бодро прошел через открытые двери к себе на квартиру; Мордан его ждал; ну, – и пусть: ведь Попакин – придет; а Попакин – мужик с кулачищами!

Кто-то пустил его мимо себя, не скрываясь; и рожу соорил; хотя бы для вида прибе́днился добреньким, как на платформе, хотя бы сыграл прощельгу!

Нет, – делался чертом!

Попакин – не шел!

И не выдержав, по коридорику, бегом, расслышав отчетливо, как самовар заварганил на кухне, – по лестнице – в

верхнюю комнатку Нади (Попакина ждаль), где настала великая скорбь, какой не было от сотворения мира, о том, что, коль в эти минуты Попакин не явится, плоть – не спасется.

И – щупал свой пульс, вспоминая:

– Я странником был; и не приняли.

Принял; и что ж оказалось? Привел за собою он – труп: но где труп, там – орлы.

Кто-то вдавне знакомый пришел; видел, грудь – не застегнута; волос ее покрывал; он был черен, – не сед; и – обилен; жесточились дико бобрового цвета глаза; и – задергалось ухо:

– Ну, что же, профессор, – какая звезда привела меня к вам?

Пальцы сняли с губы точно пленку.

– Прошу вас оставить мой дом.

– Это – дудки.

И пальцы помазались:

– А?

И профессор от ужаса стал желтоглазый.

18

Портной Вишняков не мог спать.

Он, затепливши свечку, сидел на постели в подвальной каморке кирпичного дома, 12 (Второй Гнилозубов), – калачиком ножки и голову свесивши промежду рук; его тень на

стене закачалась горбом и ушами; докучливо мысли грызню поднимали в виске, точно мыши в буфете:

– Ни эдак, ни так: ни туды, ни сюды.

Обмозговывал: не выходило:

– Ни – вон, ни – в избу...

Не смущался он тем, что гроза помешала сказать, как, спасая, – спасаешься; все разъяснится; он думал о старом профессоре, слушавшем речи «спасателей» вместе с седым прощельюгою странного вида; он видел, – со всеми спасаясь от ливня: профессор в квартиру свою старца вел – с ним замкнуться; ненастоящее что-то подметил во всем том случае портной; вспомнив все, что ему рассказал Кавалькас, – о Мандро и о том, как поставлен он был в Телепухинский дом, надзирать за квартирой профессора, – вспомнив все то, взволновался.

Раздумывал, кем бы мог быть этот нищий, который ему не понравился; эдак и так он раскидывал: не выходило; по виду, как есть человек человеком, а все ж – никакого в нем облика не было; и выходило, что – не человек:

– Ни умом не понижешь, ни пальцем его не протычешь!

Чутью своему доверял Вишняков; и о людях имел мысли ясные он; а тут – нате: на думах он стал, как на вилах.

И вдруг, соскочивши с постели, – натягивать брюки.

– Да, мир – в суетах; человек – во грехах.

Кое-как нахлобучив картуз и на горб натащивши пальтишко, горбом завилял – в переулочек пустой; еще дождик

подкрапывал; и фонаречки мигали о том, что от них не светло и прискорбно; прошелся и раз, и другой под квартирой профессора; дверь – заперта; за окошком, глядящим в проулок, под спущенной шторой – свет; в подворотне – нет дворника; стал под окошком, кряхтя; подтянулся и глазом своим приложился, стараясь в прощелочек сбоку между подоконником и недоспущенной шторой увидеть, что есть. Под окном – в землю врос; и сперва ничего не увидел; потом он увидел: бумаг разворохи; слышалось сквозь вентилятор (без действия был он): стояли немолчные, тихие стуки: и брыки, и фыки. Сотрясся составом.

Ему показалось, что видит он дичь: точно баба набредила; кто-то, по росту – профессор, по виду ж, – растерзанный, дико косматый, ногами обоими сразу в халате подпрыгивал, странно мотая космою; он руки держал за спиною, локтями себе помогая, как будто плясал трепака; рот ужасно оскаленный, будто у пса, кусал тряпку; зубищами в тряпку вцепился и с нею выпрыгивал он – ерзачком, ерзачком; и пырлял головою в пространство, как вепрь беловежский; пространство прощелочка не позволяло увидеть всей комнаты (виделся только бумаг разворох), а престранная пляска препятствовала разгляденью лица, рук и ног; только прядали – полы халата серявого; желтые кисти халата взлетали выше вцепившейся в тряпку главы.

Вишняков отскочил перед диким, воистину адского вида балетом профессора, видимо прыгавшего в кабинете; никто

с ним не прыгал; а нищего – не было:

– Что ж это он, – с ума спятил? – подумал портной.

И сперва было бросился к дворницкой; стукнул в окошко; в окошке – храпели; тут вспомнил, как дворник, Попакин, придя в Телепухинский дом, рассказал: «енарал» – не в себе. чудачок!

– Все чудит, суеты подымает; навалит бумаг; и над ними мохрами мотает!

Подумалось: может, и правда, – мохрами мотает; ответилось: что-то уж слишком мотает.

Тут свет увидавши в окошке у Грибикова, перешел мостовую: стучаться; и Людвигу Августовичу рассказать обо всем.

19

В кулаке у Мордана зажался ручной молоток; в другой – свечка; указывая рукою со свечкой на кресло, сказал он:

– Профессор Коробкин, – садитесь, пожалуйста: вы арестуетесь мною!

Профессор стоял растормошею – волос щетинился:

– Как, – я не понял?

Но понял, что «старец» – искусственный, что «бо-рода» – приставная; запятился быстро: в простенок себя заточил; страхом жахалось сердце.

– Судьба привела меня к вам; иль вернее, – вы сами!

От тени своей не уйдешь.

– А за грим «старика» откровенно простите; и – знаете что: отнеситесь к нему, как к поступку, рожденному ходом событий (о них и придется беседовать): вы, полагаю, – узнали, – кто я: я – Мандро, фон Мандро, Эдуард Эдуардович.

Ухом прислушался: верно, Попакин идет.

– Мы – видались совсем при других обстоятельствах; я появился тогда очень скромно: ничтожество – к «имени», как... на... поклон; вы отшили меня... Но, профессор, могли ли вы думать, что первый визит мой к вам будет – последним визитом?

Старался он дверь заслонять: ну, как, черт подери, он жарнет!

– Между нами сказать, – знаменитости в данное время влекут очень жалкую жизнь; они – щепки, кидаемые во все стороны всплесками волн социальной стихии; но, но – обрываю себя; буду краток: явился я – с просьбой покорной открытие ваше продать одной фирме, – скажу откровенно теперь, – поглядел он лицом как-то вбок, а глазами – на сторону; и продолжал с тихой хрипю, точно комок застрял в горле, – скажу откровенно, что «фир-ма» – правительство мощной, великой державы... – тут сделал он паузу. – Были ж вы слепы, профессор, – не знаю, что вас побудило тогда пренебречь предложением моим; я давал пятьсот тысяч; но вы, при желаньи, могли бы с меня получить миллион.

Ужасал грозный жог этих глаз; и мелькало в сознании:

– Попакин, Попакин...

– Предвидя, что вы, как и многие, заражены предрассудками, – я «наше дело» поставил иначе; за вами следили; скажу между прочим: прислуга, которая...

– Дарьюшка?

– ...была подкуплена!

Вихрем в сознании неслось: из платка сделать жгут, да и кинуться: в лоб, между глаз, – кулаками.

Казалось, что сердце сейчас запоеет петухом.

– Я бы вас, говоря откровенно, сумел обокрасть, потому что могу и сейчас перечислить все ящики, где вы хранили бумаги.

Профессор схватился рукой за жилет и лицом закремнел.

– Я, когда посещал вас, то – ...целью моей, между прочим, была топография пола и ящиков.

Где ж – язык, руки, ноги?

– Удерживал хаос бумаг; ну – представьте, что ваш я архив показал бы, а мне бы сказали: здесь главного нет... После многих раздумий, на время оставил в покое я вас; извините, профессор, – за тон: я хотел предварительно взять свою дичь на прицел.

Сатанел на стене его контур изысканным вырезом.

– Как вот сейчас!

И откинулся тенью огромною в стену.

– Все, все, что ни будет здесь, примет культурные формы; о, я понимаю, кто вы: при других обстоятельствах, я бы сидел перед статуей бронзовой в «сквере Короб-кинском»; вы уж

пеняйте на строй, где подобные вам попадают в зубы акул.

Все внутри надрывалось криком и плачем:

– Попакин нейдет.

Но профессор упорствовал взглядом, хотя – понимал: никого не дождешься.

– Я действую властью идеи, вам чуждой, но столь же великой, как ваша. Профессора вдруг осенило, что вбитие слов превратится – в прибитие: все в нем как вспыхнет!

– Ваш план поднять массы до вашего уровня круто ломается планом моим: из всей массы создать пьедестал одному; называйте его, как хотите, но знайте одно: бескорыстно я действовал.

Он не хотел неучтивость показывать – при ограблении: действовал, как негодяй высшей марки:

– Но все изменилось, увы: вы, наверно, читали в газетах о том, что я скрылся; ну, словом: я – вынужден скрыться, себя обеспечить; и вот: я пришел за открытием; вы уж, пожалуйста, мне передайте его.

Захотелось рвануться, да руки железные вытянулись:

– Этой ночью займемся разборкою мы.

Тут мороз пробежал по спине, по поджилкам.

– Вы мне объясните, – где что; обмануть – невозможно; кой-что понимаю: зимою я сплошь занялся изучением внешнего вида бумажек, попавших ко мне из корзинки, куда вы бросали; иные из них побывали в Берлине; надеюсь, – вы мне не перечите: времени много – вся ночь; к утру будете снова

свободны. Ну, что ж вы, профессор, молчите?

Профессор, – как взгрокнет:

– Словами – в ногах у меня, чтоб за...

– Как?

– Чтоб за пятку хвататься!

– Вы очень меня угнетаете... Я повторяю, – бояться вам нечего. Слушали б издали, – думали б, что – балагурят; долбленье ж стола твердо согнутым пальцем в такт слов ужасало:

– Ну, знаете, я бы не так поступил: все же путь, на который я вам предлагаю вступить, есть единственный; хуже для вас, если я... – ну, не станем... Прошу вас серьезно, – одумайтесь.

Вдруг, – как загикают дико они друг на друга:

– Куда?

– Я сейчас!..

Было ясно: профессор подумал было дать стрелка; но он понял, – пошла бы гоньба друг за другом, во время которой... Нет, лучше – стоять.

– Вы чего?

– Ничего!

На обоих напал пароксизм иступленья, с которым Мандро едва справился:

– Вы затрудняете форму, – гм, – дипломатических – гм, – отношений... Неужто война?

Говорил, задыхался, – с завизгом:

– Страшно подумать, что может случиться.

Профессор – молчал.

– Я не мог бы и в мысли прийти к оскорблению: я умоляю вас, – стиснул виски, трепетавшие жилами, затрепетавшими пальцами, – сжальтесь, профессор, над нами: и не заставляйте меня, – торопливо упрашивал.

Вдруг – прожесточил глазами:

– Могу я забыться. Я... все же – добыю своего: может дело меж нами, – вцепился ногтистой рукой ему в руку, – рванувши к себе, – ну, подите ко мне – да... до схватки, в которой не я пострадаю... Ну, что вы, профессор, – кацапый какой-то: ну, ну – отвечайте мне; ведь – человек я жестокий: жестоко караю.

Тут – он задохнулся от страха перед собою самим.

– Утром явятся, спросят, – а живы ли вы, а здоровы ли вы? И – увидят: еще неизвестно, что встретит их здесь.

Заплясала, ужасно пропятившись, челюсть: болдовню, ручной молоток захватил со стола, вероятно, чтоб им угрожать; в его лике отметилось что-то столь тонкое, что – показалось: весь лик нарисован на тонкой бумаге; вот ногтем царапнется – «т р а х»: разорвется «мор-дан» из бумаги, – просунется нечто жестокое из очень древней дыры, вокруг которой лоскутья бумаги – остатки «мандрашины» – взвезься, покажут под ними таящийся – глаз: умный глаз – не Мандро; заколеблется вот голова в ярких перьях; жрец древних, кровавых обрядов – «Мандлоппль». Он выкрикивал просто багровые ужасы – бредище-бредищем!

Свечкой подмахивал у оконечины носа: —

– Ужо

обварю тебя, – пламенем, —

– чтобы взглянуть, что творилось в глазах у профессора; освещенные свечкой, глаза закатались, как белки в колесах. запрыгали; а голова не ругаясь, зашлепнувшись в спину, качалась космой; с кислотцей горьковатою рот что-то чвакал, а нос – дул на свечку взволнованным пыхом и жаром.

В ушах – очень быстрый и громкий звенец: не звонят ли звонки, не пришли ли за ним: не звонят, не пришли; он – затоптыш, заплёвыш, в глухое и в доисторическое свое прошлое среди продолблин, пещерных ходов, по которым гориллы лишь бегали.

Все же нашелся: вдруг выпрямил плечи; теперь, когда стены слетели со стен, и когда обнаружилось, что в этом грунте пещерном нет помощи, что происходит тут встреча двух диких зверей (носорога и мамонта), надо надеяться только на орган защиты: кто бьется – клыком; кто – бьет рогом; кто – силою мысли; он вспомнил, что силою мысли свершилось в веках обузданье гиббона; и – встал человек; он – надеялся, что, в корне взять (нет, на что он надеялся!), – силою мысли и твердостью воли: он сам продиктует условия:

– В корне взять, – взрывкнул он, – я уже ждал вас; меня, дело ясное, – не удивите: я знаю, что жил в заблуждении, думая: – он усмехнулся, – служенье науке, де, знак объективный служения истине, гарантирующий, в корне взять, част-

ную жизнь; я – ошибся, – подшаркнул с иронией, – думая, что ясность мысли, в которой единственно мы ощущаем свободу, настала: она в настоящем – иллюзия; даже иллюзия – то, что какая-то там есть история: в доисторической бездне, мой батюшка, мы, – в ледниковом периоде, где еще снятся нам сны о культуре; какая, спрошу я, культура, – когда вы являетесь эдаким способом, как, извините меня, как мерз...
– Я ж – тебя: ты – у меня!..

Выговаривая этот бред, стал зайкой Мандро в первый раз: не легко ведь ударить «светило науки», которое сам уважаешь, вот этой вот самой своею рукой; размахнулся было, да не мог хлестануть.

Задрожали, как будто играли в дрожалки: профессору быстро припомнилось, как он забросышем рос; и под старость забросышем стал; вот, – забросился здесь негодяю ужасному в лапы; за что же? За то, что трудился весь век, что Россию он мог бы прославить открытием?

Сжалось сердце от жалости, – невыносимой, – к себе самому!

20

Под шипением Грибикова карлик праздновал труса: душа – ушла в пятки; и – не попадал зуб на зуб.

С того самого мига, как карлик вернулся домой, – поднялось это: Грибиков – кекал:

– Ах, – шитая рожа ты!

Чертовой курицей спину выклевывал:

– Вязаный нос!

Приседал с сотрясением, вытыкнув палец:

– Мой чашки!

Гнал в кухню:

– Поставь самовар!

Выхихикивал:

– Да, Златоуст кочемазый какой отыскался!

– Кошечка паршивая, – воздух разгребывал.

– С эдакой рожей, – куриною лапою скреб он, – сидят под рогожей.

За боки хватался:

– Я вот что скажу тебе: знай себе место!

И пальцем указывал карлику место: и место как раз приходилося рядом с... ночью посудой.

– Чего под чужие заборы таскаешься?

– Выскочил, тоже, – оратель!..

– С своей араторией!

– Я, мол, без носу...

Роташку с подфырком сжимал:

– Не свиными рылами лимоны разнюхивать!..

– Тоже!..

– Про рай разорался!..

Таскался за карликом:

– Живо!

– Не спи!

– Не скули!..

Догонял:

– А в полиции скажут – что?

Тут же давал объяснение:

– Крамолой занялся.

.....

Раздался звонок: Вишняков.

Не дав слова сказать, – на него опрокинулся Грибиков: так разгасился, что даже не спрашивал, ради чего он явился, в часы, когда добрые люди уже высыпаются.

– Вы-то чего? Чего чванитесь?

– ?

– Вздернули к небу крестец и по этому поводу забарабанили, взявши литавру, как нехристь какой!..

– Вы напрасно: я взял ту литавру взывать о спасеньи: имеющим уши да слышит!

– Крещеный вы? А?

Но, заметивши, что Вишняков не в себе, – любопытствовал:

– Вы – косомордый – с чего же? Лица на вас нет!..

Вишняков – так и так: «е н а р а л» над бумагами сидоровою козою махает; и тряпки кусает; тут Грибиков впал в рассуждение:

– Вы больше Бога не будете: милостью он, милосердный, богат; а зазнаев – карает; захочет – пупырыш не вскочит; че-

го суетитесь; пошли бы вы спать; захотели с уставом своим в монастырь позвониться чужой; позвонитесь, – с квартиры под ручку вас выведут; и – справедливо: не суйтесь!

И свел рассуждение это к литавре.

На что Вишняков возразил:

– Вы скажите, что есть человек?

– Человек? – потрепал бородавочку Грибиков. – Вот что он есть: – поглядел на свой палец, – стоят тебе вилы; на вилах-то – грабли, на граблях – ревун; на него сел – сапун; под ним – два глядуна; на них – роцца, а в роцце-то, – карле кивнул с подмигиваниями, – свиньи копаются.

Палец понюхал.

– А я вам скажу, – Вишняков своим чтеческим голосом выщипнул, – тот человек, кто других выручает.

Словами взопрели; и долго решали: идти, не идти на квартиру профессора; и – поднимать ли Попакина, или оставить до утра дознание, зачем «е н а р а л» ни с того ни с сего заскакал с обтиральной тряпкой в зубах среди пыли и всякой бумаги; совет – не соваться к профессору (еще и выведут) явно созрел в уме Грибикова после зимнего странствия с книжками в эту квартиру: ведь взяли под ручки и – вывели, слова не давши сказать:

– Я лет двадцать на эту квартиру гляжу: нагледелся! Все то, что случается там, мне весьма непонятно.

И все же, надевши картузик и карлу под мышку, – пошел Вишняков; карлик – праздновал труса: душа ушла в пятки;

а Грибиков только качал головой:

– И куда вы такое идете, – на этих на ножках? Совсем паучьиные ножки у вас!

Побежали чрез двор, точно земли горели под пятками; Грибиков вслед им глядел, рот разиня, глазами захлопав, руками во тьму разводя.

Впрочем, тьма прояснилась: петух там пропел.

21

Пусть мученье: зачем задрознение в мученьи? Не мучайте, – просто убейте: не мучайте, – слышите ли!

Так нельзя!

.....

Мы профессора бросили в пасть негодяю; ему он ответил с достоинством:

– Явное дело, приехал сюда я, чтоб выжечь следы мной открытого; в целом – открытие – здесь, – показал он глазами на лоб свой, глаза подкативши под веко:

– В моей голове.

Но его оборвали:

– Довольно болтать.

Он – не слушал:

– И нет на бумаге: бумагу вы можете взять, – не открытие.

Все я предвидел.

– А это – предвидел?

Был схвачен за ухо, – рукою, изящной такой:

– Оторву!

И вавакнул от боли, как перепел:

– Нет!

Тут, почувствовав вдруг затолщенис носа, – воскликнул:

– Живем, говоря рационально, мы неизменной жизнью горилл, павианов, гиббонов.

Губа стала сине-багровой разгублиною:

– Я прошу вас не бить меня!

Под черепными костями вскочил ахинеяник:

– Я... я... с собственной дочерью сделал – вот что.

Всею позой спохабил Мандро.

– Вы открытия, батюшка мой, – не получите...

Крепкая пауза.

Чмокнуло странно по паузе этой; расчмок был расшлеп белых пальцев о губы и нос; странный чмок: что-то вроде неистового поцелуя с раскусом губы; стало парко от боли; да, так надзиратель не бил!

Рот раскрыл, но – дыра зачернела во рту: плюнул зубом в лицо; истязатель смеялся с подшарками – красной пошлепе; и взором, жестоким до нежности, до восхищенья над тем, кого мучил, парил; точно мучил обоих просунутый через дыру лицевую из тысячелетий «Мандлопль», – жрец кровавый и опытный.

– Да – патентованный я негодяй... вы – ученый – ха-ха – патентованный – что же? – открыл перочинный свой но-

жик. – Давайте попробуем, как патентованный ножик действует над патентованным мясом.

И тут же пал в кресло; и – тяжело дышал: точно били его, а не он; а профессор раздувшимся носом и толстой губою в кулак на него посмотрел; как не мог он понять, что чудовище в это мгновенье сидело вполне безоружным? Один бы удар молотка; и – все кончено.

Нет!

Он – ударить не мог: в совершенном безумьи решил он, что словом воздействует, спор философский затеявши: властью идеи хотел покорить павиана, поставленный, – ясное дело, – в условие доисторической жизни; мелькнуло на миг лишь:

– Схватить, не схватить?

И казалось, что в двери появится мамонт клычищем и космами черного волоса.

.....

Миг был упущен.

Горилла, схватив молоток, от испугу, что им могла быть она шлепнута, прынула ловким прыжком и зажомкала крепко под мышкою голову; но голова все старалась ее подбоднуть; не глаза, жучьи норочки, бросились в поле сознания на этом скакавшем, бодавшемся, фыркавшем теле.

В ответ на возню раздавался отчетливый дребездень в дальнем буфете.

Горилла, вцепившись в кривую распухшую рожу с разо-

рванным ртом, все старавшуюся повернуться, – плевала.

А рожа кричала:

– Я верю – в сознание, – не в грубую силу!

Ее повалили.

О пол блекотали, выискивая поболучее место; подпрыгивала; после срухнула, брюкнув:

– Где люди свободны и где есть история?..

Делала кровью вокруг себя дурно и грязно, несяся сознанием в «Каппа-Коробкинский» мир.

Став в передней, услышали б:

– Брыбра.

– Бры.

– Брыбра.

Тяжелый звук, – страшный: в буфете же «брень» – отзывались стаканы; седастые роги кидались долго над красною «брыброй»; в борьбе сорвалась борода приставная.

22

Вот – связаны руки и ноги; привязаны к креслу; тогда запыхавшийся, густо-багровый мерзавец устал; а избитый повесил клокастую голову.

– Полно, профессор, – сдавайтесь!

Охваченный непоправимым, разорванный жалостью, понял, что – силы его покидают.

– Покончимте миром!

Молил – не лицо уже: просто пошлепу оскаленную (кровь сплошная; и – жалкая дикость улыбки безумной).

Заметим, что стоило б только сказать:

– Здесь, – в жилете: зашито!

И – все бы окончилось.

Связанный, брошенный в кресло – над собственной кровью – имел силу выдохнуть:

– Я перед вами: в веревках; но я – на свободе: не вы; я – в периоде жизни, к которому люди придут, может быть, через тысячу лет; я оттуда связал вас: лишил вас открытия; вы возомнили, что властны над мыслью моею; тупое орудие зла, вы с отчаяньем бьетесь о тело мое, как о дверь выводящую: в дверь не войдете!

Тут стал издавать дурной запах: тот запах был запахом крови.

В испуге Мандро привскочил, потому что представилось: если открытия он не добьется, то он – здесь захлопнут, как крыса.

– Вы знаете ли, что такое есть жжение?

И жестяною рукою схватил, как клещами:

– Свеча жжет бумагу, клопов: жжет и глаз! Быть жегому – ужасно!

Закапы руки и закопты руки стеарином: пахнуло на руку отчетливым жогом; к руке прикоснулось жеглб.

– О!

Не выдержал:

– О!

Детским глазом не то угрожал, а не то умолял: и казалось – хотел приласкаться (с ума он сошел).

Тут в мозгу истязателя вспыхнуло:

– Стал жегуном!

Но он вместо того, чтобы свечку отбросить, – жигнул; и расплакался, бросивши лоб в жестяные какие-то руки. И комната вновь огласилась ревом двух тел; один плакал от боли в руке испузыренной; плакал другой от того, что он делал.

Огромную грязною тряпкой заклепан был рот.

Со свечою он кинулся к глазу; разъяв двумя пальцами глаз, он увидел не глаз, а глазковое образование; в «пунктик», оскалившись, в ужасе горьком рыдая, со свечкой полез.

У профессора вспыхнул затоп ярко-красного света, в котором увиделся контур – разъятие черное (пламя свечное); и – жог, кол, влип охватили зрачок, громко лопнувший; чувствовалось разрывание мозга: на щечный опух стеклянистая вылилась жидкость.

Так делают, кокая яйца, глазуню яичницу.

Связанный, с кресла свисал – одноглазый, безгласый, безмозглый; стояла оплывшая свечка; единственным глазом он видел свою расклокастую тень на стене с очертанием – все еще – носа и губ; вместо носа и губ – только дерг и разнос во все стороны; тыква – не нос; не губа, а – кулак; вместо глаза пузырь обожженного века; на месте, где ноготь раздробленный, – бухло, рвалось, тяжелело.

Как будто копыто, – не ноготь – висело.

Жегун побежал – вниз: «татáтататá» – каблуками, по лестнице; слышалось, как тихо вскрикнули ящики; письменный стол был разломан.

.....

Прошли сотни, тысячи лет с той поры, как в пещерной продолбине произошла эта встреча: гориллы с гиббоном; висел затемненной своей головою с запеками крови, пропусаясь; и – мучился немо зубами раскрытый, заклепанный рот.

И казалось, что он перманентно давился заглотанной тряпкою, – грязной и пыльной.

23

Оса, всадив жало, готовится к смерти.

С последним движением пламени вытекла сила; шатался от слабости чувствуя, – все в нем смерзается от нехорошего холода; точно с разорванным сам разорвался и выкинулся из пространства земного.

За окнами – пусто, мертво, очень сонно, бессмысленно.

Лишь по инерции что-то вытаскивал он из развала бумаг – в кабине, те, над сломанным ящиком, цель этих действий стараясь припомнить; но памяти – не было: был след «чего-то»; до «этого» – жизнь чья-то длилась; а – после? Стояние – здесь, над развалом?

– Что делаю?

Вспомнилось: люди, платформа, носильщики, белые фар- туки, бляха: и – номер двадцатый на ней; с кем-то ехал:

– Куда?

Холодея от ужаса, знал, что случилось невероятное: толь- ко в остатке сознания этого было сознание, что он сознание утратил.

Припомнилось: кто- то живет – наверху, кто сумеет на- помнить; я стал он разыскивать верх, чтоб понять, кто живет наверху; следы крови; наткнулся на лесенку; одолевая огром- ную тяжесть (не слушались ноги), он влез, чтобы вспомнить кровавое парево с глазом закрывшимся; кто-то, свернувши на сторону рожу, привязанный к креслу, висел, разодравши свой рот и оскалась зубами, как в крике; но крик был немой; вместо крика торчал изо рта кусок тряпки.

Кричал своей тряпкою кто-то – в пустой потолок.

.....

Стал развязывать ноги; сапог – окровавленный.

Думалось:

– Сколько он крови раздрызгал!

На ноги поставил.

– Пойдем?

Кто-то вздернувши рыло, испоротое вплоть до уха, – мол- чал.

– Хочешь?

– Ты – победил!

Кто-то в столб соляной превратился, в Содомы вперяся,

оскаленный, красноголовый – во веки веков; было ясно, что стал идиотом.

И вот сумасшедший повел идиота; и за сумасшедшим пошел идиот: в кабинет; сумасшедший показывал пальцем на стол, где взломались два ящика:

– Что это значит, – скажи?

Идиот, увидавши на столике нониус собственный, вспомнил про боли, которым подвергся он; вспомнив про боли, подпрыгивать стал он на месте, бодаясь мохрами и тряпкой во рту, точно пятки ему прижигали; увидев балет этот адский, горилла стоявшая – пала в бессилии, точно собака прибитая: под каблуками.

Быть может, мгновение длилось все это; быть может, тут длились часы; эту пляску увидел портной из окошка.

.....

И вот он поднялся.

Скакавшее тело пошло чрез открытую дверь, повинуюсь инстинкту животного околевающего, – из столовой в квадрат белевшего садика, чтоб умереть вблизи ямы, где Томочку-пёсика похоронили зимой; сумасшедший пошел, повинуюсь инстинкту, спастись – в переднюю (сонно спасался); открывши наружную дверь, он хотел сесть на тумбу – тупой окровавленный; под подбородком болтался клочок приставной бороды; из чернильных настоев рождался денек синеватый; и ширилась из-за забора заря уже.

Вскрикнули!

Сонно пошел переулком пустым; завернул в Гнилозубов
Второй, где и был схвачен он.

24

Вишняков с Кавалькасом приблизились к дому: темно;
прилипали к прощелку.

– Вот здесь, милый мой, он мохрами мотал!

Но ничто не моталось вихрами; стоял лишь догарок свечи
в разворохе бумажек; был сумерок.

Грибиков, дергаясь, следом тащился за ними, – без шапки,
рукою схватывая за ворот и грудь защищая от ветра хо-
лодного.

– Да!

– Любопытно!

По синему небу летели раздымки.

Они не решились звониться: на дворик прошли; и – упер-
лись в забор; посмотрели в заборную трещину:

– Дверь!

– Посмотрите!

– Открыта!

И дверь – беспокоила.

Карлик хотел было дать стрекача, а портной, захватив-
шись руками за верх (здесь обломаны были железные зубья),
кряхтя и виляя горбом, кое-как перелез над забором; пошел
на терраску.

– Идите сюда, – очень строго он бросил.

– Весьма любопытно, – и Грибиков крадучись, – под воротню: за ними; и – видел: они перемахивали над забором:

– Поймают с поличным!

– Наука!

– Не суйся!

.....

Вот оба стояли пред входом в столовую; видели там алебастровый столбик, часы под стеклянным, сквозным полушарием, стулья, буфет; было странно, что стул перевернут; заря на серебряно-серых сбоях – светлела:

– Смотрите-ка!

– Что?

– На обоях!

На ясном куске – отпечаток руки: пять коричнево-красных пятен – пяти пальцев:

– Кровь!

Оба – в столовую.

Чьи-то подошвы опять-таки были забрызганы кровью: отчетливо.

.....

Грибиков видел: из двери профессорской вышла, шатаясь и горбясь, горилла, утратившая человеческий образ, коричневой кровью пропачканная; белый волос, оборвыш, дрожал под ее подбородком.

И Грибиков – вскрикнул.

Горилла пошла переулком; а Грибиков, дергаясь, бегал туда и сюда; и кричал, и стучал:

– Помогите!

– Несчастье!

Выскочили – кое-как, кое в чем:

– Где?

– Куда?

– Кто?

– Второй Гнилозубов.

– Держи!

– Задержали!

Здесь скажем: горилла жила трое суток еще, но без сознания была; проживала в тюремной больнице она – вне себя, неопознанная! Собрались под дверью.

И заспанный, тут же чесался Попакин, – с трухой в голове; рожа ком; в кулаке – сорок фунтов; глаза – оловянные; нос – сто лет рос брылы – студень вари:

– Ты-то, что?

– Продежурил!

– Проспал!

– У тебя, брат, под носом – вот что; а ты – что?

– Видно, правильно, что в русском брюхе – сгниет долото!

Что-то силился он доказать; да – петух засел в горло; и там – кукарекал: что нес – невозможно понять.

Кавалькас и портной по кровавому следу прошли коридором; вот он – кабинетик: кисель из бумаг; черно-серый ковер странно скомкан; в углу – грудa книг, этажерка упавшая; кокнули черное кресло: без ножки лежало.

Кровь, кровь!

По два шкафа коричневых, туго набитых тяжелыми и чернoкожими книгами, были не тронуты; та же фигурочка шла черно-желтого там человечка: себя догоняла на фоне зеленых обоев, на которых бюст Лейбница гипсовой буклей белел; и на гипсовой букле – кровавое пятнышко.

След вел на лестницу; лужа кровавая капала – все еще – сверху; бежали отсюда к террасе: с террасы, наверное, вынесли труп.

Но с порога распахнутой двери – назад; потому что, стуча сапожищами, с ямы могильной пошел откопавший себя и к себе возвращавшийся труп.

Он злател на заре перепачканной кровью пропекшейся мордой; на них шел со связанными крепко за пояс перековерканными руками и протопыренными, точно крендель, локтями, в халате растерзанном, с вывернутой головою —

– вверх, вверх! —

– рот раздравши, оскалась зубами, как в крике;

но крик был – немой, потому что из рта вместо крика мо-

тался конец перемызганной тряпки.

Кричал своей тряпкою!

.....

Из коридора влетела толпа оголтелых людей: Ореал, Телефонов, Парфеткин, Попакин; и – прочие; все – отшатнулись. на фоне зари став в пороге, имея направо припавшего ниц головой горбуна и налево имея уroda безносого, – посередине возвысился; и настоящего посередине в пороге, указывали – справа, слева – перстами дрожащими: карлик, горбун, восклицая всем видом:

– Не умер, но – жив!

Это тело со вздетой главой созерцало высоты, в которых расширилась новая «Каппа», звезда, точно жалуясь немо на то, что пространство вселенной есть кривда сплошная, в которой рождаются и мрут.

Как вошел, так и стал.

Уже тряпку тащили из рта, уж и – вытащили; рот зиял, не смыкаясь; сдвигали, – не сдвинулся:

– Что ж он?

– Кривляется...

– Станешь кривлякою!..

– Перековеркали!

В диком безумии взгляда – безумия не было; но была – твердость: отчета потребовать, на основаньи какого закона возникла такая вертучка миров, где добрейшим, умнейшим глаза выжигают; казалось, что предприятие с миротворени-

ем лопнет, что линия миропаденья – зигзаг над открывшейся бездною, что голова эта вовсе не нашей планетной системы (на нашей не выглядят так!) оторвется от шеи и, крышу разбивши губами распухшими, вырвется из атмосферы земных тяготений —

– и солнечных, —

– чтобы поднять

громкий крик, от которого, точно поблекший венчик, облетит колесо Зодиака; казалось, – перед этой растерянной кучкой дрожащих от страха, которых глазные хрусталики воспринимали щекотку, создавшую марево тела кровавого, – перед растерянной кучкой стоял, вопия всем оскаленным ртом, —

– Страшный Суд!

26

Здесь не место описывать, что было далее: как отмывали от крови, свалив на диван, как какие-то там вызывали карету, стоявшую перед подъездом, где густо роились и где полицейский покрикивал:

– Эй!

– Расходись!

Прошел костреватый мужчина, – застенчивый, нерасторопный; прикладывал руку свою к протоколу и он: Кислогнездов.

Вот – вывели!

Был же – не «он», а «оно»; и «оно» – тихо тронулось, бунт пересилив: «оно» – было немо; молчало, ведомое сквозь обывателей, в страхе глазающих, ринувшихся, вызывающих памятный образ былого, когда еще было «о н о» юбиляром, тогда, как теперь, окружили и так же куда-то тащили; несение «Каппы- Коробкина» в сопровождении роя людей походило на бред бичевания более, чем на мистерию славы.

Вставал еще образ: какой-то «Коробкин», открытие сделавший мелом на стенке кареты, бежал за каретою, пав под оглоблей; карета с открытием, но без открывшего пересекала пространства безвестности; ныне ж в карету садилось «оно», чтоб стремительно ринуться: через пространства – в безвестность.

Куда «оно» ринулось!

Передавали друг другу:

– В приемный покой!

– Врешь, брат, – в клинику!

– В дом сумасшедший!

Молчало «оно» с очень странным, сказали бы, – с ди-ко-лукавым задором; и – даже: с подм йгом.

Как будто бы всем говорило «оно»:

– Человекам все то – невозможно, а мне «оно» стало возможным.

– Я стало путем, выводящим за грани разбитых миров.

– Стало осью творения Нового мира.

– Возможно мне «это»!

– Пусть всякий оставит свой дом, свою жизнь, свое солнце: нет собственности у сознания; я эту собственность – сбросило!

– Свергло царя!

– Стало – «Мы»!

Этот взгляд одноокий в окошко кареты подмигивал мимолетным:

– Я знаю, – не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили.

– И ты – отречешься!

– И – ты!

Вот – подъехали: вынули, вывели; и – повели: коридорами; камеры, камеры, камеры; и – номера.

Номер семь!

.....

Но из камеры желтого дома, – из камеры, стены которой обиты мешками, в которой воссело «о н о» в своем сером халате, со связанными рукавами, – «о н о» станет молнией – с востока на запад: вернется огнем поедающим; некуда будет укрыться от этого дикого взгляда; и некуда будет убрать с глаз долой: стены тюрем – вселенных – падут!

И возникнет все новое!

Над многоверхой Москвой неслись тучи.

В ночь дождик прошел; и оплаканный встал тротуар; начиналась людская давальня: и перы, и пихи; везде – людогоны; везде – людовозы.

Москва!

Да, – она!

Здесь к абакам принизился четким фисташковым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в сине-подтянутый, в холоднооблачный день; здесь литую решеткой, скрещением жезликов, отгородился от улицы дом; здесь же каменный, серо-ореховый дом облеплялся белясой известкою (грушами, яблоками); и – так далее, далее: дом деревянный, с дубово-оливковым колером, весь в полукругах, усевшийся в блеклые зелени садика; церковки: здесь – витоглавая, там – златоглавая; угол; пальметты, гирлянды, дантики, бордюры виторогих овнов; вновь отстроенный, восьмиэтажный домина пространство обламывал; там начиналась ватага таких же кофейных, песочных и серых домов: дом за домом – ком комом; и – рыцарь в изваянный пламень дракона разил лезвием тяжкокаменным – с башни: под облаком.

Над многоверхой Москвой неслись тучи.

И вдруг просочилось солнце сияющим и краснокапельным дождиком; вновь обозначился мокрый булыжник.

Людская давилъня.

Сплошной человечник: смешки, подколесина брызжущих шин, таратора пролетов, телег, фур, бамбанных бочек и смена катимых фигур говорила, казалось, о том же, о чем говорила вчера; но уже было ясно; огромное что-то случилось.

Шляпы, купцы, спекулянтики, городской с пьяным парнем в пролетке, актриса, раздранец, студент, гимназистик, девица с кольдкремами, моська, даваемая кем-то, и дворник с метлою, подтрепа, гусар, волочащий кривую и длинную саблю, в рейтузах небесного цвета, – в размой тротуара – толкались не так, как вчера, но с испугом, с томленьем, с вопросом, – по улице мимо угла, от которого вонький, разлогий, кривой переулок показывал линию серых, зеленых и розовых домиков тоже не так, как вчера; с косолета над пёром заборов виднелася линия труб из-за виснувших сизей фабричного дыма.

И вывеска «Белоцерковский-Гусятников. Овощи», тоже кричала – не «овощи» вовсе, не «Белоцерковский-Гусятников».

Что же?

И где начинались базар, крик лавчонок и запахи промзлой капусты со скопищем басок, кафтанов, портков и платков – красных, бледно-лимонных, оранжево-синих и черных, – стояло огромное:

– Рррр!..

Будто кричали:

– Пора!

Но кричали:

– Уррр...

.....

Быстро, бесшумно летела карета по улицам; не замечали ее; и не сопровождали глазами и вздохами:

– Скорая помощь!

– Везут!

Не до этого было, когда побежали мальчишки с листками и с криками:

– Мобилизация!

Здесь уж подводы сроились: у интендантства; а там собиралась толпа, потому что пошел баталион; воркотал барабан.

Раздавалось:

– Ура!

Но казалось:

– Пора!

Начинался пожар мировой: где-то молнья ударила.

Кучино.

24 сентября 1925 года.

Конец второй части